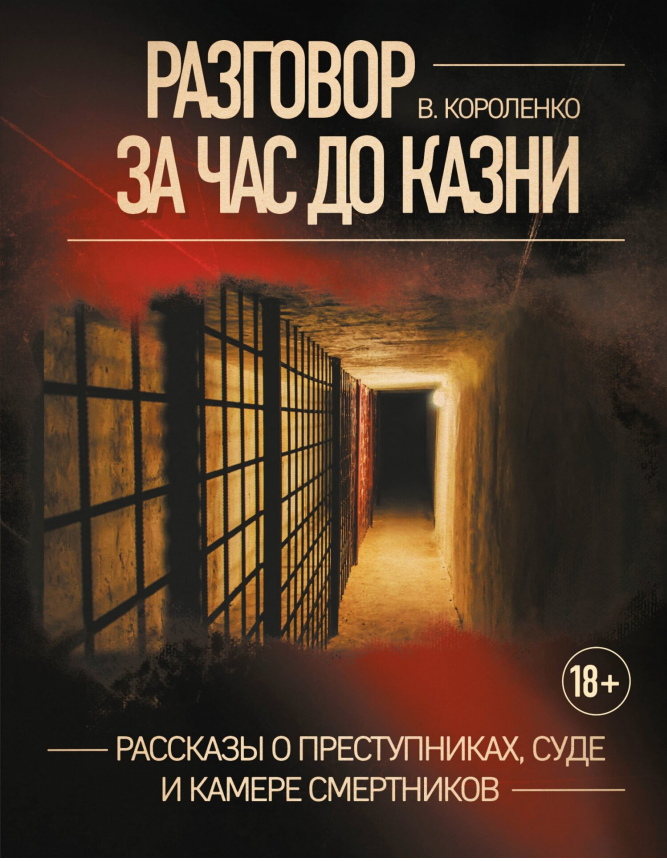


# РАЗГОВОР

В. КОРОЛЕНКО

# ЗА ЧАС ДО КАЗНИ

A dark, narrow prison corridor with metal bars on the left and a bright light at the end. The scene is dimly lit, with a strong red glow at the top and bottom edges, suggesting a dramatic or ominous atmosphere. The perspective is from the entrance of the corridor, looking down its length towards a bright light source at the far end.

18+

— РАССКАЗЫ О ПРЕСТУПНИКАХ, СУДЕ  
И КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ —

Владимир Короленко Разговор за час до казни Рассказы о преступниках, суде и камере смертников // ISBN: 978-5-04-173496-1 FB2: "cleed", 25.08.2022, version 1.0 UUID: 5056b5ca-2209-11ed-97d0-0cc47af30fe4 PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Галактионович Короленко

**Разговор за час до казни.  
Рассказы о преступниках,  
суде и камере смертников**  
(Хроники преступного мира. Истории из  
мира криминалистики)

Как был устроен быт в тюрьме, где содержались осужденные на смерть и пожизненно осужденные? Кого приговаривали к казни? Что чувствовал человек, которому вынесли этот страшный приговор? Обо всем этом, а также о случаях беспрецедентной жестокости в тюрьмах, несправедливых судебных процессах и абсурдности военного правосудия в России конца XIX века рассказывает автор этой книги.

Владимир Галактионович Короленко – русский классик, автор знаменитого романа «В дурном обществе», стал известен как журналист, безжалостно обличающий все язвы современного ему общества XIX века.

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

#1 .....	0005
• Часть первая • Осужденные на смерть . . . .	0006
#1 .....	0006
Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни .....	0008
• Часть вторая • Военное правосудие .....	0127
Черты военного правосудия .....	0127
Истязательская оргия* .....	0303
Честь мундира и нравы военной среды ..	0313
• Часть третья • В суде .....	0438
Мултанское жертвоприношение .....	0438
Сорочинская трагедия .....	0538
Дело Бейлиса .....	0632
#5 .....	0672

**Владимир Короленко**  
**Разговор за час до казни**  
***Рассказы о преступниках,***  
***суде и камере смертников***

© Оформление. ООО «Издательство «Экс-  
мо», 2022

\* \* \*

# • Часть первая •

## Осужденные на смерть

Впервые серия очерков, посвященных смертной казни, была опубликована в журнале «Русское богатство» за 1910 год. Спустя несколько месяцев очерки были опубликованы отдельным изданием.

В 1918 г. В. Короленко внес в статью дополнения и исправления. Документы и материалы о смертной казни, использованные в статье, Короленко собирал с 1899 г.

Прочитав первую половину статьи, Л. Н. Толстой писал автору цикла очерков:

Короленко.  
27 марта 10 года.  
Ясная Поляна.

*Владимир Галактионович,  
Сейчас прослушал вашу статью о  
смертной казни и всячески во время  
чтения старался, но не мог удержать  
не слезы, а рыдания. Не нахожу слов,  
чтобы выразить вам мою благодар-  
ность и любовь за эту и по выраже-  
нию, и по мысли, и главное, по чувству*

превосходную статью.

Ее надо перепечатать и распространять в миллионах экземпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие драмы, романы не произведут одной тысячной того благотворного действия, какое должна произвести эта статья.

Она должна произвести это действие – потому что вызывает такое чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им, какие бы ни были их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, простить виновников этих ужасов. Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недоумение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как ясно, что все эти глупо-жестокое дела производят, как вы прекрасно показываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме всех этих чувств, статья ваша не может не вызвать и еще другого чувства, которое я испытываю в высшей степени, – чувства жало-

*сти не к одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, солдатам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что делают.*

*Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет многих и многих живых неразвращенных людей одним общим всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги его, разгорается все ярче и ярче.*

*Лев Толстой*

## **Бытовое явление. Заметки публициста о смертной казни**

### **Глава I**

**12 мая 1906 года**

**Н**и одно из заседаний всех трех Государственных дум не оставило во мне такого глубокого впечатления, как заседание 12 мая 1906 года.

Прошло полгода со дня знаменитого манифеста. Позади осталась ужасная война, Цусима, московское восстание, кровавый вихрь карательных экспедиций. Двадцать седьмого



апреля открылась первая Государственная дума; она должна была отметить грань русской жизни, стать в качестве посредника между ее прошлым и будущим. В ответном адресе на тронную речь Дума почти единогласно высказалась против смертной казни.

Это было последовательно. Во всеподданнейшем докладе гр. Витте, приложенном к манифесту, признавалось открыто и ясно, что беспорядки, потрясавшие в это время Россию, «не могут быть объяснены ни частичными несовершенствами существующего строя, ни одной только организованной деятельностью крайних партий». «Корни этих волнений, – говорил глава обновляемого правительства, – лежат, несомненно, глубже». И именно в том, что «Россия пережила формы существующего строя» и «стремится к строю правовому на основе гражданской свободы». «Положение дела, – говорилось далее в той же записке, – требует от власти приемов, свидетельствующих об искренности и прямоте ее намерений». На докладе, в котором были эти слова, государь император написал: «Принять к руководству всеподданнейший доклад ст. секретаря

С. Ю. Витте».

Такова была компетентная оценка положения, среди которого созывалась первая Дума. Исторический строй, признанный свыше отсталым и не удовлетворяющим назревшим потребностям современной русской жизни, открыто брал на себя свою долю ответственности за волнения и смуту, охватившие Россию. Ни «организованные партии», ни общество не были повинны в политической отсталости России. Вина в этом падала на единственных хозяев и бесконтрольных распорядителей. Первая Дума сделала из этого вывод: оставьте же старые приемы борьбы, смягчите кары за общую вину всей русской жизни. Это и будет доказательство той искренности и прямоты намерений, о которых вы говорите.

.....

*Казалось, историческая власть стоит в раздумье перед новой задачей. «С 27 апреля, – говорил в одной из своих речей депутат Кузьмин-Караваев, – ни один смертный приговор не получил утверждения. Напротив, постоянно приходилось читать, что приговор смягчен и наказание заменено дру-*

*гим...»[1] В течение двух недель виселица бездействовала, палачи на всем пространстве России отдыхали от своей ужасной работы. Среди этого затишья историческая Россия встречалась с Россией будущей, и обе измеряли друг друга тревожными, пытливыми, ожидающими взглядами.*

.....

Двенадцатого мая получилось известие, что виселица опять принимается за работу. Раздумье кончилось.

В Думе происходило обсуждение кадетского законопроекта о неприкосновенности личности. У проекта были, конечно, свои недостатки. На него нападали с разных сторон: для одних он был почти утопичен, для других – слишком умерен. Теперь едва ли можно сомневаться, что, будь он действительно осуществлен хоть в значительной части, Россия вздохнула бы, точно после мучительного кошмара. Весь вопрос состоял в том, может ли Дума осуществить что бы то ни было или все ее пожелания останутся красивыми отвлеченностями. Призвана ли она для реальной работы, или ей суждено представить из

себя законодательную фабрику на всем ходу, с вертящимися маховиками и валами, но только без приводных ремней к реальной жизни.

Случай для ответа на этот вопрос скоро представился, и притом в самой трагической форме. Обсуждение законопроекта о неприкосновенности личности было прервано спешным запросом трудовиков: известно ли главе министерства, что в Риге готовится сразу восемь смертных казней?

Еще 11 декабря 1905 года, в разгар преддумских беспорядков, восстаний, усмирений и карательных экспедиций, в Риге был убит пристав Поржицкий. Как известно, в Остзейском крае вообще, в Риге в частности, кризис, вызванный переломом застоявшейся русской жизни, проявлялся особенно резко. С одной стороны, ужасающие газетные известия о пыточных застенках и приемах полицейских репрессий, с другой – убийства сыщиков и агентов власти. Здесь более чем где бы то ни было нужно было внимательное отношение к двусторонним проявлениям общей вины и общей ответственности. Искренность, о кото-

рой говорил С. Ю. Витте, несомненно, требовала передачи дела общему суду при обоюдных гарантиях. Притом же этого требовал и формальный закон.

Убийство было совершено 11 декабря. Усиленная охрана заменена военным положением 24 декабря. Предание суду состоялось 15 апреля. Случилось так, что формально был промежуток, когда в Риге перестала действовать усиленная охрана, а военное положение еще не вошло в силу. Поэтому военный генерал-губернатор при изъятии дела из общей подсудности вынужден был мотивировать это «усиленной охраной», которая в то время уже не действовала. Это было незаконно: главный военный суд уже кассировал такой же приговор по делу Иогансона и Зегала, передав дело гражданскому суду.

.....

*Еще недавно министр юстиции на обращение депутатов по поводу казней забронировался формальной законностью: пока смертная казнь не отменена, она действует в законном порядке. Теперь такой же формальный закон защищал восемь жизней. Стоило*

*только применить его, дело было бы рассмотрено общим судом и восемь рижских виселиц остались бы праздными.*

*Тем не менее явно незаконный военный суд состоялся и вынес восемь смертных приговоров.*

.....  
Защитники подали кассационные жалобы, исход которых не мог возбуждать сомнения. Тогда генерал-губернатор собственной властью не дал хода кассации.

Общее значение этого эпизода было совершенно ясно. Раздумье кончалось. Исполнительная власть отстраняла общесудебные гарантии и даже на место гарантий военно-судных выдвигала личное усмотрение рижского администратора. Иначе сказать: администрация опять выступала судьей в собственном деле и на основании этого суда, глубоко чуждого самому духу новых учреждений, уже готовила казни.

На этой своеобразно «легальной» почве, около этих восьми жизней, закипела бескровная, но полная глубокого драматизма борьба новой Думы со старой исторической властью.

Были пущены в ход заявления, ходатайства, просьбы.

Апеллировали к человеколюбию, к великодушию, к справедливости, к простой формальной законности. Защита подала жалобу в сенат на приостановку кассации и в то же время обратилась с ходатайством на высочайшее имя. Думе, в целом, оставалось только принять запрос. Шестьдесят шесть ее членов подписали отдельное личное ходатайство...

Двенадцатого мая я сидел в ложе журналистов и запомнил навсегда сумеречный час этого дня, предъявление запроса, речи депутатов, смущенные, полные предчувствий. Среди водворявшейся временами глубокой тишины как будто чуялось веяние смерти и невидимый полет решающей исторической минуты. Это была своего рода мертвая точка: вопрос состоял в том, в какую сторону двинется с нее русская политическая жизнь, куда переместится центр ее тяжести. Вперед, к началам гуманности и обновления, или назад, к старым приемам произвола, не считающегося даже со своими собственными законами...

К трибуне подошел В. Д. Кузьмин-Караванов. Речь его была простая, короткая, без громких слов. Раздалось несколько нерешительных рукоплесканий и тотчас смолкло. Председатель поставил на баллотировку предложение: препроводить запрос к председателю совета министров немедленно, без соблюдения обычных формальностей, с указанием на необходимость приостановки исполнения приговора до решения вопроса о кассации, до ответа на ходатайства...

– Кто возражает против предложения, – говорит председатель, – прошу встать.

Не поднялся никто.

В первой Думе тоже были принципиальные защитники смертной казни, и еще недавно высказался в этом смысле екатеринославский депутат Способный. Но еще не было откровенной кровожадности нынешних «правых», требующих виселиц даже для своих думских противников. Решение принято единогласно. Кто не хотел видеть в этом простой справедливости, те чувствовали все-таки святость милосердия и останавливались перед ужасом восьми казней...



И помню, что тотчас по объявлении этого постановления, когда Дума перешла опять к законопроекту «О неприкосновенности», зажгли электричество. Свет залил весь думский зал, председательскую трибуну, фигуру докладчика на кафедре, амфитеатр думских скамей с фигурами депутатов... И у меня было такое ощущение, как будто тут, в зале, есть еще что-то невидимое, но жутко ощутительное, почти мистическое. Может быть, это была неуверенность в спасении восьми жизней, а за ней и во многом другом, что роковым образом сплелось с судьбой этих безвестных восьми людей в Риге... «Дума сделала все, что могла. Но она не сделала ничего», – кажется, так следует истолковать это странное ощущение. Здесь могут только негодовать, надеяться, скорбеть и высказывать пожелания. А там могут вешать...

Прошло шесть дней. Восемнадцатого мая на трибуну взошел докладчик Набоков, чтобы сообщить ответ председателя совета министров на думский запрос. Ответ был краток и формален. Сущность его, впрочем, была уже известна из газет: рижский генерал-губерна-

тор не пожелал ожидать исхода жалоб на приговор заведомо незаконного суда и распорядился 16 мая спешно казнить всех восемь приговоренных...[2]

Смысл сообщения был ощутительно ясен; на соображения о законности отвечали заявлением о силе. В Думе полились речи, полные негодования и горечи. «В ответ на наш запрос, – сказал депутат Ледницкий, – нам кинули восемь трупов». «Некоторые из них малолетние», – прибавляет депутат Локоть. Кузьмин-Караваев оглашает звучащую горькой иронией телеграмму Леруа-Болье. Просвещенный француз, знаток и друг России, поздравляет Думу с предстоящей отменой смертной казни. «Этим русский парламент совершит акт милосердия и ускорит прогрессивное развитие человечества». Депутат Родичев еще пытается протестовать против «маловерия», которое темной волной хлынуло в Таврический дворец от этой мрачной генерал-губернаторской демонстрации.

«Вы напишете закон об отмене смертной казни, – утешает он депутатов, – его утвердят, его не могут не утвердить. Неужели вы сомне-

ваетесь, что смертная казнь уже корчится в предсмертных судорогах?»

Увы! Самые оптимистические каламбуры бессильны перед фактом. А факт состоял в том, что против потока превосходных слов и проектов рижский генерал-губернатор, разумеется в полном согласии с правительством, выдвинул восемь виселиц. Это было так убедительно, что через десять дней в той же думской зале тот же депутат Родичев говорил с горьким унынием: «Если мы и признаем обсуждаемую статью (об отмене смертной казни) за закон, в чем же изменится положение дела? Вы убеждены, что этот параграф станет законом и казни прекратятся?.. Но, господа, каждый из нас понимает, что это не так...».

И действительно, это оказалось не так. Кто теперь вспоминает на Руси, что в заседании 19 июня 1906 года в первую Государственную думу внесен законопроект, состоявший из двух статей:

.....  
*Статья первая: смертная казнь отменяется.*

*Статья вторая: во всех случаях, в ко-*

*торых действующими законами установлена смертная казнь, она заменяется непосредственно следующим по тяжести наказанием...*

.....

И что этот законопроект Государственной думой принят... И что он облечен в форму закона... Новый закон унесен потоком событий, смывших первую Думу, а факт остался. Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времени Грозного, Россия не видала такого количества смертных казней. До своего «обновления» старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: «от виселицы». Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страной царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги, кого-нибудь поднимают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой

могиле...

Да, как не признать, что русская история идет самобытными и необъяснимыми путями! Всюду на свете введение конституций сопровождалось хотя бы временными облегчениями: амнистиями, смягчением репрессий. Только у нас вместе с конституцией вошла смертная казнь, как хозяйка, в дом русского правосудия. Вошла и расположилась прочно, надолго, как настоящее бытовое явление, затяжное, повальное, хроническое...

В последующих очерках, далеко не систематических и не претендующих на исчерпывающее значение, мы постараемся присмотреться к этому новому бытовому явлению... Нужно же знать то, от чего пока (и, может быть, надолго) нет силы избавиться...

## **Глава II**

### **Смертники в N-ской тюрьме**

До сих пор быт русских тюрем знал определенные категории заключенных. Это были «высидочные», отбывавшие срочное заключение по суду, подследственные, пересыльные и каторжане.

«Обновление» принесло еще новую катего-

рию, которой тюремный жаргон присвоил зловещее название: «смертники».

Интеллигентный человек, закинутый превратной судьбой в одну из провинциальных тюрем (называть которую он не желает), имел случай наблюдать, хоть не систематически и отрывочно, быт этих людей, ждущих в заключении смертного приговора, конфирмации, казни. Материал, добытый таким образом из случайных встреч, разговоров, урывками и секретно пересылавшихся писем, он предоставил в наше распоряжение, и я хочу познакомить с ним читателя.

Губернская тюрьма провинциального города. Архитектура обыкновенная. По углам главного корпуса четыре башни. Ход в каждую башню из тюремных коридоров, на которые смотрят в два ряда молчаливые глазки камер. В конце коридора крепко запертая дверь, ключ от которой хранится у особых надзирателей. Один из них постоянно караулит вход в башню. За этим входом небольшой темный коридор, ведущий еще к одной двери. За нею круглая башенная камера.

.....

*Камера представляет цилиндр, аршин трех или четырех в диаметре. Вверху небольшое окно, забранное двумя решетками. Решетки скрадывают свет, а зимой, когда вставляются двойные рамы, в камере становится так темно, что даже днем читать или писать становится невозможно.*

.....

Вечером вспыхивает электрическая лампочка, подвешенная к потолку. Она подвешена высоко, и, даже стоя под нею, читать можно лишь с большим напряжением. Ни коек, ни нар в камере нет. Маленький столик и два-три табурета уносятся на ночь. Спать приходится прямо на полу. Стены вверху бледно-серые. Внизу, аршина на два от пола, идет траурная черная полоса.

Камеры верхнего этажа каждой башни лучше. Они суше, светлее; из окон можно видеть город, площадь за тюрьмой, проходящих по площади людей. Нижние камеры врыты глубоко в землю, так что их полукруглые окна помещаются на уровне тюремного двора. Люди тут как будто опущены в колодец, траурно-темный, холодный и сырой. Из окон они

могут видеть ноги гуляющих по двору арестантов. Против каждой башни стоит надзиратель с ружьем.

Тут помещаются смертники.

В том году, к которому относятся наблюдения нашего случайного корреспондента, их перебывало свыше сорока. Это были все сравнительно молодые люди, преимущественно рабочие местного крупного железоделательного завода, осужденные по делам об экспроприациях.

.....

*Тюремная администрация употребляет все усилия, чтобы изолировать их от остальных заключенных. Для прогулки смертников отведено особое место. В баню их тоже водят отдельно. Но, разумеется, полная изоляция невозможна.*

.....

На допросы, в суд, на прогулку или на свидания их проводят все-таки общими коридорами, и арестанты смотрят в глазки на этих обреченных, уже отмеченных печатью смерти людей. Теми же коридорами ведут их в темные предутренние часы на казнь, и тогда



спящие в камерах арестанты тревожно вскакивают, слушая гулкие шаги, порой стоны и предсмертные крики человека, прощающегося таким образом с доступным ему и сочувствующим арестантским миром. Потом шаги и жалобные крики смолкают. В глубокой тишине на заднем дворе совершается последнее действие страшной трагедии... В камерах не спят и гадают, кого это повели только что к открытой могиле...

Порой в часы прогулок гуляющие арестанты слышат откуда-то, точно из-под земли, голоса, громко разговаривающие или спорящие. Порой, особенно в первой половине того года, к которому относится наш материал, из смертных камер раздавалось пение. Тогда стоящий у башни караульный начинал волноваться, стучал ружьем и кричал:

– Башня, перестань петь! Башня! Тебе говорят: перестань!

Если это заклинание не действовало, на сцену являлся помощник начальника и кого-нибудь из людей, ждущих казни, вдобавок сажали в карцер...

Карцер – темная коробка, помещающаяся

прямо под тюремную церковь, низкая, сырая, холодная, с отвратительным воздухом. Многих после трех-четырех дней заключения из карцера выносили на рогожах прямо в больницу.

В башнях порой в одиночку, иногда группами люди ждут приговоров или их исполнения... Ждут дни, недели, иногда месяцы, каждый вечер спрашивая себя, увидят ли они завтрашнее утро. В прежнее, еще недавнее, «доконституционное» время один военный судья говорил мне, что продолжительная отсрочка казни являлась огромным шансом за ее отмену: нельзя казнить человека, пережившего такой продолжительный ужас, хуже самой смерти. Теперь этими психологическими тонкостями не стесняются...

### **Глава III**

#### **Будни смертников**

**В**сем еще памятно то одушевление, с которым шли на смерть приговоренные к казни или расстреливаемые без суда в первом периоде нашей «революции». Так умирали интеллигентные люди, молодые девушки, железнодорожные рабочие, матросы. Группа

матросов, восставших вместе с лейтенантом Шмидтом, шла на казнь дружным строем и пела известную народную рекрутскую песню:

*Последний радостный денечек  
Гуляю с вами я, друзья!  
А завтра рано чуть светочек  
Заплачет вся моя семья...*

В этом зрелище было столько одушевления и веры в значение жизни перед лицом неизбежной смерти, что, говорят, эта песня на юге приобрела значение «Марсельезы».

Теперь многое изменилось, и по мере того как смертная казнь превратилась в будничное бытовое явление, от нее удаляется и обволакивавшее ее прежде одушевление. Должно быть, труднее умирать за то, за что люди так часто умирают в наше время.

Впрочем, наш корреспондент отмечает, что в первые дни после приговора многие смертники чувствуют себя сравнительно бодро. В свои мрачные башенные камеры они вносят еще возбуждение недавней борьбы, полной если не возвышенных, то сильных ощущений и крайнего напряжения нервов. Суд и приговор – только последний размах

той же волны. В большинстве писем, относящихся к первым дням после приговора, звучит еще своеобразная бодрость, даже ирония. Иные из этих писем чрезвычайно характерны, и мы приведем их в тех отрывках, какие дает нам наш корреспондент.

.....

*«Я напишу вам, – так начинается одно письмо, – но предупреждаю, что я человек малограмотный, неразвитой и малоначитанный. Я чувствую себя очень хорошо. Смерть для меня ничто. Я знал, что это рано или поздно, но должно быть. Я был уверен на воле, что меня повесят или застрелят где-нибудь на деле. Так вот, товарищ, может ли мне казаться страшной смерть? Да, конечно, ничуть. Я не знаю, как другие, но до суда и после суда я был в одном настроении. Только обидно: со мной приговорили одного невиновного. Я в суде не утерпел и крикнул судьям...[3] За это мне попало от „сознательного конвоя“...»*

.....

Еще через некоторое время тот же автор писал: «Вы спрашиваете, как я провожу вре-

мя. Определить трудно. Я сам себя не могу учесть в этом случае. Одно могу сказать, что душевно я спокоен. Очень даже спокоен. Наружный вид, можно сказать, веселый. С утра до ночи смеемся, рассказываем различные анекдоты, конечно юмористические. Конечно, вопрос о жизни приходит иногда в голову. Задумаешься на несколько минут и стараешься забыть это все потому, что все уже кончено для меня на сей земле. А раз кончено, то такие мысли стараешься отогнать и не поднимать в своей голове. Я вижу, что времени для жизни осталось очень мало, и в такие короткие минуты ничего не могу разрешить. Чем понапрасну ломать голову, лучше все это забыть и последнее время провести веселее. Я сам себя не могу определить: я как будто ненормальный. Иногда хочется отравиться. Отравиться тогда, когда мне этого захочется. Уж очень не хочется идти помирать на задний двор, да еще в сырую погоду, в дождик. Пока дойдешь, всего измочит. А мокрому и висеть не особенно удобно. Да еще и то: берут ночью. Только разоспишься, а тут будят, тревожат... Лучше бы отравиться...»

Читатель видит, что здесь у человека еще хватает настроения для какого-то жуткого юмора над своей страшной судьбой... «Измокнешь, а мокрому и висеть неудобно... Только что разоспишься, а тут – тревожат...»

.....

*«Чувствую себя ничего, – пишет другой приговоренный. – Даже удивлен, что в душе не сделалось никакого переворота. Точно ничего не случилось...»*

.....

По-видимому, жизнь обладает своей инерцией движения, и человек еще органически не может себе представить, что она скоро оборвется без внутренних, органических причин. Он знает о приговоре, но еще не может его почувствовать...

Поддержать в себе возможно дольше, до самой смерти, это настроение продолжающейся жизни, не дать ужасной истине пустить в душу отравляющие ростки – такова теперь задача, к которой приспособляется весь быт своеобразного общества, населяющего мрачные камеры. «Забыть и дать забыть другим» – это как будто правило его социаль-

ной нравственности.

«Спать ложимся мы в три часа ночи, – пишет один приговоренный. – Это постоянно. Р. научил нас играть в преферанс, и мы до того им увлеклись, что играем, как будто бы за интерес. Увлеклись сильно. Тут есть и сожаление от проигрыша, и маленькие радости от выигрыша. Упадка духа ни в ком как будто и не замечается. Если посмотреть со стороны и не знать, что мы приговорены к смерти, то можно счесть нас просто за людей, отбывающих наказание. Если же наблюдать нас, зная, что нас ждет смерть, то, вероятно, можно подумать, что мы ненормальны. Действительно, и самому приходится удивляться тому, что мы так хладнокровны. По одной фразе вашей я заметил, что предполагается у нас тяжелое настроение духа. Представьте себе, что нет. Даже, напротив, бывает неестественно веселое настроение. Часто смех, шутки, песни и рассказы не сходят у нас с уст. О том, что ждет нас, буквально забываешь. Это, по моему мнению, происходит оттого, что сидишь не один... Чуть кто пригорюнится, так другой старается, может быть ненамеренно, ото-

рвать его от тяжелых мыслей и вовлечь в разговор или во что-нибудь другое... Находят минуты какой-то беспричинной злобы, хочется кому-нибудь сделать зло, какую-нибудь пакость. Насколько я наблюдал, если такому человеку поволноваться и вылить свою злобу в руготне, то он понемногу успокоится. На некоторых в такие моменты действует пение. Затыни что-нибудь – он поддержит».

В такие-то минуты из наглухо закрытых башен несутся звуки песен, и стража во дворе начинает тревожиться, стучать ружьями и кричать: «Башня, тебе говорят, замолчи!» Но заставить замолкнуть такую песню, конечно, нелегко...

.....

*«Теперешнее мое состояние удовлетворительно, – читаем мы еще в одном письме „из башни“, – только в голове какой-то хаос. Хотелось бы на день, на два остаться одному с самим собою; но это невозможно. Жаль погибающую молодость! К тому, что скоро придется умирать, отношусь не то чтобы хладнокровно, но все-таки эта мысль не смущает меня: я не вдумыв-*



*ваюсь в нее. Чем объяснить это – я не знаю!»*

.....

Автору этого письма хотелось бы остаться одному; но именно одиночество в этом положении ужасно. «Как начинает лезть что-нибудь в голову, – пишет другой смертник, – так я тотчас же отвлекаю себя разговорами с товарищами, лишь бы только это удалить. А то, как только почувствую, что могу заснуть, стараюсь лечь спать. Мне кажется, что если бы я... сидел один, то давным-давно покончил бы с собою».

По мере того как идет время, спокойствие тоже уходит. «Жизнь приходится считать минутами, она коротка, – пишет один из приговоренных, по-видимому проводящий последние дни в одиночестве. – Сейчас пишу эту записку и боюсь, что вот-вот растворятся двери и я не dokonчу. Как скверно я чувствую себя в этой зловещей тишине! Чуть слышный шорох заставляет тревожно биться мое сердце... Скрипнет дверь... Но это внизу. И я снова начинаю писать. В коридоре слышались шаги, и я бегу к дверям. Нет, снова напрасная

тревога: это шаги надзирателя. Страшная мертвая тишина давит меня. Мне душно. Моя голова налита как свинцом и бессильно падает на подушку. А записку все-таки закончить надо. О чем я хотел писать тебе? Да, о жизни! Не правда ли, смешно говорить о ней, когда тут, рядом с тобой, смерть. Да, она недалеко от меня. Я чувствую на себе ее холодное дыхание, ее страшный призрак неотступно стоит в моих глазах... Встанешь утром и, как ребенок, радуешься тому, что ты еще жив, что еще целый день предстоит наслаждаться жизнью. Но зато ночь! Сколько она приносит мучений – трудно передать... Ну, пора кончить: около двух часов ночи. Можно заснуть и быть спокойным: за мной уже сегодня не придут».

.....

*«Я давно не писал вам, – говорится в новом письме (другого лица). – Все фантазировал, но ничего не мог сообразить своим больным мозгом. Я в настоящее время нахожусь в полном неведении, и это страшно мучает меня. Я приговорен вот уже два месяца, и вот все не вешают. Зачем берегут меня? Может быть, издеваются надо*

*мной? Может быть, хотя бы, чтобы я мучился каждую ночь в ожидании смерти? Да, товарищ, я не нахожу слова, я не в силах передать на бумаге, как я мучаюсь ночами! Что-нибудь скорей бы!»*

.....

Это писал тот самый человек, который вначале удивлялся, что приговор не произвел на него впечатления, и говорил, что смерть его нисколько не пугает... Два его письма – это два полюса в настроении смертников: вначале возбуждение и бодрость, потом возрастающий ужас перед развязкой, тупой и безмолвной.

## **Глава IV**

### **Иллюзии и самоубийства**

**В**прочем, в промежутках часто являются мечта и надежда.

.....

*«У каждого, – говорит один из авторов писем, – есть какая-нибудь надежда, и у каждого фантазия доходит до геркулесовых столбов. Хотя мы и знаем, что каждого из наших товарищей берут и вешают, но все-таки (собствен-*

ная) предстоящая казнь кажется невероятной. Кажется невероятным: как это меня, здорового, полного сил человека, поведут и повесят... У каждого есть розовая надежда на что-то, чуть не на чудо. Некоторые ждут помилования. Другие мечтают о подаче прошения на высочайшее имя и думают как-нибудь провести администрацию. Говорим иногда об усыпительных веществах. Как бы уснуть так, чтобы когда похоронят, то пришли бы товарищи и откопали бы из могилы. Мечтали о сделке с доктором во время смертной казни» и т. д.

.....

Но и надежда в положении смертника, как гашиш, обманчива и ядовита. «Я думаю, – пишет один из них, – что для нас вредны мечты в большом размере, так как чересчур тяжки разочарования. Для примера приведу Х-ва. Он вполне был уверен, что ему отменят смертный приговор, так как об этом хлопотал сам суд, да и дядя его имел большие связи. Когда пришли ночью и сказали, что пришло помилование, то он поверил этому и с радостью пошел в контору. Что же ему пришлось пере-

жить, когда вместо помилования его потащили на виселицу?.. Мне могут сказать, что все это неважно, так как страданий здесь всего ведь на час, да и то, быть может, меньше. Но я не хочу месяца иллюзий, чтобы пережить и час таких страданий. Лучше я буду внушать себе, что мне скоро придется умереть. Я не скрою, что и я тоже мечтаю и строю иллюзии, но только я не позволяю мечте вкорениться глубоко. Против мечты о воле, о том, как хорошо было бы очутиться в кругу близких людей, против этой мечты я принимаю свои меры.

Теперь приведу другой пример – П-на. У него совершенно не должно было быть никаких надежд. Но вот почему-то одних берут, а его, хотя и вышел срок, оставляют. У него являются надежды. И вот он, который раньше соглашался умереть с большими страданиями, чем от доставленного ему яда, теперь уже не решается (отравиться) и ждет последней минуты. Яд он принимает только тогда, когда пришли и сказали: „Собирайся на виселицу“. От яда он падает без чувств. Его выносят на тюфяке на свежий воздух и качают... Он при-

ходит в себя. Под воротами его рвет. Он приходит потом в контору, пишет письма и идет на виселицу».

«И таких примеров много, – прибавляет автор письма. – Это все последствия иллюзий...» П-в ждал решения своей участи без двух дней пять месяцев! И «хотя, по-видимому, у него были хорошие, благодаря иллюзиям, минуты, но в конце концов тройные мучения... Каждый из нас хватается за соломинку, и тогда логика и рассудок – все летит к черту».

Удалось ли в конце концов писавшему вышеприведенные строки удержаться в пределах «логики и рассудка» – мы не знаем. Но те, кто пассивно поддается иллюзиям, легко превращаются в маньяков. «Из всех приговоренных к смертной казни, – говорится в одном письме, – такого, как NN, я вижу впервые. Он хотя и не говорит, но, видимо, ему жаль порвать с жизнью. Он все ждет помилования. Прощения он не подавал, но подала его мать от своего имени. Теперь он постоянно гадает на картах, будет или не будет он помилован. Он отказался покончить с собой. Если бы я захотел описать его последние дни, то едва ли

мог бы многое описать. Жизнь его течет чрезвычайно однообразно и монотонно. Вечером он ложится спать часов в шесть, а встает в два, три, четыре часа. И как только встает, так берется за карты и начинает гадать. Днем иногда ляжет полежать и на мой вопрос: „О чем вы думаете?“ – обыкновенно отвечает: „Я и сам не знаю о чем“. Почти все время проводит он за картами и в какой-то меланхолической мечте. Может быть, он мечтает о чем-нибудь ценном, но только не желает с нами этим поделиться. Не знаю».

Автор заметок, которыми мы пользуемся при составлении этого очерка, пишет, что ему удавалось по временам видеть NN, о котором идет речь в предыдущем письме.

.....

*«Это еще молодой человек, лет двадцати, с продолговатым лицом и голубыми, чем-то затуманенными и как будто ничего не видящими глазами. В серой, плотно облегавшей его фигуру арестантской куртке шел он медленно со своим провожатым на прогулку и устало и равнодушно смотрел куда-то вдоль длинного коридора.*

*Больше всего привлекали внимание его смертельно усталые, рассеянные, ничего не видящие глаза».*

.....

В то время, когда автор записывал в тюрьме свои впечатления, ему уже редко приходилось видеть NN. Говорили, что он обещал властям выдать несколько человек, если ему дано будет помилование, и что ему подали надежду на избавление от казни...

Не все, конечно, отдаются так всецело во власть безграничных иллюзий. Желания многих приговоренных не идут дальше добровольной смерти. Мы уже встречали выше выражение этого настроения: «Умереть, когда захочу сам». И в то время, как обыкновенное население тюрем стремится всеми мерами добыть с воли водку, табак или карты, смертники со всевозможными ухищрениями добывают яд или нож.

Газеты отмечают то и дело случаи самоубийства перед казнью. Больше всего прибегают осужденные к цианистому калию, реже к морфию или ножу. «Любопытно, – пишет автор наших материалов, – что ни один из



присужденных при попытках к самоубийству не прибегал к помощи шнура или веревки, хотя достать их гораздо легче». Газеты отмечали случаи самоповешения, но действительно они реже других способов самоубийства. Смерть от руки палача кажется позорнее и страшнее. Приговоренные прежде всего предпочитают добровольную смерть, «когда сам захочу», и если можно, то она должна быть другая, не та, которую назначит им человеческий суд.

.....

*В течение того года, к которому относятся наблюдения нашего корреспондента, один из приговоренных отравился стрихнином и кончил жизнь в страшных мучениях. Другой нанес себе удар ножом в сердце. В третьем случае удар ножа не оказался смертельным, четвертый вскрыл себе рану на руке обломком стекла: он тоже остался жив. Было также несколько случаев неудачного самоотравления...*

.....

Эти попытки и самоубийства происходят

на глазах у остального населения камеры. «Смерть товарища Я-ва, – говорится в одном из писем, – произвела на меня ужасное впечатление. Громадная сила воли, потрясающая картина геройской смерти. Перед смертью он был весел, курил, разговаривал, смеялся. Волнения не было заметно. Потом нащупал сердце, приложил нож одной рукой, а другой ударил: раз, два... Потом сказал: „Вот хорошо! Выньте“. И начал хрипеть, и умер, не издав ни одного громкого стога».

.....

*Он оставил записку: «Кончаю жизнь самоубийством. Вы меня приговорили к смерти и, быть может, думаете, что я боюсь вашего приговора, нет! Ваш приговор мне не страшен. Но я не хочу, чтобы надо мной была произведена комедия, которую вы намерены проделать со своим формализмом. Мне грозит смерть. Я знаю и принимаю это. Я не хочу ждать смерти, которую вы приведете в исполнение. Я решил помереть раньше. Не думайте, что я такой же трус, как вы».*

.....

Для этого мужественного человека смерть, очевидно, явилась последним актом если не прямой борьбы, то хоть полемики с врагами.

## **Глава V**

### **Последние свидания**

**Д**ва раза в неделю у тюремных ворот собирается толпа народу и терпеливо ждет, пока откроются двери. Это отцы, матери, братья, сестры, сыновья, дочери и жены заключенных, явившиеся на свидание. Двери наконец отворяются. Их пропускают.

Длинная, узкая и грязная комната с одним окном. Во всю длину она перегороджена двумя перегородками: внизу перегородки – деревянные, сплошные, вверху до потолка – из частой проволочной сетки. Между перегородками расстояние в два аршина. На этом расстоянии арестанты и их родные переглядываются и переговариваются через две сетки... Так как говорить приходится всем вместе и общий говор заглушает слова, то через несколько минут «свидальная комната» переполняется шумом и криками.

.....

*Каждый старается перекричать дру-*

*гих и закинуть другому человеку свое слово за эти перегородки. Комната полна нестройных отчаянных выкриканий. Визг женских голосов, судорожно напряженные лица и бессильный, никому не слышный плач под звон кандалов...*

.....

Вот старая крестьянка. Она притащилась в город за пятьдесят верст и теперь судорожно вцепилась скрюченными пальцами в проводочную сетку. Она пытается несколько раз что-то выкрикнуть сыну, но ее старческий голос тонет в этом нестройном грохоте, звоне и шуме. Она машет рукой и уже только смотрит старыми заплаканными глазами... А через пять-семь минут свидание прекращается. Всех выгоняют, и за проводочные решетки пускают новые партии арестантов и пришедших к ним с воли. Прежние уходят, унося с собой чувство неудовлетворенности и печали. Хотелось сказать дорогому человеку так много. Не сказал ничего. Казнены уже в России тысячи человек. Приблизительно столько же матерей, и еще столько же отцов, и, может быть, столько же сестер, братьев и жен смотрят

рели через такие решетки на дорогих людей, которым грозила смерть. Если это были простые рабочие или крестьяне, то прощаться с ними, как с умирающими, приходили и другие родственники, каких только допускали. И сколько тяжелого, незабываемого и порой непрощаемого страдания разнесут эти простые люди по предместьям городов и по дальним деревням и селам!

Когда приговор уже состоялся, смертник получает привилегию: с него снимают кандалы и на свидание к нему близких родственников допускают в тюремную контору. И опять по дорогам тянутся телеги, а в них матери и отцы, едущие на последнее свидание. Военное правосудие по большей части совершается стремительно, и, пока старая мать бредет пешком или тащится на заморенной клячонке, – дело часто бывает кончено. Тюремный привратник деловито и бесстрастно, как русский мужик вообще умеет говорить о смерти, сообщает, что сын повешен на рассвете, в то время, когда они тащились в темноте по плохим дорогам. «Недавно, – рассказывает наш корреспондент, – одна из таких матерей

подошла к тюрьме и стала просить прощального свидания. Вместо разрешения из тюремной конторы ей вынесли клочок волос – все, что ей осталось от сына. Перед виселицей сын попросил ножницы, отрезал прядь волос и передал их для матери. Последняя воля его была добросовестно исполнена».

В прошлом году газеты сообщали о случае еще более печальном. Приговоренный к смертной казни в Балашове Шуримов послал к отцу письмо с просьбой приехать попрощаться перед смертью.

.....

*«Элементарная гуманность, – говорит сообщивший об этом случае корреспондент, – если о гуманности может быть речь около виселицы, – требовала чего-либо одного: или отказа передать письмо, или разрешения этого последнего свидания. Третьего, казалось, тут быть не может... Но именно это третье, мучительное и безобразное в своей бесчеловечности, и вышло».*

.....

Отец, бедный и больной старик, собрав по-

следние гроши, отправился в Саратов, захватив с собой и младшего сына. Прежде всего, конечно, обратился в суд. Здесь ему посоветовали «навести справку» у командующего войсками. На вопрос, жив ли еще его сын, сухо отвечали: не знаем. Старик съездил в Казань, но и тут ему «справки» не дали. Вернулся в Саратов и три-четыре дня обивал разные пороги. Ходил к прокурору, к тюремному попу, в тюремную контору.

.....

*Наконец кто-то (добрая душа!) сжался над тоской и слезами старого отца и сообщил ему, что... сын его уже повешен.*

*«Этот старик, – заключает корреспондент, – уедет домой, в семью, в круг своих близких, знакомых, друзей... И от него, от множества таких стариков, от всех им близких будут требовать любви к родине, уважения к ее учреждениям, патриотических чувств...»[4]*

.....

Конечно...

Однако вернемся к нашему «бытовому ма-

териалу».

Контора, в которой смертным даются последние свидания с родными, разделена на две неравные части деревянной перегородкой в половину человеческого роста. Смертный вводится за перегородку, дверца за ним закрывается, по обеим сторонам становятся надзиратели. Родственники, пришедшие на свидание, остаются на другой стороне перегородки.

Надзиратели равнодушно слушают разговоры. Человек ко всему привыкает, а они многих приводили уже к этой решетке и к виселице. Их дело смотреть, чтобы смертному не передали чего-нибудь, и главное – ножа или яду, и они смотрят равнодушно и бесстрастно. На человека свежего эти свидания производят неизгладимое впечатление, как все, в чем вопросы жизни и смерти стоят в такой осязательной близости. Нашему корреспонденту пришлось случайно быть в конторе во время последнего свидания с матерью того самого Я-ва, который так мужественно покончил с собой. Это было незадолго до самоубийства. Высокий, с болезненно желтым



лицом и лихорадочно блестящими глазами, стоял он у перегородки, за которой были две женщины. Одна, сторбленная, закутанная в шаль, все время плакала и постоянно вытирала глаза концом шали. Другая не плакала, глаза у нее были воспаленные и сухие. Это была мать. Она не спускала глаз с сына, но слов для него у нее не находилось. Таких слов, которые бы тронули, смягчили, утешили, которые просто были бы у места.

– Ну, как же ты теперь? – все-таки спрашивала она тоскливо. – Как здоровье?..

– Что здоровье? Повесят скоро, – хрипло ответил сын и попробовал засмеяться. Но смех не вышел и резко оборвался. Опять молчание.

– Сны страшные видишь? – опять спрашивает старуха.

– Да, разное снится, – ответил он задумчиво и потом сказал легче и проще: – Там у меня поддевка осталась. Ее нужно бы продать...

Заговорили о поддевке, и оба обрадовались предмету, не имевшему прямого отношения к тому главному, что занимало обоих. Свидание скоро прекратилось. Смертного надзиратели увели в башню, а мать ушла на

волю, которая ей была, вероятно, не лучше этой башни. Говорили, что она после казни сына сошла с ума.

.....

*«Когда родители приходят на свидание, – говорится в одном из писем, – то хочется все, все им передать. Но этого никак не могу сделать: ничего не выходит. Вот сейчас чувствую, что много наговорил бы им ласкательного, хорошего, успокоил бы их, но в конторе этого сделать не могу, потому что там рядом со мной стоят люди, противные мне. При них я не могу выговорить ни одного ласкового слова. Я чувствую, что надо сказать что-нибудь ласковое, хорошее, но язык не повинуется. Когда идешь на свидание, то думаешь сказать то, другое, но когда придешь, то как будто все позабудешь. Все из головы уйдет. Смотришь только на них и слушаешь, что они говорят, а сам ни слова».*

.....

«Жду приезда своих, – говорит другой приговоренный, – они прислали мне десять рублей, но я отдал их жене. Вот человек, слепо

преданный и любящий! Мне положительно стыдно перед ней. Но сказать ей, втолковать, поднять до себя у меня нет возможности. А так тяжело! Говорим мы на разных языках».

Человек, написавший эти строки, приписывает это тяжкое отчуждение от близких людей разности умственных уровней. Но едва ли это верно. «На разных языках» говорят, по видимому, все обреченные с теми, кто остается после них на этом свете. Человеческий язык не приспособлен для таких разговоров. Обычные понятия робко смолкают в сознании своей ненужности, неуместности, оскорбительности. Что, в самом деле, значит вопрос о здоровье для человека, которого скоро повесят... И сны ему, конечно, видятся всякие... Разговоров о будущем мире, о боге и вечной жизни наш корреспондент тоже не приводит. Об этом, наряду с другими «формальностями», перед виселицей скажет ему тюремный священник, который за это получает казенное жалование...

И, конечно, рад бы был получать его за что-нибудь другое...

## Глава VI

## «Автобиография»

Смертники пишут, если только есть возможность, довольно охотно. Это один из способов скоротать страшные часы ожидания и, кроме того, оглянуться, обращаясь к сочувственному слушателю, на себя и свою уходящую жизнь. В случаях, когда рукой пишущего продолжает водить одушевление идеей, за которую человек сознательно отдал свою жизнь, — такие письма отливаются в формы, изумляющие и трогаящие даже противников. Русская печать в последние годы нередко имела случаи оглашать на своих столбцах такие обращения мертвых к живым, и эти голоса из могилы читались в самых глухих и прозаических закоулках жизни, заставляя забывать о противоречиях и несогласиях и напоминая только о душевной силе, побеждающей и освящающей ужас смерти.

В этих «бытовых» очерках мы имеем дело не с такими освещенными вершинами. Наш материал именно бытовой, обыденный, прозаический. Авторы не выдающиеся люди, письма их не согреты одушевлением какой-нибудь веры. Это скорее печальные су-

мерки мысли и гражданского сознания. Но и здесь условия, в которых рождаются эти предсмертные излияния обреченных людей, налагают на них печать серьезности, придают им особое печальное значение. Пишутся они без всякой задней мысли, как бог на душу положит, даже без надежды, что письмо проникнет дальше тесного круга родных или соседней тюремной камеры. Близость смерти делает людей искренними и серьезными. Тому, что говорится в таких условиях, приходится верить.

В нашем распоряжении есть целая автобиография такого заурядного человека, приговоренного к смерти и теперь, вероятно, уже казненного. Мы приводим ее здесь целиком в том виде, как она списана нашим корреспондентом.

*«Вы спрашиваете о детстве. Да, о нем я вспоминаю отчасти с хорошей стороны, отчасти с сожалением. Родился я и вырос в очень богатой аристократической семье. Все детство было сплошным удовольствием. Был окружен няньками, репетиторами. Зимой*

жил в городе, летом – в прекрасном имении. Имел ружье, лошадь, вообще все, что можно дать мальчику моего возраста. Потом началось учение. Учился в трех гимназиях, года полтора в кадетском корпусе на казенный счет благодаря заслугам отца перед отечеством и престолом. Нигде не кончил и сделался в конце концов оболтусом. Мать по-своему любила меня. Отца я помню мало. Он через несколько лет после турецкой кампании скончался. Нас было четверо братьев и одна сестра. Должен вам сказать, что, несмотря на имеющиеся в нашей семье большие средства, ни один из братьев нигде не окончил. Вырастая, каждый стал отделяться от семьи и кое-как устраиваться. Один из братьев отравился лет восемнадцати от безнадежной любви. Другой женился девятнадцати лет на горбатой девушке, дочери крестьянина, чем, по мнению матери, осрамил всю фамилию. Служит он теперь обер-кондуктором на юго-западных железных дорогах. Третий женился на артистке провинциального театра и, сколько я помню,

всегда был на полицейской службе. Теперь он где-то служит приставом или помощником полицмейстера. Помню я, что он был несколько раз под судом за растрату и дебоширство, но, благодаря протекции, всегда выходил сухим из воды. Четвертый я, ваш покорнейший слуга, мерзавец порядочный, в особенности по отношению к женщинам. Был, впрочем, таковым только до ознакомления с политикой. Вот эта самая штука, „политика“, захватила меня целиком. У меня явилась жажда к учению, и я, хотя и бестолково, начал читать все, что попадалось под руку. Не забудьте, что до этого ничего, кроме бульварных романов, не читал. В детстве у меня проявлялся, хотя бессознательно, какой-то вольный дух, из-за чего у меня выходили со своими крупные ссоры. Летом крестьянам разрешалось собирать в нашем лесу грибы, но только тем, которые за это выходили на работу. Таким выдавались билетки, а остальным не разрешалось. Не выходили на работу, по-видимому, потому, что было невыгодно. И вот на таких-то и делались облавы,

причем собранные грибы, конечно, отбирались. Меня это возмущало, и я отдавал грибы обратно, а с братьями по этому поводу вступал в драку. Как ни старались втолковать мне, я все-таки стоял на своем. Когда из-за этого произошла крупная ссора, я написал записку приблизительно такого содержания: „Когда будете читать эту записку, меня уже не будет в живых. Умираю потому, что не позволяют возвращать крестьянам грибы“. Затем я взял револьвер, оставил эту записку на столе и ушел с сознанием, что ровно себе ничего не сделаю. Тут же за мной была погоня. Я не успел добежать до лесу и был пойман. Но с тех пор прекратились облавы на крестьян, и я торжествовал. Этот случай является одним из приятных воспоминаний. Старших – матери, теток и дядей – мы все, дети, избегали и старались поскорее скрыться из глаз, несмотря на то, что я ни разу не был наказан ими. Нас выводили, как дрессированных щенят, к столу. Говорили мы заученные французские фразы, целовали руку матери, пили чай и удаля-



лись. То же самое проделывали мы, когда были гости. От такого воспитания ничего хорошего для нас не получилось. Меня, да, вероятно, и других братьев, ничто не тянуло к родному углу. Мать и другие родственники – по-настоящему чужие для меня люди, и у меня нет к ним любви. Если бы даже была у меня возможность поговорить по душе и приласкаться, то я отказался бы: не даст она мне той ласки, которая мне нужна, да и не займет она меня. Я с ними никогда не ссорился. Письма с поздравлениями писал аккуратно, так как знал, что это для них важно. Никогда я не обращался к ним с просьбами. Всегда им писал, что здоров, живу хорошо, хотя на самом деле мне и приходилось сидеть без еды дня по два и по три. Почему я не обращался – не отдаю (себе) отчета. Я не сказал о сестре. Она кончила в Киеве гимназию, вышла замуж за доктора, но не по любви, а потому, что муж представлялся ей выгодной партией. С супругом, сыном и матерью она и теперь живет в Н. Муж ее уже профессор, имеет громадные связи и, безусловно,

мог бы сделать для меня очень многое. За два года тюремного заключения я ни разу не писал им. Не писал потому, что не знал их взглядов, и думаю, что их скомпрометирую. Теперь мне хотелось бы послать им письмо, но то, что хотелось бы написать, – нельзя, а писать так – не стоит. Да думаю, что на меня и на брата-кондуктора смотрят как на нравственных уродов. Но теперь ввиду смерти мне хотелось бы знать, пожелают ли они хлопотать за меня. Если да – то я отложил бы свою смерть. Повторяю: одна мысль безотвязная мучает меня: умру ли тогда, когда захочу того сам...

Но я уклонился от рассказа о своей жизни. Лет пятнадцати-шестнадцати я, после долгих пререканий с матерью, добился согласия на отъезд, получил рублей триста денег и укатил в Одессу. Моя мечта была поступить на море. Через несколько месяцев я добился своего и поступил на пароход „Платон“ Российского Общества и совершал поездки до Батума и обратно. Прослужил я в качестве ученика около

двух лет, затем заболел, пролежал месяца четыре в больнице и потом вышел. Под руководством одной особы, довольно опытной, вскоре после этого занялся торговлей. Три года с лишком родные не знали, где я и что со мной. Я наконец написал. За мной приехала жена брата (которого из братьев – автор письма не сообщает) и уговорила уехать обратно. Возвратившись в Киев, я познакомился с институткой, очень хорошенькой, закрутил с ней любовь, и в результате – роды. Я хотел было жениться, но родные увезли ее и выдали замуж, как я это узнал потом...».

Так началась и так шла эта странная сумеречная жизнь в такой же странной сумеречной семье, выделяющей в одну сторону типичного полицейского-взяточника и преступника, пользующегося протекцией, чтобы избежать суда, в другую – кандидата на виселицу. Все здесь как будто на своем месте, все формально прилично: семья собирается за чайным столом, дети подходят к ручке и говорят заученные фразы. Но все так глубоко чуж-

ды друг другу, что даже в минуту смертельной опасности, перед возможностью казни (и притом, как увидим, казни по ошибке) у человека, написавшего эту удивительную автобиографию, нет решимости пробить брешь в ужасающем семейном отчуждении. Здесь нет ни слова о взаимной любви, ни слова о религии, ни слова об общем боге... Ниоткуда также не проникло еще сюда и отрицание религии или семьи. Ее никто не отрицал. Ее просто не было. В таком состоянии, уже взрослым, уже отцом, но все еще бродягой, не членом общества автор встречается с «политикой».

.....

*«Политику, – говорит он, – я сначала считал простыми переговорами одного государства с другим, но к политическим преступникам питал вообще глубокое уважение и считал их чуть ли не сверхчеловеками...»*

.....

Как могли явиться политические преступники при условии, что политика – только переговоры одного государства с другим, автор не объясняет, и это, конечно, тоже характер-

но для того умственного хаоса, в каком бродит гражданская мысль даже сравнительно «культурного» русского человека. Совершенно понятно, что разобраться в многообразном брожении политических идей при таких условиях нет никакой возможности. «Политика» тут обращается в простое «отрицание существующего строя», и беззащитный ум увлечется туда, где это отрицание последовательнее и проще.

.....

*«В первый раз, – пишет автор, – я был арестован в Киеве, когда жандармский ротмистр изнасиловал в петербургской крепости политическую, кажется, И-ую[5]. Студенты в Киеве решили отслужить по сгубленной панихиду, но им было в этом отказано. Студенты все-таки собрались, человек триста. Был тут и я. Нас всех переписали, но тут же и выпустили. Мы собрались вновь, опять были переписаны и посажены по тюрьмам. Через четыре месяца выслали на один год из Киева».*

.....

После этого молодой человек поступил

счетоводом на Юго-Западную железную доро-  
гу, где его дядя служил инженером. Устроился  
сносно, но местность была лихорадочная, и  
он заболел. Пришлось уехать в Самару, где  
ему удалось поступить конторщиком на же-  
лезную дорогу. Конторщик он был, вероятно,  
самый обыкновенный, и едва ли за ним по-  
следовала даже репутация неблагонадежного.  
Таких маленьких протестов тогда было очень  
много. Но если бы вскрыть в это время душу  
этого обыкновенного самарского конторщи-  
ка, то в ней можно было бы обнаружить пред-  
ставление о государстве как об учреждении,  
под покровом которого совершаются гнусные  
насилия в глухих казематах над беззащитны-  
ми девушками. Оно покрывает эти насилия и  
наказывает за выражение негодования. С та-  
кой психологической подготовкой он знако-  
мится в Самаре с фельдшерицами-ученица-  
ми, к которым ходили неблагонадежные ли-  
ца. «Тут-то я и стал познавать всю премуд-  
рость».

Какую именно «премудрость», автор не  
объясняет, считая это понятным...

.....

«Вот моя жизнь – так заканчивает он свое жизнеописание. – За что я иду на виселицу? Скоро наступит смерть, и я даю вам слово, что не только в этой, но и ни в какой экспроприации я никогда не участвовал. Да, вероятно, я и не способен убить кого бы то ни было. По натуре я очень мягок и добр до идиотства, так что буквально не способен на такие дела. В этом же деле, за которое меня приговорили к смерти, я виноват только в том, что не донес. Да я и не знал точно, как они хотят обработать это дело. Да если бы и знал, то мои убеждения не позволили бы мне сделать донос. На суде мне пришлось удивиться существованию мелких улик против меня. Теперь я говорю вполне искренне: в данном случае простое совпадение. Ну да черт с ними! Не хочется об этом и толковать. Добавляю, впрочем, интересный факт: суд признал меня виновным только в подстрекательстве и все-таки дал мне виселицу...».

.....  
Если припомнить, что это письмо из одного каземата в другой, в расчете на тайную пе-

редачу помимо начальства, что это простая исповедь приговоренного перед временным товарищем по тюрьме, – то страшная правдивость его станет вне всяких сомнений. В одном из цитированных выше писем мы видели, как приговоренный к смертной казни обругал суд не за себя (себя он признавал виновным в том, что ему приписывали), а за то, что вместе с ним был приговорен невинный... Очень вероятно, что этот протест вызван приговором именно над этим юношей.

.....

*Теперь, когда из тюремных камер эта автобиография выбралась на волю, вопрос об этой жизни давно, конечно, решен. Как? Этого мы сказать не можем. Более чем вероятно, что «правосудие сделало свое дело».*

.....

И того, кто писал эти строки, и другого, который один только, звеня кандалами, по-своему за него заступился (за что вдобавок к смертной казни попал еще в карцер), уже, надо думать, нет на свете. Сумеречная жизнь закончилась среди сумеречного правосудия, не дающего себе труда отличить виновных от



невиновных. Едва ли последние минуты этой жизни осветились вспышкой какой-нибудь веры. «Черт с ними!» – такова формула, которую, уходя, он кинул на прощание...

Но те, кто его судил, вели на казнь и напутствовали предсмертными поучениями, как будто во что-то верят сами и требуют веры от других. Думают ли они о том, какой ужасный иск этот сумеречный и неверующий юноша мог бы представить против «существующего строя» в той признаваемой ими инстанции, которая должна быть выше всякого земного суда?

## Глава VII Экспроприаторы

**В** сентябре 1909 года в киевском окружном суде (с присяжными заседателями) разбиралось дело эстонского журналиста Экарта (Энделя) Хорна. Ранее он был приговорен к каторжным работам за политическое преступление, совершенное в Прибалтийском крае, где, как известно, революционное движение было особенно интенсивно и местами действительно принимало характер массовой борьбы. В киевской Лукьяновской тюрь-

ме, где он отбывал наказание, в соседней с ним камере содержалась смертница, Матрена Присяжнюк, бывшая сельская учительница. В августе 1908 года она была приговорена киевским военно-окружным судом к смертной казни. Двенадцатого сентября приговор был утвержден, но исполнение почему-то затянулось. Перед казнью Матрену Присяжнюк перевели в камеру рядом с Хорном. Он слышал ее шаги и звон кандалов. Ночью светила луна. Через стену было слышно, как приговоренная, звеня кандалами, подошла к своему окну. Два товарища, осужденные вместе с нею, уже раздобылись ядом. Хорн вскрыл замазанное глиной отверстие в стенке и передал девушке цианистый калий в носике чайника. Она приняла яд, и Хорн до конца разговаривал с нею, утешал ее. В письмах к невесте, сидевшей в той же тюрьме, он описал последние минуты Матрены Присяжнюк (кружковая кличка ее была Рая). Письмо странно и не вполне связно. Видно, что писал человек, потрясенный до глубины души. О себе он иной раз говорит в женском роде, о своей невесте и Рае – в мужском.

«Я ждал вечера. Какой это был длинный, мучительный день... Когда все у нас ложились спать, я открыл ножиком замазанное глиной отверстие... Через несколько минут я увидел свет из ее камеры... Открывается отверстие, и она называет меня по имени. О боже! Я должен был передать ей... Я чувствовал, как она сняла с палочки мое послание... Затем передал ей два письма. Все время с жадностью смотрел я в отверстие. Она читала. В это время спрашивает Степа из каземата, чтобы спросить у Раи, когда она думает принять, чтобы уйти вместе... Какая любовь! Они любили ее... Звон кандалов. Значит, прочитала...» «Милый, я долго говорил с нею, я дополнил словами письмецо. Наконец, я просил ее немного отступить от отверстия, чтобы я мог ее увидеть. И я увидел ее красивое, чистое личико. Какой я был счастливеец! Она смотрела на меня и смеялась тихо, тихо... „Эндель, ты слышишь, я смеюсь?“ – „Да, Раичка, слышу... Что с тобою?“ – „Мне смешно, что мы здесь увидимся, что мы сумеем еще говорить...“ Затем она спро-

сила: что с тобой? Где Анатолий, где „земляк“?.. „Передай моей Надюшке мои приветы и поцелуи“. Здесь она уходит. Через некоторое время опять подходит. Степа спрашивает: „Когда?“ „Сегодня, после смены, – ответила она. – Действует ли калий?“ – „Да, дорогая. Больше ничего не могу тебе дать!“ Здесь я страшно волновался. Передать из рук в руки другу, которую так любишь, смерть, когда так хочется жить. Это ужасно... „Не волнуйся, Эндель“, – ответила она.

Я молчал, а она говорила что-то. Наконец она спрашивает, каким образом принять. „Разотри в порошок. Можно немного воды“. – „Хорошо, я возьму так“. Она ушла.

После смены стук в стенку – я подошел. „Сейчас приму, Эндель, я без воды. Что парни?“ – спрашивает она. „Кажется, уже“. – „Прощай“. – „Прощай, дорогая“. Я слышал шорох платья, звон кандалов. Затем тишина. „Раичка, приняла?“ – „Уже, прощай“. – „Прощай, дорогая...“ Несколько секунд была глубокая тишина. Затем она сильно задышала. Вздохи... Опять слабое ды-

хание... наконец, сильные вздохи... тишина. Тише, человек умер... не стало дорогой Раички. Тише, человек умер, но жизнь идет своим чередом... Я говорил с нею, я слышал все, был с нею до последней минуты. Все это навсегда запечатлелось в моей душе... Нет Раи, говорите вы... неправда! Я говорю – она есть и теперь со мною, со всеми нами, которые любили ее. Мы будем жить ею. Через некоторое время послышались стуки в стенку, но отвечать было незачем. То пришли тюремщики»[6]

.

Это письмо попало из тюрьмы на волю, ходило по рукам и спустя полгода было взято при обыске у некоего Кинсбургского. Оно послужило основанием для возбуждения против Хорна нового дела «о пособничестве самоубийству», которое разбиралось 10 сентября 1909 года киевским окружным судом. Почему оно было направлено в порядке общей подсудности, с присяжными и даже при открытых дверях, – сказать трудно. Если правительство рассчитывало показать обществу «чудо-вищ», которых военные суды келейно приго-

варивают к смертной казни, то расчет оказался ошибочным. «Медленно и страшно, – говорит автор судебного отчета, – приподнялась завеса над одним из ужасов жизни. Наступающие сумерки, сухое и отчетливое чтение письма среди мертвой тишины производило глубокое впечатление». В коротком последнем слове Хорн, признавая факт, отрицал вину. «Она приговорена была к смертной казни, приговор был утвержден, и я помог дорогому товарищу освободиться от нее. Я ничего безнравственного не совершил». Дальше он не мог говорить от волнения и сел... Присяжные удалились в совещательную комнату только на одну минуту. Приговор был оправдательный.

В значении его едва ли можно ошибиться. Присяжные – это люди из того самого общества, которое правительство защищает от экспроприаторских налетов посредством военных судов и смертных казней. Хори – революционер, анархист, стоявший очень близко к экспроприаторским кругам... И тем не менее во всем эпизоде нет ни одной черты, которая бы говорила о «кровожадной свирепости»

или «глубокой испорченности», невольно возникающих в воображении в связи с таким отвратительным явлением, как экспроприация, вдобавок еще частная. Для присяжных она осталась в тумане. Перед ними и перед обществом встал только образ интеллигентной девушки довольно распространенного в России типа, со знакомой издавна психологией прямолинейной готовности на борьбу и жертву. А обстановка этой смерти дала картину такого нечеловеческого страдания и атмосферу такого взаимного сочувствия, что присяжные, как мы видели, даже не колебались. Их приговор явился непосредственным откликом общественной совести. Несомненно, что Хорн помог жертве правосудия ускользнуть от виселицы. Он содействовал самоубийству... Да, но для того, чтобы устранить казнь. И присяжные, люди среднего русского типа, сказали: невиновен. Не знаю, конечно, вспоминали ли они знаменательное признание гр. Витте относительно «отсталого строя». Можно думать, что и без гр. Витте у среднего русского человека, поставляющего контингент присяжных заседателей, есть представ-

ление о связи явлений, которая в последнее время становится особенно ясной. И если даже в миазмах экспроприаторской эпидемии перед удивленным взглядом такого среднего русского обывателя встают черты душевной красоты и чувствуется психология самоотвержения, то тут есть повод задуматься о причинах этого угара... Общественная совесть не мирится, конечно, с экспроприациями. Но она не может примириться и с прямолинейным решением трудного вопроса посредством нерассуждающей «упрощенной» процедуры, в конце которой веревка и виселица...

.....

*Временная связь между экспроприациями и традициями политических партий, проявленная в бурном периоде движения, не могла удержаться долго. Она была вызвана неверной оценкой данного момента.*

.....

По существу, как длительная тактика борьбы, она противна психологии революционных партий. Антагонизм проявился сразу и с тех пор только усиливался. Случайные идейно-революционные элементы уходили из



отравляющей душу полосы, экспроприация все больше приближалась к простому разбою, иногда в самых отвратительных и жестоких формах. Но для правительства и для вульгарной «благонамеренности» вообще выгодно смешивать эти явления. Репрессии против всех оппозиционных партий оправдываются существованием экспроприации. Борьба мнений, партийное самоопределение, партийные споры и сталкивающиеся внутри оппозиций программы составляют в глазах всякого политически просвещенного правительства элемент социальной рефлексии, которая уже сама по себе ослабляет дикую страстность борьбы, обращая ее от непосредственных импульсов в сферу мысли, колебаний, сомнений, изучений. Свобода мнений выставляет самые крайние из них под свежие веяния критики. Наша власть продолжает считать своим успехом и признаком своей силы то обстоятельство, что ей удалось загнать работу оппозиционной мысли и воли в душные подполья, оставив на поверхности жизни одно только властное предписание, один только голос «организованного беспорядка» и стихийную

анархию об руку с разбоем...

В этом правительство достигло значительных внешних успехов. Одного только оно устранить не в силах – это общего, можно сказать, всенародного сознания, что так дальше жить нельзя. Сознание это властно царит над современной психологией. А так как самостоятельные попытки творческой мысли и деятельной борьбы общества за лучшее будущее всюду подавлены, то остается непоколебленным одно это голое отрицание. А это и есть психология анархии. Ни уважения к «отсталому строю», раз уже признавшему всенародно свою несостоятельность, ни самоуважения, как к членам организующегося по-новому общества... Вы говорите о каких-то возможных еще приемах легальной или хоть не вполне легальной партийной борьбы. Где они? Вот. Только эти люди еще борются при всяких условиях. Итак, долой социальную рефлексию, долой всякую организацию, всякие положительные программы и принципы! Мы принимаем только ясное, простое, очевидное: неорганизованное, не связанное никакими ограничениями выступление анархической

личности. Насилие индивидуальное – на насилие легализованное, тайное убийство – против казни по упрощенному суду или совсем без суда, грабеж – против разорения «административным порядком», личная кровавая месть – против истязаний в участковой застенке, партизанская анархия – против того, что цензор Никитенко назвал так метко «организованным беспорядком». Общий фон – глубочайшее презрение уже не только к одной стороне жизни, а ко всей жизни: к правительству, к обществу, к себе и к другим. Мы видели, как один из смертников прощался со всем этим краткой формулой: черт с ними!

Этому процессу нельзя отказать в последовательности. Он последователен, как любая болезнь в организме, пораженном маразмом застоя, как воспаление там, где есть невынутая заноза, как заражение крови...

Среди материалов, сообщенных нашим корреспондентом, есть одно письмо, поразительное по цельности и интенсивности стихийно анархистского настроения.

*«Вы спрашиваете, к чему я стремился? И действительно – к чему? Я не*

могу объяснить. Я не нахожу тех слов, которыми мог бы все это объяснить. Но я вижу и чувствую, что не то в жизни, что должно бы быть. А как должно быть по-настоящему, я не знаю или, пожалуй, знаю, но не умею рассказать. Когда я был на воле, то наблюдал, что люди делают не то, что нужно делать, а совсем другое. Несколько лет назад и я сделал не то, что нужно, а потом махнул рукой на всех и стал делать то, что хочу и что мне нравится».

Себя он характеризует с беспощадной откровенностью:

«Я страшный эгоист и любил только себя во всю свою жизнь. Я одно ясно сознавал: я живу, а раз живу, то для этого нужны деньги (!). Своих денег у меня не было, и я брал, где только они есть. Я не знаю, быть может, это и худо, но я ни на кого не смотрел. Мне нет дела до людей, какого они мнения о моих поступках. Ты и сам знаешь, что я не буду подставлять свою жизнь, а скорее сам отниму. Я всегда старался угнетать слабых и брать у них все,

*что мне надо. Если бы понадобилась их жизнь, я отобрал бы ее, но в жизни других я не нуждался. Ты не думай, что под слабыми я разумею бедных людей. Нет. У нас и богач – слабое существо. Я на воле был сильнее богача, но теперь я слаб, у меня отняли все, что я имел, и мне остается умереть».*

Правда, среди всего материала, которым я располагаю в настоящее время, это письмо является единственным по своему безнадежно-мрачному, беспросветному цинизму. Другие только в большей или меньшей степени к нему примыкают. В них это настроение смягчается по большей части проблесками признания где-то существующей, но недоступной правды и глубокой, за душу хватающей печалью о погибающей жизни.

.....

*«Придется умереть, – пишет восемнадцатилетний юноша. – А как хочется жить, если бы ты понял! Страшная жажда жизни. Подумай: мне ведь только восемнадцать лет. А как я прожил эти восемнадцать лет? Разве это была жизнь? Это были сплошные*

*страдания. Ведь у нас семейство семь душ. Работник почти один брат. Я еще какой работник! Обо мне и говорить нечего: много ли я мог заработать? Плохо было жить. Так я жизни и не видел».*

.....

«Жизнь прошла бледной, как в тумане, – пишет другой смертник. – Является чувство жалости к прожитому. Почему я был так тесен и не знал другой жизни? Почему я не учился?.. Жалеешь, почему так поздно узнал то, что узнал теперь. Почему жизнь была так пуста? Что меня занимало? Какая-то ерунда, за которую теперь стыдно».

«Впрочем, – заканчивает он безнадежно, – успокаивает мысль, что рано или поздно, но не избежать бы мне этого. Если бы и выбрался я на волю, то пришлось бы жить нелегально. Это легко только тому, кто не испытал этого. Пришлось бы заниматься тем же. Значит, я опять явился бы кандидатом на виселицу».

«Все хорошее, – пишет третий, – заслонялось дурным, и я видел только зло во всю свою хотя и короткую жизнь. Видел, как другие мучаются, и сам с ними мучился. При та-

ких обстоятельствах и при такой жизни можно ли любить что-нибудь, хотя бы и хорошее? Прежде я работал на заводе, и мне это нравилось. Потом я понял, что работаю на богача, и бросил работу. С вооруженного восстания стал грабить с такими же товарищами, как я».

.....

*«Да и стоит ли выходить на волю? – спрашивает четвертый. – Нашел ли бы я там людей, с которыми стоило бы жить? Я знаю, что где-нибудь есть хорошие, честные люди, но я их не найду, а сойду с какими-нибудь негодями. Пожалуй, и не стоит выходить на волю и жить так, как я жил раньше. Лучше уже умереть, чем сплошная мука».*

.....

Порой встречаются попытки реабилитации и оправдания экспроприаторской «деятельности». «Я напишу вам о том, что меня мучает в данную минуту, – пишет один из экспроприаторов-смертников политическому заключенному. – Я знаю, что большинство людей считают меня, как и других экспропри-

аторов, простым воров. Но я не для себя грабил, а помогал тому, у кого ничего не было. Об этом знают многие. Я делал это не от лица какой-нибудь партии, а от себя лично, и мне так обидно, когда обо мне говорят так. Когда я прежде сидел в общей камере с уголовными, то все говорили, что экспроприаторы грабят только для себя. Я спрашиваю вас: неужели те, которые сидят с вами в одной камере (речь, очевидно, идет о политических), думают так же, как уголовные? Я говорил прежде уголовным, что есть люди, которые берут не для себя, а для других. Лично о себе я ничего не говорил, но мне всегда было так горько при таких отзывах об экспроприаторах».

Но общий уровень экспроприаторской среды падает гораздо ниже и этих наивных попыток своеобразной идеологии. «Я грабил с такими же экспроприаторами, как и я, – печально признается еще один автор, – но и тут подлость: товарищ у товарища ворует. Я участвовал во многих грабежах, но редко проходило без подлости. Разве это не обидно? Ведь свой у своего берет? А снаружи все хорошие люди. И как жить после этого?»



Читатель, вероятно, заметил горькую, хотя, может быть, и несознательную иронию этих заключительных слов. О том, чтобы найти правду в обычных условиях общества, этот погибающий юноша уже и не говорит. Остались еще, по-видимому, немногие хорошие люди. Это экспроприаторы, которые одни держат активно восставать против торжествующей несправедливости. Но и они хороши только «снаружи», по своему, так сказать, «почетному званию». Как жить после того, когда даже среди них настоящей правды не оказывается!..

## **Глава VIII**

### **«Приговор утвержден»**

Этим исчерпывается автобиографический, так сказать, материал, доставленный самими смертниками нашему корреспонденту.

Эти интимнейшие, откровенные и совершенно бескорыстные признания-исповеди разными способами, но почти всегда неофициально пробирались из камеры смертников в другие тюремные камеры к людям, которые не имели ни малейшей возможности повлиять на участь приговоренных. В каждой

строчке звучит поэтому одна предсмертная правда. Многие авторы писем откровенно говорят о том, что для них при данных условиях нет уже никакого исхода, и сомневаются, стоит ли им даже мечтать о жизни. И тем не менее только в одном (первом) письме можно, пожалуй, увидеть признаки настоящего цинизма и нераскаянности. Во всех остальных сквозят горькое раздумье и тоска по какой-то другой жизни, по какой-то труднодоступной правде. Можно ли, положив руку на сердце, сказать, что для тех, кто писал эти исповеди, не может быть места среди людей и что рука, утверждавшая эти приговоры, удаляла из жизни извергов, недоступных ни раскаянию, ни исправлению?

А ведь все это писано по большей части профессиональными экспроприаторами, дышавшими разъедающей атмосферой вульгарно-анархической психологии. Таково ли, однако, большинство жертв военной юстиции? Экспроприаторство – это эпидемия. Нередко она захватывает людей просто среднего типа, не думавших за месяц до преступления, что они могут в нем участвовать, и просыпаю-

щихся от закрутившего их вихря, точно после тяжелого сна. В газетах появлялись не раз письма смертников к родным, ярко выражавшие это пробуждение от кошмара, проникнутые страстным чувством раскаяния.

Вот несколько примеров.

Некто Карамышев служил в экономии Орлова-Давыдова, в Аткарском уезде, Саратовской губернии. Был обыкновенный служащий, нажил на службе увечье и должен был получить за это увечье деньги. Но в промежутке принял участие в нападении на купца, причем никому никаких ран причинено не было. Самый обыкновенный грабеж, окрашенный современным колоритом «экспроприации». Тем не менее он был приговорен к смертной казни. Вот его предсмертное письмо к родителям[7]:

*«Дорогие мои родители, папаша и мамаша, и сестрица Феня! Пишу я свое любезнейшее письмо к вам со слезами на глазах; извещаю я вас в том, что я присужден к смертной казни через повешение. То прошу, дорогие мои родители, простите меня и все мои пре-*

ступления перед вами. Перед смертью я исповедывался и причастился, отклонить этого я не мог.

Прощай, родной ты мой отец, прощай, родная моя мать, прощай, сестрица моя родная, прощайте все мои братья и любезные мои друзья; вы больше меня не увидите, до гроба будете вспоминать. Прошу, дорогие мои родители, отслужите панихиду по мне. Ах, как трудно такой смертью помирать. Сообщите брату моему Ване, что меня уже нет на свете. Дорогие мои папаша и мамаша! Когда писал это письмо, у меня сердце кровью обливалось, слезы катились с моих глаз и капали прямо на стол. Передайте моей жене, чтобы и она отслужила панихиду. Жена моя и братья мои навещали до самой смерти моей. Прошу еще, скажите моим дядям и теткам и также крестной и дедушке, что я уже помер. Передайте смертный мой поклон Федору, Петру, Василию, Мише и всем моим знакомым. Еще прошу, напишите в Баку тетке и брату Василию о том, что меня нет в живых. Папаша и мамаша, если вы получите деньги за увечье, то

*прошу вас сердечно построить на эти деньги хороший дом, и меня не забывайте. Папаша и мамаша! Не плачьте обо мне, так как у вас осталось еще четыре сына; довольно вам и этих, без меня обойдетесь. Ну, дорогие мои родители, прощайте же еще раз. Прощай, мое село родное, где я родился и провел свою молодость. Прощай, все общество мое. Простите меня, злодея окаянного. Бог, может быть, не оставит меня и простит грехи мои все. Письмо это я писал перед смертью, рука дрожала, сердце билось. Извините, что так плохо написал, тороплюсь. Прощайте, прощайте. Нет уже меня. Еще раз прощай, жена моя родная, милая моя. Прощайте. Некогда. Меня ждут. Любящий сын ваш Василий Максимов Карамышев».*

Читатель видит, что здесь нет и намека на характерную психологию экспроприаторов-анархистов, нет также и тени какой бы то ни было оторванности от среды и ее отрицания. Эта расстающаяся с миром душа – душа крестьянина, крепко связанная с семьей, с обществом, со своим миром.

За экспроприацию в Балашовском уезде Саратовской губернии был приговорен к смертной казни Шуримов. Его отец, слепой старик, проживающий в Цимлянской станице (области Войска Донского), получил от него следующее письмо[8]:

*«Здравствуй, дорогой папа! Шлю тебе свой последний прощальный привет и желаю много... много... счастья. Прости, дорогой, что я так долго тебе не писал. Ты подумаешь, что я вконец забыл тебя. О милый папа, не обвиняй меня так жестоко. Все это время нашей разлуки с тобой было сплошное мученье для меня. Я только тем и жил, что думал, настанет время, когда я навсегда соединюсь с тобой, когда я буду в силах преклонить твою седую голову к себе на грудь и залечить душевные раны, что нанес твоему бедному, истерзанному сердцу. Но это время не настало, мечты мои разлетелись, и осталась горькая действительность. Я с 29 мая 1908 года сижу в тюрьме. Двадцать третьего января я был на суде и приговорен к смертной казни. Приговор послан на утвержде-*

*ние командующему войсками, но надежды мало, чтобы смерть заменили каторгой. Мне осталось жить дней тридцать. Если можешь, дорогой папа, то приезжай, тебя допустят увидеть меня. Теперь я сижу на имя Шуримова. Напиши письмо матери и скажи ей, что последняя моя просьба, чтобы она не покидала тебя и успокоила бы твою бедную голову. Поцелуй Пашу и Мишу. Всем родным поклон. Прощай, папа!»*

Как и ожидал присужденный, приговор был приведен в исполнение.

Еще более яркие, по покаянному настроению, письма написал восемнадцатилетний юноша, Евгений Маврофриди, приговоренный к смерти военно-окружным судом в Новочеркасске в декабре 1908 года.

*«Здравствуйте, дорогая мамочка. Я, по воле всевышнего, еще жив, но в будущем не знаю, что со мной будет, приведут ли в исполнение приговор или же нет, но я, дорогая мамочка, чувствую, что я живу последние дни, а может быть, даже и часы, вот уже*

десятые сутки ожидаю смерти и ночью не сплю и прислушиваюсь, как заяц, к каждому шороху, и как только проходит мимо какой-нибудь надзиратель, так мне все кажется, что это за мною, то есть мне кажется, что легче будет умирать на виселице, нежели ожидать вот так каждую минуту то, что откроется дверь и скажут: выходи! Но, дорогая мамочка, на все его святая воля, я надеюсь на него. Он сам страдал, но он страдал за наши грехи, то есть за грехи всего народа, а я страдаю за то, что не слушал вас, дорогая мамочка, и не молился ему, который умер за наши грехи. Да, дорогая мамочка, грешен я перед богом и перед вами. Каюсь, ну что, теперь, мне, кажется, уже поздно, да, дорогая мамочка, слушался бы я вас, молился бы почаще богу, ничего бы подобного не было; а то я послушал совета товарищей и оставил службу в банке, не бросил бы я служить, не сидел бы я теперь и не ждал бы каждый час смерти, а ожидал бы, как каждый христианин, среди вас, дорогие мои, праздника рождества Христова, ну, на все воля



всевышнего. Суждено мне умереть – я умру, если нет – значит, буду жить. Дорогая мамочка. Смотрите лучше за Колей, вразумляйте его, пусть он молится богу за всех вас, а также пускай помолится за своего грешного брата, может, бог услышит его, а обо мне, дорогая мамочка, забудьте, я недостойн, чтобы из-за меня мучились люди, а тем паче вы, дорогая мамочка, а также Маруся, она вас слушалась, и училась, и молилась за своего грешного брата богу. Мамочка, смотрите за ними, то есть за Колей и Марусей. Скажите им, чтобы они вас слушали, а не подруг и товарищей.

Дорогая бабушка, я знаю, что я вам приношу много горя, так как я горячо вами любим, но вы, дорогая, не обижайтесь на меня, а помолитесь лучше за меня богу. Да, дорогая бабушка, тяжело умирать в таких летах, как я, ведь мне только восемнадцать лет, и я должен умирать, ну, раз так хочет бог, то пусть так и будет. Если господь нас, то есть меня с вами со всеми, дорогие мои, разделяет здесь на земле, то он нас соединит там, где до-

*рогой мой папа, да, бабушка? Я иду до папы. Вы успокойте мамочку, скажите ей, что у нее есть еще Коля и Маруся; я молю бога, чтобы она нашла в них себе утешение.*

*Ну, покамест до свидания, а может быть, прощайте, это бог знает. Целую вас всех крепко, поцелуйте за меня тетю Шуру, Колю, Марусю и всех остальных. Евгений Маврофриди».*

В том же тоне написано и письмо к брату, тому самому Коле, о котором этот юноша несколько раз упоминает в предыдущих письмах. Он просит его не оставлять мать и сестру: «у них одна надежда на тебя. Оправдай все это, береги их, выучи ты Марусю, чтобы из нее вышла порядочная барышня, а не какая-нибудь потаскуха... Не оставляй службы, служи, терпи и боже тебя сохрани послушать совета товарища без совета матери... Дорогой Коля, если мне придется умирать, то я оставлю свой крестик золотой на серебряной цепочке, ты его получишь в тюремной конторе и одень его и носи до конца своей жизни, я тебя прошу ради бога, это будет благословение твоего грешного брата».

В Таганрог, где жили родные Маврофриди, письма пришли с прокурорской пометкой: писаны они 18 декабря. Мы не знаем, что предпринимала несчастная мать, но приговор был утвержден, и 29 декабря 1908 года восемнадцатилетний Маврофриди казнен.

.....

*И сколько таких матерей, и сколько отцов, и братьев, и сестер, и бабушек получали в последние годы такие письма. Сколько тут еще косвенного, неправимого и незабываемого страдания людей уже совершенно невинных.*

.....

Слепой старик Шуримов, получивший в Цимлянской станице от своего сына цитированное выше письмо, захотел исполнить его просьбу и отправился в Саратов, чтобы получить прощальное свидание. В первой статье я уже рассказывал об его «хождениях по этому делу». Чтобы добиться простой справки – жив ли еще его сын, или его уже казнили, – ему пришлось путешествовать из Саратова в Казань, и только по возвращении оттуда «справку» наконец дали: сын уже повешен. Что теперь с этим слепым стариком? Жив ли он или

не выдержал тяжкого удара и последовал за сыном? Мы не знаем. Это знают, вероятно, в Цимлянской станице. «Были случаи, – говорит сотрудник „Нашей газеты“, описавший мытарства Шуримова-отца, – покушения на самоубийство лиц, близких к казненным: люди не выдерживали ужаса такой потери. Во всех таких случаях общество, несомненно, казнит невинного вместе с виновным»[9].

А вот еще бытовая картинка в современном вкусе, которую господин А. П. нарисовал с натуры в газете «Речь». Автору случилось 3–4 января 1909 года ехать с вечерним поездом из Ставрополя Кавказского. Ехали, как обыкновенно ездят в вагонах третьего класса, и разговоры шли обычные. На первой остановке в то отделение, где помещался автор, вошел мужчина в опрятном костюме, который на Кавказе носит название «хохлацкого» и всегда выдает переселенцев из малорусских губерний. Ничего особенного на первый взгляд в этом переселенце никто из пассажиров не заметил. Фигура тоже бытовая, обычная, и ее тотчас же, по обыкновению, приобщили к обычному вагонному разговору: кто?

откуда? куда? по какому делу? торговля? покупка или продажа хлеба, скота, яиц или масла?

Оказалось, что едет он в Таврию и дела у него не торговые... А какие?

– Да так... несчастье маленькое вышло...

Что ж. И это дело обычное. «Со всяким человеком случаются несчастья». «Без этого невозможно. Дело житейское».

– Болен кто-нибудь?..

– Никто и не болен... Сына повесили.

Всех поразил спокойный, по-видимому, тон этого ответа. Известие было неожиданное и не совсем обычное. К такому «бытовому явлению» даже наша российская публика еще не совсем притерпелась, как к обычному предмету вагонного разговора... Кое-кто, может быть, сразу и не поверил. Но «спокойный» незнакомец вынул из кармана «документы», и господин А. П. прочитал их. Документов этих было два. Первый гласил:

*«Здравствуйте, дорогие родители, дорогие папа и мама и дорогие братья и сестры. Я в настоящее время сижу в одиночке в последнюю минуту повели*

меня. Нас на казнь пять человек Котеля, Воскоб<ойникова>, Лавронова и Куценка. Вы хорошо знаете кажется кто был я и умру не первый и не последний. Привели меня в темную так называемую одиночку так что я писать не вижу, ни буквы ни линеек, которые находятся на этой бумаге. Дорогие папочка и мамочка и дорогие братики и сестрички читай<те> это письмо, но прошу не плачьте и (не) тратьте своего здоровья и сил и так слабы прошу не плачьте. А гордитесь своим сыном я умираю гордо и смело смотрю смерть<и> в глаза я нисколько не боюсь ее я очень рад что кончено мое мученье меня судили 29 октября, а 22 ноября ночью приблизительно часов у 12 или в час я очень весел, этим я горжусь, что умер не трусом. Это последнее прощальное письмо. Целую вас папу, маму, Васю, Ваню, Катю, Маню, Варю. Прощайте, прощайте Коля Котель».

Другой документ было письмо защитника в чисто деловом тоне.

«Милостивый государь. Сын ваш был

*осужден судом к смертной казни, причем суд постановил ходатайствовать перед Каульбарсом о замене смертной казни каторгой. Сегодня в тюрьме случайно узнал о том, что Каульбарс не уважил просьбы и смертный приговор приведен вчера в исполнение. Присяжный поверенный В. Гальков».*

Читатель легко представит себе «вагон третьего класса» после оглашения этих документов. Поезд несется по русской равнине, гроыхая и лязгая цепями, светя в темноту ночи своими окнами. В одном вагоне третьего класса все притихло. Кто не спит, слушает чтение документов и (теперь уже не совсем спокойные) речи «переселенца» в хохлацком костюме.

– Лучше бы меня повесили, – так передает господин А. П. общее содержание этих речей, – чем его, молодого, в расцвете сил. Добрый был. Ласковый. Никому зла не сделал. Ну, хоть бы в каторгу послали, все-таки был бы жив... Растили... радовались... Мать пропадает от горя, у меня точно сердце из груди вынули... Пусто...[10]

В публике слушают, качают головами: «бытовое явление» повернулось необычной стороной: перед глазами этих людей уже не экспроприатор и не революционер, а отец, такой же, как и все эти отцы, у которых тоже есть дети. И они тоже разошлись по белому свету в учение, на заработки, на службу... Кто их знает? Из семьи тоже уходили добрые, любящие, ласковые. Писали письма: «дорогая мамочка и папочка. Посылаю я вам с любовью низкий поклон...» И вдруг вот так же внезапно напишут: «Сижу в одиночке. Через полчаса повесят». А защитник прибавит: «суд ходатайствовал, но Каульбарс не уважил». И мать станет пропадать от горя, у отца вынут сердце. За что? Они ли виноваты, что всюду вне их семьи свирепствует эпидемия «волнений и расстройств», вызванная, между прочим, и тем, что современный строй уже «не удовлетворяет стремлениям общества к правовому порядку...» Почему же за это так тяжело приходится расплачиваться матерям и отцам? Разве «отстала» одна только семья, а не государство?..

И почему генерал Каульбарс казнил Колю



Котеля, когда даже суд перед ним ходатайствовал о смягчении его участи? Кто этот генерал, такой строгий и непреклонный? Кто-нибудь даже и в вагоне третьего класса, пожалуй, знает кое-что про этого доблестного генерала. О нем много писали и продолжают писать. Например, генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, останавливаясь на причинах наших неудач в минувшую войну, говорит: «Указать хоть на то, что командующий второй армией генерал Каульбарс не исполнил приказаний главнокомандующего, чем много способствовал японцам в обходном движении. Получив войска и приказание наступать, он отступал; вместо того чтобы идти вправо, шел влево и т. п.... Военный совет нашел действия генерала Каульбарса неправильными, установил факты неисполнения приказаний главнокомандующего и решил предать генерала Каульбарса... военному суду. Суд, по высочайшей милости, не состоялся»[11].

Неужели это тот самый?.. Да, тот самый. Он пощадил японцев от своей грозной атаки и даже «много способствовал неприятельско-

му обходному движению». Почему же теперь он так беспощаден к Коле Котелю, его отцу и матери? Самому ему грозил военный суд. Он избег его только благодаря милости... Почему же теперь сам он так немилостив, что отверг даже ходатайство суда?..

А русский поезд все дальше мчится русской степью, унося с собой этот клочок ужасной русской современности «послеконституционного периода»... И на каждой маленькой станции кусочек «бытового явления» отщепляется от громающего поезда, и какой-нибудь из слушателей «спокойного рассказа» пробирается проселком в село, или в деревню, или в городское предместье, в крестьянскую лачугу или в рабочую казарму. Что он несет туда? Какие впечатления, какие чувства, какие мысли? Уважение к силе власти? Страх перед нею?.. Перед генералом Каульбарсом, тем самым, который... Или, может быть, щемящее сочувствие к горю отца и матери, к сотням и даже тысячам отцов и матерей, постигаемых этой доблестной генеральской беспощадностью? Или, чего доброго, сочувствие к неведомому юноше, написавшему

перед смертью:

.....

*«Умру не первый и не последний. Не плачьте, а гордитесь своим сыном. Умираю гордо, смело гляжу в глаза смерти...»*

.....

Трудно угадать, кто и что именно вынес с собой из этого вагона и от этого рассказа. Трудно точными словами передать чувства и мысли безгласной страны, которая, говорят, уже успокоилась, но в которой под конституционные речи все еще не хочет успокоиться виселица... Ведь и этот случайно встреченный господином А. П. пассажир в костюме кавказского переселенца казался тоже спокойным. Но все-таки он хранит на груди свои «документы» и готов предъявить их по первому запросу...

Когда, при каких обстоятельствах, в какую инстанцию он их предъявит?.. Кто знает. Будущее темно. Русский поезд мчится в темноте дальше и дальше по старым, износившимся рельсам...

## Глава IX

## Как это делается?

Прежде, еще не так давно, это делалось иначе, чем теперь. До последнего времени, до периода «обновления», казнь была явлением исключительным, необычным. Она волновала, потрясала, пугала человеческую совесть. В ней чувствовался ужас, над ней витала мрачная, почти мистическая торжественность.

Можно было бы привести много примеров. Мы удовольствуемся одним. В благонамеренном «Историческом вестнике» (за апрель 1909 года) были помещены воспоминания господина Георгия Черенкова, рисующие картину казни пяти солдат дисциплинарного батальона. Всем более или менее известно, что такое дисциплинарные батальоны. Они были ужасны в николаевские времена, быть может, еще ужаснее теперь. Доведенные до отчаяния преследованиями унтер-офицеров, эти пятеро солдат их убили. Военный суд приговорил их к казни. Автор описывает, как очевидец, самую картину казни, и мы приводим это описание *in extenso*[12].

Ночь перед экзекуцией остальные штрафные солдаты провели без сна. Еще с вечера,

когда всех заперли на ночной отдых, в окна, выходящие на плац, были заметны какие-то приготовления. Бегали люди с заступами и фонарями... Все поняли, что они делают...

Еще не рассеялся предрассветный мрак, как на плац стали выводить войска. Их расставили в несколько рядов вокруг плаца по стенам ограды. Вслед за ними вывели из казарм и штрафных и расположили покоем. У открытой стороны этого покоя, впереди шагов на двадцать, стояли в одну линию пять столбов. Появилось начальство – сначала свое, потом приезжие – губернский воинский начальник, военный прокурор и еще кто-то. Кругом царила тишина раннего утра.

Но вот раздался шум многих шагов и странный звон железа. Слева в распахнувшиеся ворота ограды вышла масса людей, двигавшаяся сконцентрированным кольцом. В середине этого кольца виднелось несколько закованных фигур. Впереди, с крестом в руках, шел баталионный священник Иаков Стефановский. Он шел быстро, почти бежал, боязливо озираясь назад, как бы стараясь уйти от того страшного, что гремело назади.

В воздухе пронеслась команда:

– К эк-зе-куции!

Загремели барабаны. Двухтысячная толпа вздрогнула. Сердца забились. Каждый слышал удары сердца своего соседа.

От группы властей отделился военный прокурор с бумагой в руках. Нервным шагом он вышел на середину и стал лицом к осужденным. Бой барабанов умолк.

– «По указу его императорского величества», – громко и торжественно начал прокурор, а затем продолжал чтение, закрыв бумагой свое лицо от осужденных.

– На-пут-ствие! Расковать! – крикнул командовавший смертным парадом Масалитинов.

К осужденным подбежали кадровые и разомкнули ручные оковы. Появился кузнец с наковальней и молотом. Нетвердой рукой медленно он разбивал ножные железа. Потом подошел трепещущий священник и начал предсмертное напутствие.

А сзади, у столбов, уже мелькали, развеваясь, белые саваны... Вправо в стене ограды тихо открылись черные ворота, выходив-

шие в степь, в сторону кладбища, и в них въезжали, громыхая, дроги с огромным черным ящиком.

– Проститься! – крикнул командующий «смертным парадом».

Чурин (один из осужденных) встрепенулся. Он повернулся на север и, простирая руки в пространство, крикнул:

– Прости, север!

И, соответственно поворачиваясь, продолжал:

– Прости, юг! Прости, восток! Прости, запад! Тем временем другие осужденные что-то невнятно говорили к народу. Повернулся к толпе и Чурин. Не опуская рук, он закричал своим могучим голосом:

– Простите, братцы! За вас погибаем! Раздался страшный крик:

– Эк-зе-куция!

Грохот десятка барабанов заполнил воздух, землю и небо.

.....

*Мы не выписываем дальнейшей процедуры вплоть до того момента, когда загредел залп, после которого три фи-*

*гуры у столбов упали. Две продолжали шевелиться. Оказалось, что двое приговоренных помилованы и их заставили только психологически пережить ужасный момент казни. «К ним подошел, весь в слезах, доктор... Все облегченно вздохнули».*

.....

Это было в половине восьмидесятых годов. Россия, в которой казнь давно якобы отменена законом, в это время пережила все-таки немало казней, даже над женщинами. Но бытовым явлением казнь еще все-таки не была. Она совершалась всенародно и носила характер мрачного «смертного парада». Момент расставания с жизнью, хотя бы и преступников, признавался еще чем-то торжественным и священным. Чурин на глазах тысячной толпы прощается с севером и югом, западом и востоком, прощается с товарищами, за которых отдал свою жизнь. Священник дрожит, прокурор закрывает лицо бумагой, в «страшном крике» командующего чувствуется содрогание человеческого сердца, доктор подходит к столбам весь в слезах. Над всем витает сознание торжественности, живое ощущение ужа-



са и ответственности.

.....

*В наши времена казнь вульгаризировалась. С нее сорваны все торжественные покровы.*

.....

Да и могли ли они уцелеть, когда суды выносят сразу по тридцать смертных приговоров, когда казнь назначается «за нападение, сопровождавшееся только похищением четырех рублей, пары башмаков и колец», как это было совсем недавно в Севастополе[13], или «за ограбление пятнадцати рублей без всяких убийств или даже поранений», как это случилось в прошлом году в Уфе[14]. Таких примеров можно было бы привести десятки. По мере того как «бытовое явление» ширится, сознание исполнителей тупеет. Казнь становится вместо «смертного парада» простым и будничным делом. Людей начинают вешать походя, кое-как, без ритуала, даже просто без достаточных приготовлений. 13–14 декабря 1908 года в городе Уральске, по приговору военно-полевого суда, совершена казнь над Лапиным, обвиненным в убийстве генерала Хо-

рошкина. Палач, нанятый для этого случая за пятьдесят рублей, был в маске. Заплатили ему довольно дешево, вероятно потому, что это был еще новичок в своем деле. Приготовленная веревка оказалась негодной; послали за другой, принесли опять чересчур толстую. Пришлось разыскивать третью (где? может быть, бегали по смотрительским чердакам?). Все это происходило в присутствии осужденного. Неопытность дешевого палача вынудила осужденного помогать ему прилаживать петлю и оттолкнуть скамейку... Во все время этой затянувшейся процедуры осужденный утверждал, что в убийстве Хорошкина он не виновен[15].

В одной из южных губерний товарищ прокурора подал характерный протест: явившись для присутствия при казни приговоренного к виселице, он застал другую процедуру: за неимением палача обвиненного расстреляли[16], находя, очевидно, что «не все ли равно». Был бы человек убит, а как именно – это в значительной степени предоставляется усмотрению и инициативе исполнителей. Двадцать шестого ноября 1908 года в газете

«Новая Русь» была напечатана телеграмма: «Сегодня на рассвете во дворе четвертой части по приговору военного суда повешены: Аристофиди, Котель, Воскобойников, Лавронов и Киценко. Во время казни веревка оборвалась. Котель упал на землю, испустив страшный крик. Палач, желая прекратить этот крик, наступил ему на горло ногой. Издевательства палача над Котелем и другими осужденными прекращены товарищем прокурора».

Если знакомый уже нам «кавказский переселенец», которого господин А. П. встретил в ставропольском поезде, читал эту телеграмму, то, наверное, он присоединил ее к тем «документам», которые он носит с собой на груди. Потому что этот Котель – тот самый Коля, его сын, письмо которого он показывал пассажирам, тот самый, о смягчении участи которого суд ходатайствовал перед непреклонным генералом Каульбарсом. Вот как она была «смягчена» в действительности...

Впрочем, пусть это только «исключение». Не всегда нанимаются неопытные палачи «подешевле», не каждый раз обрываются ве-

ревки, не при каждой казни осужденному приходится ждать, пока новую веревку разыскивают по чердакам, и не каждую жертву вместо одного раза казнят двойными казнями... «Опытных» палачей, имевших много практики, становится теперь все больше. Не во всякой также тюрьме происходят и те ужасающие зверства над казнимыми, которые такими потрясающими чертами обрисованы бывшим депутатом Ломтатидзе в его письме, адресованном в социал-демократическую фракцию третьей Думы. Я избавлю читателя от нового воспроизведения этой картины, которая предназначалась для думского запроса и обошла в прошлом году все газеты... Обратимся от исключений к общему правилу и посмотрим, как это делается обычно, в средней, бытовой обстановке.

Совсем недавно к депутату Гегечкори обратился Рудольф Глазко, томящийся в рижской тюрьме уже несколько лет без суда и следствия. Он умоляет добиться для него суда, который так или иначе должен прекратить его физические и нравственные истязания. Как и Ломтатидзе, самыми тяжкими из них он счи-

тает соседство смертников. «Посадили, – пишет он, – в одиночную, рядом с камерой смертников. По ночам не спал. В стенку то-ропливо стучат смертники... В ранние утрен-ние часы по коридору раздаётся звяканье шпор, шорох... душу раздирающий крик: „Прощайте, товарищи!..“ На дворе погашают фонари. Смертных ведут на казнь»[17].

Эта картина, данная в самых широких и общих чертах, составляет фон, на котором другие доступные нам источники выводят «бытовые» узоры. Мне лично была доставле-на следующая копия с письма заключенного к сестре или невесте, в котором описываются впечатления тюремного населения (то есть сотен людей!!) во время казней.

*«Дорогая NN... Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо. Не знаю потому, что посылаю его не обычным путем, да еще и без марки... Опишу тебе по-дробно казнь четырех наших товари-щей в ночь с 5 на 6 ноября. Вечером, 5-го, к нам в камеру заходил начальник тюрьмы и уверял нас в том, что при-говоренные к смертной казни наши товарищи помилованы. Мы начальни-*

ку почти поверили, тем более потому, что перед этим приговоренные подавали прошение на имя главнокомандующего московским военным округом, и очень могло быть, что главнокомандующий заменил им смертную казнь бессрочной каторгой. На деле оказалось, что это со стороны начальника было хитрой уловкой. Он знал, конечно, что в эту ночь должна была произойти казнь, и старался нас успокоить. Осужденные тоже ничего не знали до того момента, когда их начали вешать, так что не могли даже проститься со своими родными. Но некоторые из нас не поверили начальнику и решили ночь не спать. Я заснул часов в двенадцать ночи, и ничего не было заметно. Часа в три просыпаюсь и слышу крики: „Повели!“ Бужу всех товарищей и подбегаю к „волчку“. Вижу, что в коридоре стоят солдаты (обыкновенно их не бывает). Потом послышался лязг кандалов и шарканье многих ног по асфальтовому полу коридора. Через несколько времени мимо „волчка“ промелькнули фигуры солдат. Среди них шли четверо осужденных. Осужденные

шли в одних рубахах, без верхнего теплого платья. Их взяли прямо с постелей, не дав одеться в теплое платье. Лязг кандалов, шарканье ног по полу, сдержанный шепот надзирателей – все это покрывали громкие рыдания. Плакал один из приговоренных, Сурков, молодой парень, лет двадцати. Осужденных вывели на двор и расковали там, а потом повели к месту, где они должны быть повешены. На дворе была морозная ночь. Дул холодный ветер. Вокруг всех стен с внутренней стороны были расставлены солдаты, а с наружной казаки. Место для вешания выбрали такое, что оно не видно было из окон камер. Виселицы не было никакой, роль ее исполняла простая пожарная лестница, приставленная к стене тюрьмы. Осужденных привели, поставили, прочли им приговор и предложили им причаститься и исповедаться. Двое отказались, а двое причащались. Сурков продолжал рыдать; другие трое его успокаивали, как могли. Один из осужденных, Ножин, несмотря на свой возраст (семнадцать лет), держался замечательно спокойно. Ну-с,

*потом начали вешать. Вешали по одному, а другие осужденные должны были ждать, пока тот совсем окоченеет. Говорят, что палачами были двое надзирателей из нашей тюрьмы. Для того чтобы их не узнали, им надели маски. Впрочем, наверное, еще неизвестно, кто был палачами...»*

«...Нам не видно было, как происходила казнь, и потому мы, от нечего делать, костили офицеров, которые стояли с солдатами вокруг стены... Одного из товарищей пришлось стаскивать с окна, потому что офицер уже направил на него револьвер. По окончании казни повешенных свалили на телегу и увезли из тюрьмы. Казнь сильно подействовала на товарищей. Раздался из одной камеры похоронный марш, и через некоторое время все пели. Мы не сговаривались, а вышло это так как-то само собой. Когда началось пение, влетел начальник и потребовал, чтобы мы прекратили пение, грозился облить водой, перестрелять... Когда он ушел, пение все-таки продолжалось. Повешенных всех четыре. Из них Шишаков двадцати шести лет, Сурков девят-



надцати или двадцати, Ножин семнадцать [18], Трущелев двадцати девяти лет».

Я заменил в этом описании многоточиями ужасающие подробности, которых автор сам не видел и которые могли бы и эту «бытовую» картину превратить в одно из отвратительнейших исключений. Действительность теперь часто становится неправдоподобнее самого кошмарного вымысла. Но мне кажется, что настоящий ужас все-таки не в этих примерах крайнего одичания исполнителей. Он не в исключениях, а в общем правиле, в средних условиях, окружающих ужасное дело. Тот самый корреспондент, который из-за стен тюрьмы доставил мне бóльшую часть фактического материала этой статьи, пишет о последнем акте «смертнической трагедий». Опять та же знакомая картина, с ничтожными вариациями: «...Гремят замки, слышится лязг засовов, и через несколько минут по коридорам несутся уже прощальные крики. Это смертные шлют свой прощальный привет другим смертным. Их ведут по двое или по трое мимо камер, битком набитых уголовными, грязных, смрадных и безмолвных. Никто

В это время не должен подниматься с постели и никто не должен подходить к „волчку“. Заключенный, замеченный в нарушении этих требований, а тем более крикнувший этим осужденным последнее „прости“, наказывается продолжительным темным, страшно холодным карцером. Осужденных проводят в контору, и толпа надзирателей нередко возвращается обратно, за новыми жертвами. Обыкновенно в одну ночь не вешают более шести человек. В конторе прокурорская власть читает им приговор о казни через повешение и берет с них подписку в прочтении бумаги (II). После этого священник предлагает свои услуги осужденным. Затем они пишут свои последние письма и идут к месту казни на тюремном дворе».

«Мы не будем описывать самого процесса казни», – говорит наш автор и в заключение приводит следующее замечательное письмо «очевидца», каждое слово которого есть непосредственное впечатление и от каждого слова веет эпической правдивостью и глубокою, спокойною печалью:

*«Я спал очень крепко. Но при первых*

криках, несущихся откуда-то изда-  
лка, я проснулся и, еще не сознавая от-  
четливо, что значат эти крики, как-  
то сразу понял, что опять началось  
то ужасное, что тяжелым кошмаром  
висело над нами уже несколько ночей.  
Каждый вечер мы ожидали наступле-  
ния этого ужасного, и когда оно нача-  
лось, то всем нам показалось неверо-  
ятным, что безумное дело готово  
свершиться у всех перед глазами. Но  
крики, ужасные, рыдающие крики нес-  
лись в звонкой тишине, и у меня вдруг  
появилась сумасшедшая уверенность,  
что кричат они, уже сгибшие в про-  
шлый раз, что каждую ночь будут  
проходить они по гулкому коридору,  
приходить и кричать нам и всем тем,  
кто спит спокойно там, в холодном  
равнодушном городе, за тюремными  
стенами, о наступившем ужасе.

За дверью камеры слышался топот  
ног, смутный говор, непонятная возня,  
и вдруг чей-то резкий надтреснутый  
голос отчетливо крикнул: „Дай ему!  
Дай ему! Что орет!“ И затем крики  
смолкли, и где-то внизу стукнула  
дверь. Я подбежал к окну. В камерах

зимние рамы еще не вставлены, и замерзшие окна мертвенно смотрят в нашу камеру. Но кусочек стекла у самого подоконника остался незамерзшим, и я по-прежнему припал к подоконнику и стал смотреть на освещенный двор. Еще раз стукнула где-то дверь, и наступила жуткая мертвая тишина. Она казалась бесконечной, и я уже готов был подумать, что они прошли где-то другими дверями на роковой дворик, но на освещенном электрической лампочкой дворе сразу появилась густая толпа. Она быстро пошла к калитке, и, странно размахивая руками, среди одетых в черное надзирателей быстро шел по двору одетый в арестантскую куртку смертный. Отчетливо неслись по двору из толпы опять два голоса – один сильный и звонкий, другой глухой и слабый, и, сливаясь и перебивая друг друга, в морозном воздухе повисли одни и те же слова: „Товарищи, прощайте! Прощайте, товарищи!“ Калитка открылась, смертные вошли туда, толпа надзирателей стала таять, двор опустел, и только три черные фигуры, странно

качнувшись, быстро бросились обратно в главный корпус. Кончилось или нет? Я подошел к „волчку“ и стал слушать. По-прежнему из всех камер несся глухой, сдержанный говор и кашель простуженных людей...

На площадке, мимо которой проводят смертных, слышались голоса возвратившихся от калитки надзирателей. В камеру доносились обрывки фраз, отдельные слова, но по ним можно было догадаться, что речь идет о только что совершившемся. „И чего только канителиться? – заговорил кто-то несколько громче. – Два человека. Уж сразу бы всех“. Голос смолк, и кто-то другой заговорил пониженным голосом, а потом заговорили оба сразу, взволнованно, сопровождая каждое слово грубой, циничной бранью: „Возьми, говорит, зажми ему рот, а не понимает, что он палец откусит“. – „Нет, чудно, – заговорил опять первый голос, – первый идет резво, а второй-то, второй-то... Умора! Как котенок слепой... Суется туда-сюда... Уж лучше бы накинуть ему на шею петлю. А то как есть слепой котенок...“

*И, должно быть, говорившему сравнение показалось удачным. Он повторил его еще раз, а потом засмеялся. И было столько бессмыслицы и непонятной жестокости в этом смехе, что у меня сразу поднялась в сердце острая боль, и я уже не мог больше слушать и отошел от „волчка“... „Нужно сходить спросить, – слышался опять голос, – пусть разрешат: пора и спать“. Мы поняли, что все кончилось. Кончилось только на этот раз. Кончилось затем, чтобы в одну из следующих ночей тюремный коридор вновь огласился криками. И когда подумаешь, что впереди предстоит еще много (таких) ночей, то становится непонятным, как это там, в этом холодном, равнодушном городе, люди, считающие себя умными и заслуживающими уважения, продолжают спокойно спать и позорно молчать!..»*

## **Заключение**

**В** 1853 году на острове Гернси в Ла-Манше человек по имени Джон Шарль Тапнер явился ночью к женщине и убил ее. Затем он ее ограбил и поджег дом. Расследование этого

дела бросило ужасный свет на несколько других преступлений, в которых можно было подозревать ту же руку.

Тапнера судили. «Его судили с беспристрастием, – писал по этому поводу Виктор Гюго, живший на этом острове в качестве политического изгнанника, – судили с добросовестностью, которая делает честь свободному и беспристрастному суду. Тринадцать заседаний были посвящены рассмотрению факта. Третьего января 1854 года решение состоялось единогласно, и в девять часов вечера, в публичном и торжественном заседании, председатель суда, судья Гернси, объявил подсудимому разбитым и прерывающимся, дрожащим от волнения голосом, что „так как закон наказывает убийцу смертью, то он, Джон Шарль Тапнер, должен приготовиться к смерти, что он будет повешен 27 января на месте своего преступления. Там, где он убил, он будет убит“».

Виктор Гюго обратился к жителям острова с письмом, в котором, нисколько не смягчая отвратительного преступления Тапнера, предостерегал их против преступления обще-

СТВЕННОГО.

.....

*«В эту минуту, – писал он, – среди вас, жителей этого архипелага, находится человек, который в этом будущем, неведомом для всех людей, ясно различает свой последний час... Когда все мы дышим свободно, говорим и улыбаемся – в нескольких шагах от нас в тюрьме находится дрожащий человек, который живет со взором, устремленным на один день этого месяца, на день 27 января, на этот призрак, который все приближается к нему. Этот день, для нас всех скрытый, как и все другие, перед ним уже обнаруживает свое лицо... мрачное лицо смерти».*

.....

Он убийца... Да... «Но, – продолжает Гюго, – какое мне дело до этого? Для меня, для всех нас этот убийца более не убийца, этот поджигатель более не поджигатель. Это дрожащее существо, и я хочу его защитить. Жители Гернси! Не дайте виселице бросить тень на ваш чудный остров... Не примите на себя страшной ответственности захвата боже-



ственного права человеческим правом. Кто знает? Кто проник в загадку? Есть бездны в человеческих поступках, как есть бездны в волнах. Вспомните о днях бурь, о зимних ночах, о темных и разъяренных силах природы, которые овладевают вами в иные минуты... Не допустите, чтобы в ваши паруса дул ветер с могил. Не забывайте, мореплаватели, не забывайте, рыбаки, не забывайте, матросы, что только одна доска отделяет вас самих от вечности... что и вы всегда находитесь лицом к лицу с бесконечным, с неведомым. Разве вы не будете думать с содроганием, что ветер, который будет свистеть в ваших снастях, встретил на своем пути эту веревку и этот труп?.. Ваши свободные учреждения отдадут в ваше распоряжение все средства для того, чтобы выполнить этот священный, этот религиозный подвиг. Соберитесь законным порядком. Взволнуйте общественное мнение и совесть... Жены должны убеждать мужей, дети должны умолять отцов, мужчины должны составлять прошения и петиции. Обратитесь к вашим правителям и судьям. Требуйте отсрочки, требуйте смягчения правосудия. Спешите, не те-

рвайте ни одного дня».

Это было пятьдесят шесть лет назад, по поводу предстоящей казни одного человека, после судебного разбирательства, длившегося тринадцать дней, со всеми гарантиями защиты и при полнейшей очевидности факта. Сердца моряков и матросов откликнулись на благородный призыв французского изгнанника, и остров рыбаков закипел петициями, собраниями и протестами против казни...

Что сказал бы теперь великий поэт и гуманист, если бы дожил до нашего русского «обновления» и увидел целую страну, где не один человек, а сотни и тысячи «живут со взглядами, устремленными на свой последний день, в то время как другие дышат свободно, разговаривают, смеются...» Где чуть не каждую ночь в течение нескольких уже лет происходят казни... Где предутренный ветер то и дело встречает на своем пути виселицы, веревки, качающиеся трупы и несет на поля, на деревни, на города «святой Руси» последние стоны и хрипы казненных. Где в вагонах отцы рассказывают «спокойно» о гибели сыновей, почти мальчиков, и о непреклонности

генералов Каульбарсов. Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в «бытовое явление», в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, и людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попадающихся под руку, обрывающихся, гнилых веревок... И потом так же наскоро зарывают трупы, торопливо, с цинической небрежностью, точно в самом деле во время повальной моровой язвы...

В июне прошлого года в газетах мелькнуло коротенькое известие, не обратившее на себя особенного внимания. В Екатеринославе на окраине города начали строить казармы. Едва землекопы принялись рыть фундамент, как тут же наткнулись на трупы казненных. Узнать их было нетрудно: трупы лежали в земле в кандалах[19].

.....

*Встает старая легенда, оживает  
мрачное суеверие седой старины, когда  
«для прочности» фундаменты зданий  
закладывались на трупах... Не доста-*

*точно ли, не слишком ли много трупов положено уже в основание «обновляющейся» России?*

.....

«Кто знает, кто проник в загадку?» – скажем мы вместе с великим французским поэтом. Есть бездны в общественных движениях, как есть они в океане. Русское государство стояло уже раз перед грозным шквалом, поднявшимся так неожиданно в стране, прославленной вековечным смирением. Его удалось заморозить обещаниями, но «кто знает, кто проник в загадку» приливов и отливов таинственного человеческого океана? Кто поручится, что вал не поднимется опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период «успокоения»?.. Чтобы к историческим счетам прибавились еще слезы, стоны и крики мести отцов, матерей, сестер и братьев, продолжающих накоплять в «годы успокоения» свои страшные иски?

Нужно ли?..

На этом я пока заканчиваю эти очерки «бытового явления». «Продолжение» несет с собою каждый наступающий день, каждая «хроника» нового газетного листа, каждый новый приговор упрощенного военно-судного механизма. Мы не можем, подобно великому французскому писателю, сказать: «наши свободные учреждения предоставляют все средства для борьбы в пределах закона» с этим обыденным ужасом. Мы не можем «собираться в законном порядке», не можем на этих собраниях «волновать общественное мнение и совесть», облекать это мнение в форме «петиций для обращения к правителям и судьям». Тем важнее, скажу даже тем священнее, обязанность печати хоть напоминать о том, что ужас продолжается в нашей жизни, чтобы не дать ему превратиться окончательно в будничное, обыденное, бытовое явление, своего рода привычку, перестающую шевелить общественное сознание и совесть.

В заключение считаю своею обязанностью принести искреннюю благодарность человеку, который в самом центре этого ужаса, в соседстве со смертниками имел мужество соби-

рать, черта за чертой, этот ужасный материал и помог ему проникнуть за пределы тюремных стен и роковых «задних дворов».

Читать это тяжело. Писать, поверьте, еще во много раз тяжелее... Но ведь это, читатели, приходится переживать сотням людей и тысячам их близких.

Март-апрель 1910

# • Часть вторая • Военное правосудие

## Черты военного правосудия

К работе над очерком «Черты военного правосудия» автор приступил летом 1910 года. В письме жене от 24 июня 1910 года он писал:

*«Нырнул в статью. Пишется пока хорошо... Вчера и третьего дня немножко нервничал (как всегда перед настоящим приступом к работе). Сегодня бодр. Написанное мне нравится».*

На другой день он написал ей же:

*«Статья двигается хорошо. Пока идет живо и бодро в тоне, о котором я тебе говорил: не жалость, а негодование».*

2 сентября автор написал А. Г. Горнфельду [20]:

*«Погрыз я в смертницком вопросе и все еще не выбрался. Надеюсь дня через три послать последнюю из обязательных статей этого цикла и сейчас же перейду к другим работам. А то ни за*

что не могу взяться, пока не выгрузу».

Статья была напечатана в начале октября 1910 года. 29 октября на книжку был наложен арест, но постановлением Судебной палаты от 5 ноября арест с книжки был снят. В тот же день Короленко писал дочерям:

*«Эти статьи для меня все-таки большое место. Каждый раз, когда пишу, мне то кажется, что выходит, то опять думается, что бледно, и то чувство, которое все время кипит во мне, не находит выражения. <...> Вы уже знаете, что арест снят. Сначала я очень обрадовался. Просто почувствовал, что мне все-таки не зажали рта и книжка дойдет до читателей. Но потом к этому все-таки присоединилась мысль, что, может быть, было бы и лучше, если бы судили и даже хоть посадили. Черт бы с ними, а дело было бы все-таки еще подчеркнуто».*

## Глава I

### Вместо вступления. Дело Юсупова

**М**не пришлось однажды близко взглянуть на военное правосудие по следующему



случаю.

В ноябре 1898 года в Грозненском округе тремя чеченцами было произведено нападение на хутор некоего Денишенка. Самого хозяина дома не было. Разбойники захватили разные вещи, в том числе голову сахара. Шум на хуторе привлек несколько соседей, и разбойники, сделав по ним четыре выстрела, скрылись. Дело произошло вечером; разглядеть лица было трудно, но семейные Денишенка показали, что один из разбойников как будто похож на чеченца Юсупова, года за два перед тем жившего у Денишенка в работниках. В данное время Юсупов жил неподалеку, на своем собственном хозяйстве. Денишенко показал, кроме того, что вместе с сахаром у него была припрятана сторублевая бумажка, которую тоже похитили нападавшие.

Юсупов и предстал перед военными судьями в Грозном 2 апреля 1899 года.

Никто из семьи Денишенка на суд не явился. Оказалось, что они переселились в Закаспийскую область, и причина неявки была, значит, законная. Но с нею исчезали единственные свидетели обвинения. Все осталь-

ные показали в пользу Юсупова. Среди последних были, между прочим, свидетели русские, которые явились на защиту Денишенков прямо от Юсупова. Они были у него в гостях, и, по их словам, он сам послал их на хутор Денишенков, откуда слышался шум. Они тоже видели разбойника, несколько похожего в темноте на Юсупова. Семейные Денишенка сначала говорили очень нерешительно о кажущемся сходстве. Только по возвращении главы семьи их показания приобрели полную определенность. Другие свидетели объясняли это тем, что Денишенко рассчитывал взыскать с Юсупова свои убытки, а показание о ста рублях они считали корыстной выдумкой. Уже после ареста Юсупова чеченец, похожий на него фигурой, произвел несколько нападений на дорогах. Свидетель Бугленко, один из защищавших Денишенков, впоследствии сам был ограблен этим разбойником. Денишенко, по мнению этого свидетеля, ускорил свое переселение, опасаясь последствий ложного показания.

В таком виде предстало это дело перед господами военными судьями в городе Грозном.

Заседание было гласное, и публика (как и сам подсудимый) совершенно спокойно ждала оправдательного приговора. Другого, по обстоятельствам дела, ждать было невозможно.

Вышел суд. Юсупова приговорили к смертной казни.

Изумительный вердикт поразил всех присутствовавших негодованием и ужасом.

.....

*«Устрашающее действие приговора очевидно, – говорилось в одной из корреспонденций по этому поводу, – но есть большие основания думать, что устрашатся вовсе не те, против которых направляются репрессии. В то самое время, как свидетели русские единогласно показывают на судебном следствии в пользу Юсупова, по некоторым намекам чеченцев можно думать, что всем им хорошо известен настоящий виновник, „немного похожий“ на невинно осужденного. Кого же устрашает такой суд? Он до очевидно-сти опасен мирным людям, но над ним смеется настоящий разбойник. Он убил одного мирного обывателя, суд убьет другого».*

.....

Один из местных жителей, г. Ширинкин, присутствовавший на суде, написал мне письмо. От этого листка почтовой бумаги на меня повеяло тем ужасом, какой пережили свидетели чудовищного приговора. Защитник Юсупова подал кассационную жалобу, но сам считал ее безнадежной. Меня, как столичного жителя и писателя, просили найти какие-нибудь «ходы», чтобы предупредить очевидное для всех судебное убийство. Таким образом я, человек сторонний, живущий за тысячи верст от Грозного, не имевший ни малейшего понятия ни о Юсупове, ни о военно-судных Соломонах, его осудивших, становился с этой минуты причастным к ответственности за жизнь этого человека и за их приговор. Найду я ходы – Юсупов может спастись. Не найду – его повесят. А у него жена, старик отец и ребенок. Таковы эти маленькие случайности нашей русской жизни, такова ее круговая ответственность. Я чувствовал себя отвратительно, точно здесь, в Петербурге, на меня свалилась и неожиданно придавила меня одна из кавказских скал...

.....

*К счастью, мне помогли добрые люди. Читатель, может быть, удивится, если я скажу, что эти «добрые люди» были... из военно-судебного ведомства.*

.....

Один молодой человек, начинавший карьеру, первый явился ко мне на помощь, чтобы извлечь меня из-под ужасной кавказской глыбы. Он посоветовал обратиться прямо в главный военный суд, уверяя, что я там найду людей отзывчивых и добрых, и прежде всего в лице главного военного прокурора...

Я так и сделал. Напечатав то, что мне писал господин Ширинкин в (тогдашних) «Петербургских ведомостях», я затем написал письмо генералу Маслову. Приложив номер газеты с корреспонденцией из Грозного, я закончил заявлением, что, зная, как мало в таких случаях может сделать печать, и считая себя несправедливо отягченным этой ответственностью, предпочитаю сложить ее со своей партикулярной совести на совесть его, генерала Маслова, как судьи и человека...

Вот при каких обстоятельствах я завязал в 1899 году личное знакомство с людьми в во-

енно-судных мундирах. И должен сказать, что об этом знакомстве вспоминаю теперь с истинной душевной отрадой. Формально в приговоре Грозненского военного трибунала все было как нельзя более правильно. Правда, смертный приговор был вынесен на основании показаний отсутствующих свидетелей, вопреки единогласным показаниям всех присутствовавших. Чудовищно брать на себя ответственность за смертный приговор при таких обстоятельствах. Но это уже дело ума и совести господ грозненских судей. Главный же военный суд имеет дело только с формальной законностью приговора. Причины неявки Денишенков были законны – этим решалась судьба Юсупова. Все это и объяснил мне докладчик главного суда, к которому мне посоветовали обратиться. Разговор наш происходил, помнится, в понедельник. В четверг предстоял доклад. Заключение могло быть только совершенно отрицательным. В пятницу телеграмма на Кавказ, затем конфирмация и казнь... Вполне сообразно с существующими узаконениями!.. Юсупов не мог жаловаться, что по отношению к нему нарушены ка-

кие бы то ни было законы. Кассационная инстанция ничего сделать не может.

– Все это так, – сказал я, с отчаянием выслушав все эти непререкаемые соображения. – Но что же мне сказать вам, чтобы вы почувствовали по человечеству то, что вам предстоит сделать?

Оказалось, что это было не так уж трудно. Судья, с которым я говорил, человек необыкновенно сдержанный, соглашался все-таки, что по существу, а не по форме приговор «внушает сильные сомнения». Признавали это и другие в главном военном суде и тоже готовы были принять участие в судьбе явно невинного человека. В четверг кассация была отвергнута, но об этом по телеграфу не известили. Докладчик обратился к главному прокурору с особым докладом. Главный военный прокурор доложил военному министру. Военный министр все эти сомнения препроводил кавказскому наместнику (тогда им был кн. Голицын). О Юсупове и приговоре грозненского трибунала пошла экстренная переписка.

– Не знаю, Владимир Галактионович, бла-

годарить ли вас и газеты за то, что вы сделали своим вмешательством, – говорил мне не старый еще судья с серьезным лицом и седоющей бородой. Глаза его мне казались печальными, в улыбке чувствовалась горечь. – До сих пор, – продолжал он, – этот Юсупов был для нас просто бумагой, поступившей за номером таким-то. Мы вписали ее во входящий, рассмотрели. Все в ней оказалось правильно. Оставалось внести в исходящий и успокоиться. Теперь это уже не номер, а человек. И знаете, что это значит для нас – иметь дело с людьми вместо бумаг? Вот посмотрите: борода поседела у меня в одну неделю, когда к нам приехали отцы и матери андижанских повстанцев[21]. Меня после этого врачи отправили за границу в нервном расстройстве.

.....

*Вскоре я узнал, что кн. Голицын прислал телеграмму о приостановке казни до конца предпринятого им административного расследования. С первых же шагов этого расследования выяснились обстоятельства, не оставлявшие сомнений, что беспечные грозненские судьи приговорили к смерти*



.....

Прошло еще немного времени, и газеты сообщили, что Юсупов получил полное помилование. К нему явились в тюрьму, сняли кандалы и отпустили к семье – жене, отцу и ребенку.

Читая эти известия, я лично испытывал смешанное ощущение благодарности и ужаса. Благодарности – к людям, ужаса – перед учреждением. Я не знаю подробностей той внесудебной, чисто административной работы, которая спасла Юсупова. Во всяком случае, это были внесудебные влияния, случайные и непредвиденные. Но что же это за аппарат, с такой слепой жестокостью присудивший к смерти человека, невинность которого так вопиюще очевидна для всех: для присутствовавшей на суде публики, для жителей города, для корреспондентов, для докладчика, имеющего дело с одной лишь бумагой, за тысячи верст от места действия, для администрации, как только она принялась за расследование...

К сожалению, я не могу кончить с истори-

ей Юсупова на этом «радостном» эпизоде, так как она имеет нерадостное продолжение.

Пока в Петербурге и в Тифлисе шли эти разговоры о нем и переписка, Юсупов сидел в тюрьме, в ожидании казни, вместе с двумя другими чеченцами, тоже присужденными к виселице. Подошла пасха. В тюремной церкви шла пасхальная заутреня. Арестанты были крепко заперты по камерам, и ворота тюрьмы открыты для сторонних молящихся. В ту минуту, когда в церкви пропели «Христос воскрес», народ стал расходиться, и на дворе замелькали огни свечей, три «смертника», разбежавшись вместе от противоположной стенки, ударили в дверь крепкими упругими телами. Дверь соскочила с петель, и, пока ошеломленные надзиратели успели сообразить, в чем дело, три чеченца накинулись на них, связали, забили рты, сняли мундиры и, переодевшись, выбежали во двор и вышли за ворота вместе с народом.

На следующий день всех их поймали. Двоих вскоре повесили. Юсупова оставили ждать своей участи и вздрагивать при каждом шорохе. Мы уже знаем: он дождался помилова-

ния и вернулся к семье.

Но... он ведь пытался бежать из тюрьмы. А это, как известно, преступление «перед обществом и властью». Правда, он был невинен, а суд его осудил и собирался законно убить невинного, а невинному приходится незаконно спасаться. Арестанта посадили, арестант должен сидеть. Его поведут на виселицу – он должен идти. Юсупова по всем этим разумным основаниям привлекли к суду (на этот раз гражданскому), судили и осудили в каторгу. Было это незадолго до китайской войны, и несчастный чеченец затерялся где-то в далекой Сибири под шум поднимавшейся уже дальневосточной грозы. Я узнал об этом долго спустя...

Вот как это вышло просто и как законно. Невинно осужденный все-таки попал на каторгу, а грозненские судьи продолжают судить других Юсуповых с такой же пронизательностью и с такой же легкой совестью. И теперь, вдобавок, они призваны экстренно водворять порядок в нашем отечестве, потрясенном беззакониями всякого рода. И они, конечно, водворяют. Почему бы нет? Кто ска-

жет, что они хуже других, что они сознательно осудили невинного? Конечно нет... Просто средние военные люди, добросовестно убежденные, что спасают общество и Россию по мере своего разумения. Особой пронизательности в деле Юсупова они, очевидно, не обнаружили. Даже напротив. Обнаружили изумительную недогадливость. Это правда. Но ведь мера обязательной пронизательности никакими законами не установлена. Это уже от бога, а они действовали «в пределах своих законных полномочий». И если они все-таки постановили приговор, внутренняя преступность которого во много раз больше, чем самое нападение на хутор Денишенков... если главному военному суду оставалось только умыть руки, чтобы невинный человек был повешен, – то они ли в этом виноваты лично, своею совестью? Едва ли... Все тут нелепо и дико, но – все сообразно с законами, по которым действуют военные суды. А когда возможны такие вопиющие столкновения между тем, что люди хотят называть правосудием, и элементарными понятиями о праве и правде... и когда никого из участников нельзя

обвинить в сознательном злоупотреблении, то не очевидно ли, что смертный грех гнездится в самом учреждении? И, значит, всем, кому дорога правда, необходимо внимательно присмотреться к его деятельности.

Это мы и попытаемся сделать в нижеследующих очерках.

## Глава II Дело Глускера

**В** Мглинском уезде, Черниговской губернии, есть небольшое местечко Почеп, расположенное по линии полесских железных дорог. В ночь на 16 августа 1907 года это местечко и весь Мглинский уезд были взволнованы ужасным преступлением. Ночью в своем доме вырезана целая семья Быховских; отец, сын и приказчик наутро найдены уже мертвыми, жена, невестка и внучка Быховских тяжело ранены. Убийство сопровождалось зверской жестокостью: стены, полы, потолки и окна были забрызганы кровью и кусками мозга. Эта жестокость поражала тем более, что не было заметно признаков борьбы: семью застали врасплох, и никакого сопротивления убийцам никто не оказывал.

.....

*В день этого убийства за сто верст от Почеп, в имении г-жи Гусевой работало человек восемь кровельщиков, в том числе некто Глускер, бывший приказчик убитого Быховского. Кровельщики мирно крыли крышу. К вечеру они пошабашили, как обыкновенно, и спокойно отправились ночевать тут же, в имении.*

*В том числе Глускер.*

.....

К большому несчастью и для Глускера, и для правосудия, в Мглинском уезде расположено имение министра юстиции г. Щегловитова, и в роковую ночь, когда негодяи убивали семью Быховских в Почепе, а Глускер спокойно спал после рабочего дня в экономии г-жи Гусевой, в имении г. министра находилась его семья. Весь уезд был потрясен ужасным убийством, и семья г. министра, понятно, разделяла эти чувства. А полиция и следственные власти были взволнованы вдвойне: «на дело это обратил особое внимание бывший в Почепе проездом в свое имение министр юстиции И. Г. Щегловитов»[22].

«Особенное внимание» высшей власти в

деле правосудия почти всегда бывает зловеще. Покойный министр Муравьев проявил «особенное внимание» в памятном деле Тальмы. В Орле была кем-то убита генеральша Болдырева. Министр Муравьев, проезжая на открытие новых судебных учреждений в Томске, вызвал к себе прокурора орловского суда и захватил его с собой в поезде на несколько станций. При этом министр «обратил внимание» прокурора на то, что убита генеральша, «лично известная государю», и что нерешительность следствия «производит неблагоприятное впечатление». Говорят, прокурор изложил г. министру как некоторые свои догадки, так и свои сомнения в их правильности и говорят, что министр изволил одобрить г. прокурора: «Вы на верном пути». Тогда, конечно, под лучом высокого одобрения, прокурорские догадки превратились в уверенность, а прокурорские сомнения рассеялись, как дым. Тальма был привлечен, осужден, сослан на Сахалин. Но после этого финала сомнения, так легко рассеянные г. министром, всплыли опять. Заговорила пресса, пошли споры. Тальма был помилован и возвращен с Сахалина.

Помилование есть формальное уничтожение последствий приговора, но не нравственная реабилитация. В последнем отношении Тальма так и остался, говоря старым юридически безнравственным термином, «в подозрении». Но никто не мог, конечно, реабилитировать и судебного приговора, который остался «в сильнейшем подозрении» вместе с Тальмой.

Не менее благосклонное внимание обратил покойный министр на знаменитое в свое время «мултанское дело», и нужны были экстренные усилия печати, профессоров судебной медицины, защитников, чтобы парализовать усердие властей и вырвать невинных мултанцев из цепких рук поощряемого свыше обвинителя Раевского... Такую же роль сыграло «особое внимание» Победоносцева в деле Скитских[23].

Я, разумеется, далек от того, чтобы отнести ужасное дело, которое теперь волнует русскую печать и русское общество, на счет такого же прямого воздействия нынешнего министра юстиции, г. Щетловитова. Нет. «Прямого воздействия», вероятно, не было. Следственные власти только почувствовали



на себе внимательные взгляды сверху, возбуждавшие энергию. А уж остальное – естественное последствие особенностей полицейского дознания, предварительного следствия, нашей юстиции вообще, военно-судной юстиции в частности: чем более напрягается служебная энергия, тем больше вероятия, что «возмущенное чувство» начальствующих лиц будет удовлетворено в самом непродолжительном времени. А зато кто-нибудь из обывателей рискует совершенно неожиданно для себя и в самый кратчайший срок очутиться под приговором к каторге, как мултанцы или Скитские, к Сахалину, как Тальма... Говорят, что в Китае в таких случаях поступают еще проще: убили кого-нибудь, чья смерть требует возмездия. Из Пекина пишут: чтоб были немедленно открыты виновные. Местные власти немедленно и удовлетворяют требование: отправляется отряд, который хватает первого дровосека в лесу, первого жнеца в поле, первого кровельщика на крыше дома. Когда требуемое число укомплектовано, их сводят к одному месту, привязывают к дереву, поставленному на козлах, рубят головы и сче-

том отправляют в Пекин. Высшие власти чувствуют удовлетворение: преступление открыто.

Россия не Китай. О, конечно! У нас действуют «судебные уставы, не знающие смертной казни». Мултанцев и Скитских судили с присяжными, и в гласном суде удалось, наконец, разорвать сети «предварительного следствия». Тальму обвинили, но – оказалось возможным вернуть его с далекого Сахалина... Все это было до российской конституции...

.....

*Только в последнее время мы сделали шаг от Запада к Китаю: несчастного Глускера ускоренным порядком отправили туда, откуда уж ничье повеление не в силах вернуть его к жизни...*

.....

Под гипнозом «особенного начальственного внимания» власти быстро открыли виновных. Ими оказались, во-первых, бывшие приказчики Быховского: Глускер, Дыскин и Кописаров, которых покойный обвинял в краже товаров, и, значит, они могли ему мстить. Затем Толстопятова – прислуга Быховских. Она

осталась жива, когда семья была перебита. «В оправдание» этого факта Толстопятова приводила то соображение, что жила она совершенно отдельно, в кухне, изолированной от остальных помещений... Но ее слушали плохо. К ней ходил племянник, Жмакин, который тоже был привлечен к делу.

Следствие закончено скоро и поступило на рассмотрение киевского военно-окружного суда. Кописарову и Дыскину удалось доказать свое alibi[24], и они были оправданы. Толстопятова отсидела уже год в тюрьме. Жмакин пошел на каторгу, где находится и поныне.

.....

*Глускер повешен.*

*Теперь оказывается, что в лице Глускера повешен невинный. В день перед убийством он действительно работал на крыше за сто верст от Почена. Ночью он действительно и заведомо для многих людей ночевал в экономии г-жи Гусевой... Военно-судная юстиция поторопилась до известной степени исправить ошибку.*

.....

Тринадцатого мая выездная сессия киев-

ского военно-окружного суда в Чернигове рассмотрела вторично дело об убийстве семьи Быховских. На этот раз перед судом были трое мужчин: Панков, Сидорцев и Муравьев, и три женщины: Рубеко, Антонович и Каравалева. Суд приговорил мужчин к повешению, двух женщин за недонесение к пятнадцати годам каторги и одну – к двум годам крепости. Но Глускер?..

Таковы оказались результаты служебной энергии, проявленной в деле о раскрытии убийства семьи Быховских. «Возмущенное чувство» общества и высшей власти было удовлетворено не только стремительно, но и с очевидной торопливостью. В деле Глускера не было никаких указаний на участие Панкова, Сидорцева и Муравьева. В деле последних – никаких указаний на виновность Глускера, Толстопятовой и Жмакина. Совершенно наоборот: в том сознании, которое послужило основанием для второго дела, новые обвиняемые заявляли категорически, что никто из осужденных по этому делу раньше не принимал в убийстве никакого, даже отдаленного, участия[25].

Обстоятельства, при которых возникло второе дело, тоже чрезвычайно характерны для состояния правосудия в конституционной России двадцатого века. Приговаривая к казни Глускера, суд, по-видимому, не испытывал никаких сомнений или истолковал все сомнительное не в пользу подсудимого, а в пользу виселицы. Но сомнения все-таки были и, между прочим, нашли себе место в голове «заштатного полицейского чиновника» Работнева. Кто такой полицейский чиновник Работнев, почему он попал «за штат», какими побуждениями руководился, продолжая свои розыски по «совершенно законченному» делу, – мы не знаем. Но рассуждал этот заштатный чиновник (сколько можно судить по газетным известиям) приблизительно так:

Семья Быховских убита со страшной жестокостью, которая едва ли может быть объяснена мстью за подозрение в краже. Кроме того, Глускер – средний приказчик, простой обыватель, до того никогда не участвовавший в убийствах или вооруженных кражах. Наконец, он и убитые – евреи. Убита вся семья с такой жестокостью, в которой чувство-

валась рука профессионального убийцы. Так убивают беглые каторжники, специалисты-громилы, жидоненавистники, украшающие во многих городах ряды «монархических» организаций... Но едва ли так стал бы убивать еврей евреев... Не очень давно в газетах промелькнуло коротенькое, но в высшей степени характерное известие: исправник, арестовавший убийцу, предложил ему вопрос, зачем он убивал часто без всякой надобности, и получил ответ:

– Не все ли мне равно, повесят ли меня за одно убийство, или за десять!..

Нельзя не видеть в этом маленьком эпизоде своеобразного результата «военно-судного» устрашения. Правосудие, считающееся с оттенками преступности, взвешивающее каждую долю вины, чтобы на другую чашу положить соответствующую долю ответственности, заставляет хоть до известной степени и преступника соразмерять свои действия. Кто знает тюремный быт, тому известно, какие там есть тонкие юристы и как отлично они различают степени наказания при взломах, например, или без оных, вторую и

третью кражу и т. д. Военные суды, не признающие разных тонкостей и пускающие с такой легкостью смертную казнь в повседневный обиход юстиции, пустили этим самым в обиход жизни особый тип убийцы, тоже не признающего смягчений, действующего с ужасающей холодной свирепостью. За ним уже есть одно преступление, и он чувствует себя заранее приговоренным. И притом приговоренным не к тюрьме, не к каторге, а к казни. Приговор следует за ним по пятам. Это петля и саван. Не красть и не грабить ему уже нельзя – жить нечем. Попасться на простой краже для него та же смерть. Человек, у которого он крадет, грозит ему не мировым судьей, не судом присяжных, а виселицей. Ему не дадут пощады, и он ее не даст.

И ходят среди нас эти «военно-судные» люди, люди петли и виселицы, со смертельным отчаянием затравленного зверя в душе, ходят десятками и сотнями... И когда такой человек станет над вами ночью с целью стащить ваши часы и кошелек с тремя рублями, из его глаз глядят на вас смертельная ненависть и призрак близкой петли. И в этом часто ваш

приговор.

Такую именно руку, привычную и твердую, почувствовал заштатный полицейский чиновник в том деле, за которое был казнен Глускер. Перебирая в уме людей этого профессионального типа, он вспомнил Бабичева. Бабичев был уже на примете и до преступления часто появлялся в Почепе с любовницей. После убийства оба исчезли. Работнев был «заштатом». Очень вероятно, что он соперничал с кем-нибудь из счастливых открывателей Глускера. Он направился в Брянск, где жил Бабичев (несколько часов езды от Почепа), и там, – как кратко говорится в репортерских заметках, – стал «допытывать» сожительницу Бабичева.

.....

*Как он ее допытывал, это «профессиональная тайна» наших Шерлоков Холмсов вообще. Как бы то ни было, вскоре он получил возможность послать в соответствующее учреждение телеграмму:*

*«Нашел настоящих виновников убийства семьи Быховских».*

.....



Это и были Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев. Из них Сидорцев по наружности очень похож на Глускера. А главная улика против последнего состояла в том, что оставшаяся в живых восьмилетняя девочка из семьи Быховских признала в нем убийцу, нанесшего ей удар, от которого она впала в беспамятство. Очевидно, это сходство и погубило Глускера. Сожительница Бабичева подробно рассказала, как Бабичев, Сидорцев, Панков и Муравьев, составлявшие разбойничью шайку, приговоренные уже ранее к каторге и бежавшие, сговаривались у нее на квартире. Муравьев сначала подтвердил все это; на суде, однако, он снял оговор с товарищей, утверждая, что оговорил их ложно, под влиянием истязаний, которым его подвергал черниговский Шерлок Холмс. Тогда и другие подсудимые взяли обратно свои признания, ссылаясь на те же, говоря вообще, довольно вероятные мотивы. Тем не менее суд вынес приговор, который мы приводили выше: Сидорцев, Панков и Муравьев приговорены к виселице (Бабичев умер раньше).

Вскоре затем в газетах появилось известие,

что двое из приговоренных покончили с собой до казни. Экспертизой точно не установлено, было ли в данном случае убийство или самоубийство. Пошли, конечно, разные толки, вызываемые предположениями о каких-то «профессиональных тайнах» полицейских застенков и застеночной политики, которые тоже составляют в наше время довольно распространенное «бытовое явление».

Во всякой другой стране, где вопросы о человеческой жизни не решаются с такой стремительной прямолинейностью, эти два судебных разбирательства вызвали бы целую бурю и послужили бы поводом для расследования дела во всех мельчайших подробностях. У нас первая ошибка только усугубила вину убийц по второму делу. И в самом деле: если казнили Глускера, то, конечно, тем скорее следовало казнить настоящих убийц, из-за которых погиб невинный. Но нам кажется, что это печальное заблуждение. Весьма вероятно, что Быховских убили именно Панков, Муравьев и Сидорцев. Но что касается невинно осужденного Глускера, то его убили не Панков, Муравьев и Бабичев, а военно-судная юстиция. А

так как тут есть и еще заинтересованное лицо – все русское общество, потрясенное этой цепью убийств, бытовых и судебных, – то, конечно, во всякой стране, где не утрачено правовое сознание, предпочли бы второе дело рассматривать не в том же военно-судебном порядке, а в порядке общем, при полной гласности и с разъяснением всех обстоятельств дела. Конечно, тут вышла бы некоторая несообразность: настоящие убийцы не были бы казнены, тогда как за их вину уже казнен невинный. Но казнь невинного сама по себе есть такая вопиющая несообразность, такая незабываемая несообразность, такое неизгладимое общественное преступление, что ничем ее уравновесить нельзя и тем менее новым применением судебного аппарата, только что обагренного невинною кровью. Тут, кроме Глускера или Панкова с товарищами, общественная совесть упорно ищет и еще виновника. Кого? Состав киевского военно-окружного суда?.. Едва ли... Конечно, мы не завидуем положению судей, подписавших смертный приговор невинному, как не завидуем и киевскому генерал-губернатору, с лег-

ким сердцем его утвердившему. Допускаем, что сон господ судей не всегда был спокоен после того, как заштатный полицейский чиновник прислал свою телеграмму: «Нашел настоящих убийц семьи Быховских». Пишущему эти строки отчасти знакома практика именно киевского военно-окружного суда. Защитники, выступающие по военно-судным делам в пределах киевского военного округа, единогласно свидетельствуют о том джентльменском отношении и внимании, какое всегда в этом суде встречали интересы защиты. Но личный состав суда может гарантировать – и то в самых узких пределах – лишь судебное следствие и свободу защиты в заседании. Тем тяжелее вина не лиц, а самого учреждения, всего этого аппарата военной юрисдикции, при которой возможно взять человека, работавшего во время совершения убийства на виду у десятков людей за сто верст от места действия, зажать ему рот разными формальностями ускоренной процедуры и – повесить здорово живешь, «впредь до выяснения его невиновности»... Это настоящая угроза общественной безопасности. Ведь и каж-

дый из нас может так же, как Глускер, сидеть за самой мирной работой и так же, как и он, быть схвачен, а затем ускоренным порядком отправлен на виселицу. Но и, кроме этого, разве мы, все русские, не вправе требовать, чтобы нас не делали свидетелями и безмолвными участниками таких происшествий в нашем отечестве?

Впрочем, мы притерпелись. Вот например, г. М. П. Успенский, защищавший, хотя и не защитивший покойного Глускера, обратился с письмом в редакцию «Нового времени» по поводу «неверных сведений, помещаемых в газетах по известному делу невинно казненного еврея Глускера». Какие именно неверные сведения были помещены в газетах и какие «неверности» могут усилить или ослабить значение «казни невинного» по суду, г. Успенский не объясняет, хотя и признает, что Глускер казнен невинно.

Но в его ласково баюкающем, мягком изложении дело принимает такой оборот, что от ужаса самого факта не остается ничего, кроме... «стечения роковых случайностей, которые выяснились лишь после его (Глускера)

смерти», не могли, очевидно, выясниться ранее и за которые, значит, никто не ответствен. «Оказалось, во-первых, что один из убийц... наружностью поразительно был похож на Глускера, вследствие чего тяжело раненная, но оставшаяся в живых десятилетняя девочка Быховская, хорошо знавшая в лицо Глускера, ошибочно, но категорически удостоверяла, что удар по голове, от которого она впала в беспамятство, нанес ей именно Глускер. Свидетельница эта на суде подвергнута была самому тщательному и продолжительному перекрестному допросу и, будучи ребенком умным, бойким и смелым, несколько раз повторила, что она хорошо знает Глускера...» Во-вторых, «по словам некоторых, вполне достоверных свидетелей, они, в свою очередь, видели Глускера в Почепе вечером, за несколько часов до убийства, шатающимся без всякого дела близ дома Быховских...»

Итак, виновато «роковое стечение обстоятельств», своего рода личное несчастье Глускера, который навлек на себя, сидя на крыше, молнию стремительного правосудия, как при тех же условиях можно привлечь и электри-

ческую молнию... Правда, девочке Быховской десять лет теперь. В страшную ночь ей, кажется, было лет семь или восемь[26]. Мнимого Глускера она видела в промежутке между своим ужасным пробуждением и беспомощностью от удара. А другие, вполне достоверные свидетели видели своего Глускера шатающимся без дела около дома Быховских вечером... Итак, сумерки детского сознания и вечер в буквальном смысле слова. Можно бы, конечно, спросить: это ли та непрекращаемая ясность, которая требуется для решения вопроса о человеческой жизни и смерти?.. Неужели не могло возникнуть – ну хотя бы только сомнения в том, не ошиблась ли восьмилетняя девочка, тотчас же оглушенная ударом, и не введены ли другие свидетели в обман темнотой и случайным сходством.

Сомнений, очевидно, не возникло: верить или не верить тому или другому показанию, это, конечно, произвольно. И если вдобавок не было других данных?..

Но тут невольно возникает вопрос: как же могло случиться, что у суда не было других данных, если эти данные так изумительно

легко давались в руки. имение Гусевой всего в ста верстах от Почепа, а там Глускера видела не девочка сквозь туман беспамятства и не вечером только, а много людей и днем, и вечером, и на следующее утро, на таком видном месте, как кровля, на которой он работал вместе с десятком человек.

Господин Успенский и тут успокаивает нас «роковой случайностью»... Опять-таки «по роковой случайности (!!), – говорит он, – Глускер на показание Гусевой не сослался, и она в то время допрошена не была. Работавшим же с ним евреям-кровельщикам, допрошенным по его показанию, суд не дал веры, и участь подсудимого была так ужасно решена... И лишь после казни Глускера г-жа Гусева, женщина в высокой степени почтенная и уважаемая, удостоверила, что поздно вечером, в ночь совершения убийства, она лично видела Глускера в своем имении, а на другой день, ввиду дошедших до нее слухов об убийстве семьи Быховских, у себя же в имении подробно расспрашивала Глускера об убитой семье»[27].

Итак, если кто виноват в этой ужасной ошибке, то разве сам Глускер. Вольно же ему



было ссылаться на десяток рабочих-евреев, работавших с ним вместе, когда суд евреям вообще не верит, а не указать одну только помещицу, которой суд бы поверил без сомнения. Правда, бедняга Глускер мог бы представить в свое оправдание некоторые смягчающие вину обстоятельства: ведь никто его не предупредил, что свидетельство нескольких рабочих-евреев не имеет никакого значения, что его недостаточно даже для того, чтобы хоть усомниться и постараться выяснить: уж не правдиво ли в самом деле их показание? Почему же его не предупредили об этом? Зачем записали его ссылку на этих свидетелей? Зачем их вызывали, опрашивали, составляли протоколы, вызывали в суд? Разве тот полицейский, который производил дознание, тот следователь, который вел предварительное следствие, тот прокурор, который писал обвинительный акт, тот суд, который постановлял вести дело ускоренным путем, в конце которого виселица, – разве все они не могли догадаться, что если несколько хотя бы евреев указывают точно ту кровлю, на которой среди белого дня работал Глускер в людной эко-

номии, то его должны были видеть и г-жа Гусева, «женщина вполне почтенная и уважаемая», и ее управляющий, и конторщик, плативший деньги за работу, и прислуга, и дворня, и экономические рабочие... Разве трудно было дополнить это показание евреев-свидетелей опросом этих свидетелей-христиан? Или, в самом деле, предварительное следствие считает себя призванным только к тому, чтобы как можно энергичнее устилать, не оглядываясь по сторонам, прямую дорогу к виселице? И все эти господа в совокупности не обязаны собрать все данные для всестороннего освещения дела, от которого зависит жизнь человека, существование его семьи, достоинство суда? Или, в самом деле, энергия власти должна только устранять от взгляда суда все, что служит в пользу оправдания...

Тут, очевидно, не одна роковая случайность, как говорит г. Успенский, – тут целая цепь роковых случайностей. Прежде всего такой роковой случайностью является то, что Глускер встретился с правосудием именно в наши годы, когда, с одной стороны, происходят такие убийства, с другой – такое упразднение

ние всяких гарантий. Разбои – Сцилла, судебная репрессия – Харибда, и русский обыватель всюду похож на злополучного ялтинца, который, избегнув осколка брошенной террористом бомбы, попадает тотчас же под выстрелы храброго генерала Думбадзе, которому угодно кинуть не одну бомбу, а целым градом ядер закидать обывательские дачи... Вторая роковая случайность, что наше время – есть время лицемерия и лжи. Князь Урусов[28] в своих известных воспоминаниях губернатора очень благодушно рассказывает, что кишиневские судьи установили общее правило: свидетелям-евреям не верить!! От этого и выходило, что во время погромов были налицо зверские убийства, совершенные среди белого дня и всенародно, но зверей-убийц не оказывалось. При этом г. Урусов свидетельствует, что кишиневские судьи лично – прекрасные люди. Значит, винить некого? Можно только сожалеть, что у современного настроения «власти» нет достаточно прямоты и откровенности, чтобы обнаружить свою сущность. Если бы эта черносотенная сущность не прикрывалась октябристскими вуалями, мы име-

ли бы не презумпцию, а закон: «Свидетелей-евреев не допрашивать». И это было бы честнее, и Глускер бы тогда не погиб. Ему бы прямо сказали: мы не вправе вызвать твоих товарищей-рабочих. Нам это воспрещает закон. Дай нам кого-нибудь другого. И он решился бы побеспокоить помещицу Гусеву. И она пришла бы в суд и сказала бы просто: «Я — помещица. Не казните этого жида: он был у меня в экономии». И Глускер остался бы жив, а г. Успенскому, не успевшему защитить Глускера, незачем было бы выступать на защиту судебного приговора.

О г. Успенский, присяжный поверенный при стародубском окружном суде! Вы защищали несчастного Глускера... Спасибо вам, но он все-таки казнен. Теперь вы проливаете бальзам успокоения на наши совести, взволнованные судебным убийством невинного... Но и это тоже вам не удастся... В 1903 году, во время кишиневского погрома, в присутствии толпы людей и полиции на крыше дома № 13 громилы гонялись за евреями, которых сбросили на мостовую и убили. Поищите в судебных отчетах: что сказало кишиневское право-

судие по поводу этого «происшествия» на одной кровле? А теперь на другой кровле сидит и стучит молотком Глускер. Его сняли оттуда, повесили и только после этого проявления энергии догадались, что он невиновен... Вот два полюса новейшего российского правосудия. Не слишком ли много роковых случайностей и не называются ли они точнее: общими условиями, в которых действует наша судебная машина нового «конституционного» периода...

.....

*«При всем сочувствии к несчастному Глускеру, – так заканчивает г. Успенский свое успокоительное письмо, – я полагаю, что единственно, чем можно хоть несколько загладить эту ужасную судебную ошибку, это открыть подписку в пользу шести малолетних детей и жены, оставшихся нищими после казни их несчастного кормильца».*

.....

Обеспечить семью Глускера и вернуть невинно осужденного Жмакина есть, конечно, неотложная обязанность прежде всего го-

сударства. В этом не сомневается даже кн. Мещерский: «Есть ведь закон, – пишет он в „Гражданине“ [29], – по которому получивший увечье может требовать от хозяина по суду обеспечения себя и семьи. Но можно совершенно невинного на основании доноса посадить в тюрьму, послать на каторгу, казнить, и закон никого не обязывает вознаградить и обеспечить его семью?!. Неужели государство в лице правительства не обязано обеспечить семью Глускера и сделать это всенародно, чтобы вызвать уважение к себе всего русского народа (sic)?!»

Да, это так: когда на фабрике от плохого устройства машины рабочий терпит увечье или теряет жизнь, то фабриканта обязывают вознаградить его или его семью... Но при этом не обещают ему «уважения всего русского народа». Это уважение было бы слишком дешевым товаром, если бы его можно было купить несколькими тысячами рублей, выданных семье человека, убитого плохо устроенным судом. Государство обязано просто обеспечить семью Глускера, не претендуя по этому поводу на уважение. «Загладить» сде-

ланное нельзя ни обеспечением семьи, ни сбором, к которому приглашает г. Успенский (в чем, конечно, мы его горячо поддерживаем).

.....

*Дело Глускера – это один из тех случаев, в которых, как в фокусе, собирается грозовой тучей и сверкает предостерегающей зарницей глубокая ложь и неправда времени. Нужно вознаградить потерпевших? Ну конечно!.. Нужно дать возможность вдове воспитать детей, у которых отняли отца, что горячо предлагает Ф. И. Родичев.*

.....

Разумеется. Все это нужно сделать. Но, кроме того, нужно поднять глаза кверху и взглянуться, где в этих мрачных туманах светятся затерянные пути общественной правды. Убийство семьи Быховских отвратительно и ужасно. Отвратительна и казнь государством схваченного, связанного, обезвреженного человека... Но судебное убийство невинного, исправляемое новым убийством виновных, – этому нет достаточно сильного имени на человеческом языке, и загладить это подачками

НЕВОЗМОЖНО.

Наша заметка была уже набрана, когда в газетах появились новые статьи в защиту киевского военно-окружного суда в связи с делом Глускера. Первая из них явилась в том же «Новом времени», которое поместило и письмо г. Успенского. Напечатана она в «Судебной хронике», но снабжена красноречивым заглавием: «Можно ли верить на суде евреям?» – и дает на этот вопрос чисто нововременский ответ: верить, конечно, нельзя. И вот почему: 24 сентября 1907 года три карманных вора (евреи), Шварцкоп, Лангборт и Бер, вытащили у купца Гершмана две тысячи рублей. Первые двое были пойманы; третий, Бер, ускользнул. Чтобы выручить товарищей, Бер уговорил троих, тоже воров-евреев, дать на суде показание об их *alibi*. Тем не менее присяжные в виленском окружном суде обвинили Шварцкопа и Лангборта, которые впоследствии сами рассказали всю эту воровскую и лжесвидетельскую махинацию. Отсюда «Новое время» (статья без подписи) делает вывод, что «в нашумевшем деле Глускера судьи, не поверившие свидетелям-евреям, были тоже совер-



шенно правы»!![30] Как же иначе: так как евреи – члены воровской шайки готовы лжесвидетельствовать в пользу таких же воров, то суд, не поверивший евреям-рабочим и казнивший невинного, может считать свой приговор совершенно правдивым. Не знаем, почувствовали ли судьи какое-нибудь облегчение от этой своеобразной защиты, но нам она кажется довольно скользкой: так как есть и русские воровские шайки, располагающие и русскими лжесвидетелями, то логически «Новому времени» мог бы быть поставлен его вопрос в другой национальной окраске. Впрочем, логика есть, как известно, момент космополитический, то есть для «патриотов» необязательный.

Не менее удачно «защищает» судей и «Земщина». «Вполне возможно, – говорит эта замечательная газета, – что если бы *alibi* Глускера подтвердили люди, заслуживающие доверия, то суд... счел бы необходимым дополнить следствие. Но, когда против обвиняемого говорили люди, не доверять которым не было основания, а за него выступили евреи, которые тысячелетиями всегда лгут и которым их

закон вменяет в обязанность лгать, – суд мог ошибиться»[31].

Итак, если бы оказалось, что киевский военно-окружной суд казнил невинного потому, что действовал на основании «неписаного закона»: евреям-свидетелям никогда не верить, – то в России в XX веке находятся газеты, – начиная с ретроградного Левиафана «Нового времени» и кончая мелкой черносотенной амфибией, – которые всенародно и открыто признали бы такое явление принципиально правильным: частные ошибки (казнь невинного!) не могли бы помешать дальнейшему применению правильного начала.

Воистину бывали, может быть, времена хуже, но такого циничного времени еще не бывало.

Как бы то ни было, нужно признать, что после этих защит суда дело Глускера, превратившееся в дело военно-судной юстиции, стало только еще загадочнее и темнее. Среди густого тумана, мрачно залегающего над ужасной трагедией, единственным, ярко освещенным островком выделяется только экономия г-жи Гусевой, в которой среди белого дня си-

дит на кровле несчастный Глускер на виду у множества свидетелей. И несомненно то, что он казнен...

Когда на дороге находят мертвое тело с раздробленным черепом или пулевой раной, то прежде всего устанавливается факт преступления, и правосудие ищет того, кто это сделал. И уже затем суд исследует, вменить ли роковой удар тому, кто его нанес, или сам он стал убийцею случайно по роковому стечению обстоятельств.

На дороге российского (военного) правосудия тоже найден труп невинно казненного человека. Кто это сделал – известно. Это сделал киевский военно-окружной суд, учреждение государственное. Понятно, что встревоженная общественная совесть требует выяснения: какие обстоятельства могут оправдать ужасное дело?

– Состав суда психологически невиновен, – мягко говорит г. Успенский. Тем лучше. Мы первые порадовались бы такому заключению, если бы оно явилось следствием какого то ни было убедительного исследования... Всегда отраднее думать о ближних лучше,

чем это можно по защите «Нового времени» или «Земщины»... Но если так, если люди тут ни при чем, то что сказать об учреждениях, об этой следственной и военно-судной процедуре, которая и добросовестных судей приводит к таким приговорам?

А также что сказать о смертной казни, которая делает эти приговоры непоправимыми?

.....

*Р. С. По жалобе вдовы невинно казненного дело Глускера было пересмотрено, но главный военный суд отказал истнице по основаниям чисто формальным.*

*Уже в 1914 году сын помещицы Гусевой напомнил вновь об этом деле в газетах. По его словам, десятки людей из экономии готовы подтвердить несомненную и очевидную невинность Глускера.*

*Таким образом, спор военного правосудия перед лицом общественного мнения остается открытым, а формальные основания в этой инстанции не решают вопроса.*

.....

### Глава III

## Подсудимый Маньковский и судья Канабеев

В городе Двинске, кажется, в 1905 году трое молодых людей среди белого дня напали на улице на двинского полицеймейстера Булыгина[32]. Выпустив несколько зарядов, они легко ранили его и затем скрылись. Толпа расступилась перед ними, но сомкнулась перед преследователями, хотя в ней было немало «благонамеренных», даже с полицейской точки зрения, обывателей. В те времена «народная любовь» к установленным властям нередко выражалась в такой форме. Понятно, до какой степени полиции было необходимо найти дерзких преступников. Между тем свидетели-очевидцы не являлись на помощь. Нападающих видел сам полицеймейстер и некто З., проезжавший мимо на извозчике. Официально этот очевидец служил на железной дороге. Тайно – отдавал свои досуги охране.

Вскоре, однако, полиция нашла следы и арестовала трех человек.

Первый был семнадцатилетний мальчик,

приказчик Штейнман. Арестован он потому, что среди нападавших на Булыгина тоже был юноша, почти мальчик, и что Штейнман показался кому-то похожим на этого мальчика «со спины». На другого указал какой-то таинственный незнакомец: подойдя на улице к полицейскому, он шепнул, что в таком-то магазине находится в данную минуту один из стрелявших в полицеймейстера. Приметы такие-то. Шепнул и опять потонул в неизвестности, а по приметам арестовали некоего Перельштейна.

Третьим оказался Маньковский – молодой рабочий, как и двое первых, еврей. Уже ранее он находился у полиции «на замечании». При обыске у него найдены револьверные пули, совершенно тождественные с теми, какие были извлечены из раны у Булыгина.

Это была улика серьезная. Против Штейнмана и Перельштейна никаких улик не было, и их пришлось бы отпустить, что, конечно, было неудобно: ведь стрелявших было трое – значит, трое и должны для порядка сесть на скамью подсудимых. Но нельзя же, в самом деле, предать суду «за сходство со спины» или

по указанию какого-то скрывшегося незнакомца. Выручил из этого затруднения помощник полицейского пристава г. Вильконецкий. Оказалось, что г. Вильконецкий в тот же день ехал с вокзала и на такой-то улице увидел извозчика с поднятым верхом, под которым, тщательно закрывая лица, сидели три молодых человека. Несмотря на поднятый верх, на изрядное расстояние и на «тщательно закрытые лица», г. Вильконецкий утверждал категорически, что в трех незнакомцах узнает именно Маньковского, Штейнмана и Перельштейна.

.....

*Затруднение было таким образом устранено: требовались три преступника, трое и доставлены военному суду.*

.....

Вскоре, однако, было обнаружено, что показания пристава – совершенный вздор. Перельштейна и Штейнмана он видеть на извозчике решительно не мог, да едва ли и кого бы то ни было мог разглядеть при описанных им обстоятельствах. Это характерное показани-

ние, отличавшееся большим усердием, но малой достоверностью, нимало не беспокоило защиту, и двое подсудимых с полной уверенностью ждали оправдания.

С Маньковским дело было гораздо сложнее. К сожалению, слушалось это дело при закрытых дверях, и я не имею возможности восстановить перед читателем потрясающих эпизодов этой судебной драмы. И это тем более жаль, что из этой картины было бы видно, как иной раз беспомощны военные судьи перед безобразными порядками предварительного следствия по таким делам и как порой мало их личной вины в роковых ошибочных приговорах. Против Маньковского было, во-первых, «опознание», которое в глазах военных судей является часто решающим. Правда, в данном случае Булыгин, расстреливаемый всенародно, метался по улице, больше заботясь о спасении, чем о наблюдениях, и перед ним мелькало много лиц. Правда, что другой очевидец, г. З., был «охранник», а людям этой почтенной профессии вообще особенно доверять не принято. Но на этот раз его показания звучали правдоподобно, и к тому



же против Маньковского говорила еще подавляющая улика: пули такие же, какими нанесены раны.

Разбирательство длилось шесть дней среди атмосферы страшного нервного напряжения. Объективные факты складывались для Маньковского самым убийственным образом, а между тем трудно было отрешиться от впечатления, что этот юноша, так отчаянно защищающий свою жизнь против подавляющих улик, тоже не лжет. В нем не чувствовался убийца. Над делом витало смутное сомнение, но... факты оставались непоколебленными.

Председательствовал военный судья, генерал Д. И. Канабеев. Он сильно волновался...

Кончился пятый день заседаний. Судебное следствие пришло тоже к концу. На следующий день предстояли прения сторон и – приговор. Поздний вечер. Судьи разошлись на отдых, Маньковского увели в его одиночку в крепости, но он, конечно, не спал. Не спал и генерал Канабеев. Маньковский переживал ужас завтрашнего приговора. Канабеев – ужас предстоящего ему решения. Все эти дни он,

по-видимому, колебался между трудно уловимыми субъективными сомнениями и объективной тяжестью улик. Теперь ему показалось, что убеждение его сложилось окончательно. Значит казнь. Это генерал Канабеев считал исполнением своего долга перед правительством, которому присягал, и перед обществом, которое, как известно, нужно прежде основательно защитить от Маньковских при помощи военных судов и виселиц, чтобы потом осчастливить. Но все-таки... совесть генерала не могла, очевидно, успокоиться даже на сознании исполняемого долга. Он не находил себе места, и... его вдруг потянуло в крепость, в одиночку, где в это время метался в предсмертной тоске этот уже обреченный юноша.

Его, конечно, пропустили. Дверь каземата раскрылась, и перед изумленным Маньковским очутилась внушительная фигура генерала Канабеева.

Зачем он пришел?.. Вероятно, он не мог бы объяснить этого и сам. По крайней мере то объяснение, которое председательствующий генерал дал изумленному его визитом аре-

станту, отзывается кошмарной бессмыслицей и сумасшедшим бредом. Он вынул из кармана пять рублей, и, подавая их Маньковскому, сказал:

– Вот, возьми. Пошли телеграмму родителям, чтобы приехали с тобой проститься, а на остальное...

Да, читатель, генерал Канабеев, председательствовавший в военно-окружном суде, так и сказал Маньковскому, которого решил приговорить к смерти:

– ...на остальное купи себе лакомств...

С этими словами генерал вышел, а в руках арестанта остался золотой – доказательство, что эта изумительная сцена происходила в действительности, а не в кошмарном сне.

На следующий день приговор состоялся. Штейнман был оправдан (Перельштейн выделен за болезнью). Маньковского приговорили к смерти...

То, что происходило в совещательной комнате, разумеется, осталось никому не известным. Но впоследствии, когда с генералом Канабеевым случилось то, что случилось, и о чем я расскажу дальше, вокруг него создалась

легенда, не считающаяся ни с какими тайнами и основанная, как это бывает всегда в таких случаях, не на фактической, а на психологической достоверности. Легенда эта гласит, будто голоса судей разделились поровну. Часть их склонна была истолковывать в пользу подсудимого те смутные, но неотвязные сомнения, которые витали над объективными фактами. Другая отдавала предпочтение осязательным доказательствам. Генерал Канабеев будто бы чувствовал уже заранее, что все дело решит перевес его председательского голоса, и это сознание его угнетало. Но все-таки он остался верен суровому долгу.

Приговор был прочитан среди того же кошмарного напряжения. В глазах всех это был приговор над человеком, в глазах многих – приговор над человеком невинным. Выслушав его, Маньковский поднялся и... протянул председателю вчерашний золотой.

– Ваше превосходительство, – сказал он. – Вчера вы дали мне золотой на телеграмму родителям или на лакомства. Позвольте вернуть вам ваши деньги. Отдайте их палачу, который повесит меня по вашему приговору.

Защита потребовала, чтобы это неожиданное заявление было занесено в протокол[33]...

С этого пункта дело поворачивается решительно в пользу приговоренного и против судьи, решившего приговор. Все защитники (их, кажется, было трое) были глубоко убеждены в невинности своего клиента, тем более что им была известна та бытовая сторона дела, которая все разъясняла, но не могла прорваться сквозь сеть судебных формальностей. Рассчитывать на обычную кассационную процедуру – это значило предоставить Маньковского неизбежной участи...

.....

*Ужас перед этой перспективой искал исхода и нашел его. В обычном, в правильном, в предусмотренном, в законном его уже не было. Защитники нашли его в неожиданном, необычном и странном.*

.....

Собравшись тотчас же, еще глубоко потрясенные приговором, они составили коллективное письмо на имя председателя. К сожалению, у меня нет подлинного текста этого замечательного документа, на черновике ко-

того остались следы слез. В нем не было никаких юридических соображений, статей, сенатских решений, «новых обстоятельств». Он начинался с факта: «Вы сегодня осудили Маньковского», а кончался клятвенным заявлением: «Всем, что есть для нас святого, клянемся: он невиновен, он невиновен, он невиновен». Как видите, это был не отзыв, не жалоба, не то или другое законами предусмотренное защитительное действие. Это был потрясающий, хотя юридически нечленораздельный вопль, и он отдался по всей стране: в газетных телеграммах, по разным министерствам и департаментам, в обществе. Что случилось? Группа защитников выскочила из суда и оглашает всю страну криком: осудили человека, которого мы, защитники, считаем невинным. Зрелище единственное в своем роде, способное привести в изумление любого европейского юриста. Суд в установленном порядке выносит приговор... Суровый, но законный. О чем же кричат защитники, нарушая общественную тишину и спокойствие? Они убеждены в невинности своего клиента! Но разве они свидетели или, тем более,

присяжные? Во что обратятся суды, если признать, что такое убеждение, скрепленное клятвенным заверением, должно иметь силу юридического доказательства!

Это, конечно, справедливо, как, впрочем, справедливо и то, что нигде уже в Европе нет учреждения столь удивительного, как наша военно-судная юстиция... Своеобразный ход защиты возымел действие: военно-судный аппарат дрогнул. Первым успехом явилось то, что был дан ход кассационной жалобе, вторым – что жалоба главным военным судом уважена. Этому, кажется, содействовал тот самый золотой, который председатель подарил подсудимому на лакомства. Назначается новое разбирательство. Маньковский из нового суда выходит оправданным.

Читатель подумает, быть может, что самое оправдание есть результат вопля защитников. Мы, русские, – народ недисциплинированный, мягкосердечный и рыхлый. Судьи – тоже русские люди. Приговорили человека к смерти, а потом расслодели, прослезились и отпустили с миром. Нет, читатель, не таковы наши времена. Что-то немного видим мы

примеров такой судебной «распушенности», а если бы случайно они где-нибудь проявились, – то судей скоро вернули бы к трезвой действительности теми мерами, какими добились, например, смертных приговоров в Новороссийске[34]. На этот раз невинность Маньковского выступила с объективной ясностью...

Как же это могло случиться?

.....

*Дело опять разбиралось при закрытых дверях, и мы не можем изобразить здесь в подробностях, как расплеталась на втором суде сеть, сплетенная вокруг Маньковского предварительным следствием, показаниями господ Вильконецких, наконец просто несчастными обстоятельствами. Когда-нибудь (нескоро) об этом, быть может, расскажут защитники.*

.....

И это будет правда, своей фантастичностью превосходящая самые невероятные выдумки Конан Дойля и уголовных романистов. Но, чтобы показать, как это «бывает», я приведу бытовую подкладку одной только глав-



ной улики (кстати, она, кажется, так и не выступила на суде). Это эпизод с пулями.

Вы помните: у Маньковского при обыске найдено несколько пуль, совершенно тождественных с теми, какими ранен помощник полицеймейстера. И даже с такими же точно нарезками. Его объяснение: нашел на улице! Ну, кто поверит такой аляповатой выдумке? Все «они» в таких случаях дают такое объяснение, если не смогут придумать лучшего.

Однако представьте себе тот же эпизод в несколько иной бытовой обстановке. Маньковский – рабочий. В день покушения он приходит на завод, и сам, по собственной инициативе, показывает пули, которые только что поднял на улице. Это слышит рабочий-сыщик. Он бежит в охрану и делится своим открытием. У Маньковского делают обыск и находят «те самые» пули. Конечно, если бы в обвинительном акте было рассказано, как нехитро полицейские Шерлоки узнали об этих пулях от самого Маньковского, то они потеряли бы всякое уличающее значение: не станет же убийца тотчас после выстрела показывать сторонним лицам патроны, какими

он стрелял. Но зачем же и охранникам раскрывать свои «профессиональные тайны»? Пули отправляются в суд просто в качестве найденных при обыске. Совершенно правдивое объяснение Маньковского является для самого добросовестного судьи совершенно невероятным. Маньковскому грозит смерть. Суд превращается в игрушку «охраны»...

На этот раз жертвой этого охранно-полицейского дознания стал злополучный генерал Канабеев. В том самом постановлении главного военного суда, которым отменялся первый приговор над Маньковским, был также пункт, которым председательствовавший генерал Канабеев привлекался к дисциплинарному производству. За что? Он нарушил какие-нибудь законы и именно поэтому суд чуть не казнил невинного? Ах, совсем нет! Суд действительно чуть не казнил невинного, но нарушение законов генералом Канабеевым тут совсем ни при чем... Высшая военно-судная инстанция нашла обидным для достоинства судьи, что генерал Канабеев приходил к Маньковскому с предложением конфет.

Да, это, пожалуй, правда. Есть в этом эпи-

зоде что-то «обидное для достоинства», потому что безгранично нелепое... Чувствуется какая-то прямо мефистофелевская гримаса, что-то вроде сентиментальной свирепости, – вообще кошмар, бред, безумие. Но – вина ли это данного лица? У генерала Канабеева просто доброе, мягкое сердце, а судьба сделала его военным судьей. Как член этого учреждения он приговаривает (и даже невинного!) к смерти, а как добрый человек подносит приговоренному конфету. Злой, кровавый фарс? Насмешка над убиваемым? Сознательная карикатура на собственное ведомство? Ничего подобного – просто символ, неожиданно загоревшийся над оргией казней, как библейское «Мане-текел-фарес[35]»! И не надо быть Даниилом, чтобы понять его смысл. У нас теперь много говорят о «людях и учреждениях». Вот вам человек с добрым сердцем и злое учреждение. Злое учреждение казнит невинных, доброе сердце подносит им перед казнью конфетку...

Постановление главного суда пока генералу Канабееву еще не объявлено. Дело в том, что, получив письмо защитников, насквозь

прокипевшее негодованием и слезами, он был поражен до такой степени, что... стал проявлять явные признаки сумасшествия. Один из защитников, принимавший близкое участие во всем этом трагическом деле, уверял меня еще недавно, что злополучный председатель не оправился до сих пор и что вообще его считают безнадежным.

.....

*Да, вот что иногда значит военно-судная процедура для военного судьи. Одним концом она бьет по подсудимому и иной раз убивает невинного. Другим – по судье, если совесть у него не забронирована окончательно.*

.....

Маньковский пережил ужас смертного приговора, но он все же оправдан и молод: может быть, выпрямится. А генерал с мягким сердцем сломан и раздавлен окончательно.

Есть, впрочем, и еще одна версия, едва ли, однако, изменяющая значение факта: говорят, будто генерал Канабеев уже и раньше был известен как судья, у которого «не все в порядке», и будто именно поэтому главный военный суд легко пошел на кассацию. Дело

Маньковского дало только последний толчок...

Трудно сказать, что лучше и что кошмарнее. И в том и в другом случае приговор над невинным и нравственное потрясение судьбы, приводящее его с председательского кресла прямо в дом сумасшедших. Только в последнем случае заведомый душевнобольной давно председательствует в судах, казнящих смертью. Разве это тоже не зловещий символ?.. Предоставляем выбор тем, кто дорожит «достоинством» военных судов.

## **Глава IV**

### **Логика военного правосудия**

**Б**олее полустолетия прошло с тех пор, как у нас введены гуманные судебные уставы императора Александра II. Лучшие умы того времени работали над ними. В них отразилось последнее (тоже для того времени) слово юридической науки. Если вы вор, мошенник, фальшивомонетчик... Если вы незаконно торговали вином, сводничали, брали ростовщический процент, подделали вексель, злоупотребляли доверием, взломали сундук, украли деньги... Вообще, если вам грозит штраф,

арест, тюремное заключение до нескольких месяцев, ссылка на поселение – к вам применят эти «гуманные уставы». Вам дадут гарантии защиты, и самый приговор будут взвешивать на аптекарски точных юридических весах, чтобы не отягчить вашу участь одной-двумя «степенями», месяцем-другим заключения. И после приговора вы еще получите возможность апелляции в одну инстанцию, кассации в другую, где вашу судьбу станут опять перевешивать, кидая на чашки весов лоты параграфов, золотники примечаний...

.....

*Но вот вы обвиняетесь по статье, которая грозит самым страшным из наказаний, бесповоротным, непоправимым: смертной казнью... Не тут ли именно необходимо дать все гарантии защиты: для вас – от напрасной смерти, для суда – от риска судебного убийства. Нет! Здесь вас как раз арестуют по первому указанию первого охранника, часто заведомого преступника и негодяя, или даже по указанию лица, «оставшегося неизвестным».*

.....

Потом вас предъявят помощнику пристава Вильконецкому, и ему непременно «покажется», что он видел вас там, где вас не было. В подкрепление этих улик станут, пока вы сидите за семью замками, собирать новые сведения такого же рода и накопят все, что нужно, чтобы сделать вашу вину хоть сколько-нибудь правдоподобной. Тогда составят обвинительный акт, привезут в тюрьму, вызовут вас и скажут:

– Вот здесь все, что мы неделями или месяцами собирали, чтобы вас можно было повесить. В течение суток вы должны назвать нам свидетелей, которые могли бы все это опровергнуть... По истечении суток, хотя бы от свидетельского показания зависела ваша жизнь, мы уже вашего свидетеля не примем.

Подсудимый, часто полуграмотный или совсем неграмотный, растерявшийся, придавленный обрушившейся на него грозой, – что может сделать с этим своим «правом»? Человек, взявшийся его защищать, уехал на сутки из города, сам он не может разобраться в обвинительном акте. Может быть, в сутки он его не успеет прочесть. Большей частью он

пропускает срок. Все равно – его ведут без свидетелей и поставят беззащитным против обвинения.

Однако и этого мало. Поверите ли вы, что и эти жалкие сутки, которые практика часто (далеко не всегда) предоставляет военно-судным обвиняемым, даются не законом. Это только незаконная уступка здравому смыслу и человеческому чувству со стороны исполнителей. Новейший, усовершенствованный уже в период обновления закон (примененный впервые в деле Федосьева) требует, чтобы вы назвали ваших свидетелей немедленно, в самый момент вручения обвинительного акта. И тут человеческое сердце «смягчает» свирепую суровость закона, но... что оно может сделать ввиду его категоричности? Поднести канабеевскую конфетку: вам позволят тут же пробежать обвинительный акт глазами. Посмотрите: вот вам пять минут. Мало? Ну, четверть часа, полчаса, ну, наконец, час... «Добрый человек» уже рискует из-за вас навлечь на себя неприятности... Вы подавлены, взволнованы, буквы прыгают у вас перед глазами... Вы ничего не поняли и не можете ука-



зять людей, которые помогли бы вам опровергнуть не известные вам улики? Тем хуже для вас: вы явитесь на суд без свидетелей.

Да! Но и тем хуже для судей: они легко могут стать убийцами невинного человека. Правда, не простыми убийцами... судебными. Но кто решит, какое из этих убийств безнравственнее, законопреступнее и хуже? Мне кажется, что хуже судебное.

И вот человек, захваченный шестернями этого ужасного аппарата, сидит на скамье подсудимых. Вопрос в этом зале идет об его жизни. По большей части (есть и тут отвратительные исключения) военные судьи будут и с ним, и с его защитником обращаться корректно:

– Что вы можете сказать в опровержение изложенного в обвинительном акте? Пожалуйста, что угодно! Вас не стесняют... А вот свидетелей?.. Это, к сожалению, нельзя. Вы пропустили сроки. Вы можете идти только по дороге фактов, которую проложило для вас обвинение.

А она прокладывалась прямо к виселице. И судьи тоже не имеют права глядеть по сто-

ронам... Их совести тоже проложена дорожка...

Вот яркие примеры. В октябре 1906 года военно-полевой суд в Риге остановился перед ужасом смертного приговора над рабочим Карповичем по делу, обстоятельства которого судьи считали невыясненными. Суд потребовал следствия. Вскоре же газеты сообщили, что за такую любознательность офицерам, участникам этого суда, предложено подать в отставку[36]. В той же Риге, в таком же сомнительном случае, совесть судей искала убежища хотя бы в ходатайстве о «смягчении участи» приговоренного. Генерал-губернатор, знаменитый «усмиритель» генерал Меллер-Закомельский[37], объявил членам суда выговор[38]. За что? Военные судьи, по мнению генерала, не должны, очевидно, знать движений совести... Это относится, правда, к юстиции военно-полевой. Но вот в той же Риге, в военно-окружном суде мрачная вероятность судебного убийства встала в таком ужасающем правдоподобии, что военный прокурор, полковник Хабалов, счел долгом совести протестовать против смертного приговора по

делу братьев Иосельзонов. По словам «Голоса Москвы», полковник Хабалов уволен от должности[39]. За что опять? Разве это не очевидно? Этот прокурор поступил согласно со своей человеческой и судейской совестью, с законом, с присягой... Когда-нибудь, вероятно, историк военного правосудия выдвинет его имя наряду со зловещими именами русских Джефферсонов для смягчения в глазах потомства современной нам безотрадной картины. Но... согласный с честью и с законом поступок полковника Хабалова явно противоречит логике военного правосудия... Мораль ясна: судите, хотя бы на основании недостоверного материала. Подавляйте движения разума и совести, когда они вызывают колебания. Приговаривайте к смерти и ведите на виселицу, хотя бы были уверены в невинности казнимого...

.....

*Вы думаете, – это уже все, что можно сказать об этой человекоубийственной логике? Нет, не все.*

.....

Вот, например, киевские судьи казнили

Глускера, и после казни явилась целая группа новых свидетелей, которые заявляют, что он казнен невинно. И рабочие, и хозяйка экономики, г-жа Гусева, утверждают, что в ночь убийства он был за сто верст от Почепа, где совершено преступление. Вероятность судебной ошибки в этом случае для всякого стороннего наблюдателя превращается в полную достоверность. Но... дело прошло уже по всем инстанциям, и... семье отказано в реабилитации хотя бы памяти невинно казненного.

Что же? Хоть тут-то кто-нибудь виноват? Нарушены какие-нибудь правила, посредством которых судьи обязаны искать свою (убивающую) «истину»?.. Нет, ничего и тут нарушено не было. Все совершилось как нельзя более «законно», если хотите, даже «снисходительно». Прежде чем повесить Глускера, киевский суд сделал в его пользу больше, чем ему следовало по закону. Например: по его указаниям были вызваны свидетели, работавшие с ним вместе в день убийства. Им не поверили, но их вызывали. О, это большая любезность: в вызове могли просто-напросто отказать. Да! Потому что для удобства военно-

го суда ему предоставлено право отказывать в вызове свидетелей, если они живут за чертой того города, где он изволил заседать! Вдумайтесь в это: убийство произошло в Почепе, Глускер был за сто верст в имении г-жи Гусевой. Но свидетелей по закону он должен искать не в Почепе, где совершено преступление, и не в имении, где они только и могли его видеть, а в Чернигове, потому что там заседают господа судьи... И еще потому, что это не простые судьи, а судьи военные и что наказать они могут не просто тюрьмой или ссылкой, а смертью. Нужно же предоставить им для этого все удобства!.. Вот в числе этих удобств есть и огромная вероятность «добросовестных» судебных ошибок.

Если эти строки попадут на глаза иностранного читателя, особенно юриста, мало знакомого с экстраординарными законами нашей родины, он подумает, пожалуй, что это плохая выдумка озлобленного русского журналиста. И что этот журналист рискует подвергнуться обвинению в «распространении заведомо ложных сведений», которые позорят законодателей, придумавших такие зако-

ны; ведомство, которое на их основании расследует, судит и казнит; государство, которое допускает это поругание здравого смысла и элементарной правды; всю нацию с людьми и учреждениями, которая выносит это без широкого, захватывающего, пламенного протеста!..

Нет... Об этом можно не беспокоиться. Конечно, русского журналиста всегда можно привлечь к суду по тысяче поводов, а если это неудобно для кого-нибудь, то можно распорядиться и без суда. Но в данном случае я только констатирую факт, который легко проверить. Спросите любого военного судью, следователя, прокурора:

– Есть такие законы?

И они вам ответят:

– Да, есть!

– И вы на их основании привлекаете и судите?

– Да, судим.

– И казните?

– Да, и казним.

– И ошибаетесь?..

– Да... Бывают «несчастные случайности».

Впрочем, существует кассационная инстанция, которая должна исправлять ошибки, есть конфирмация с правом смягчения...

Кассационная инстанция! Мы подошли к последнему звену этой удивительной логики! Что и лучшие суды могут впадать в ошибки, – это аксиома, поэтому приговоры даже правильно устроенных судов во всех культурных странах подвергаются пересмотру хотя бы только со стороны процессуальной.

Но у нас в обновленной России, после торжественных обещаний манифеста 17 октября, и это по-иному. Апелляционные инстанции существуют. Но доступ к ним обеспечен лишь в том случае, когда вам грозит штраф, арест, тюремное заключение. Если же неправильность процедуры грозит вам напрасной смертью – тогда, по логике военной юрисдикции, между вами и высшей инстанцией может стать генерал Скалон, генерал Каульбарс, генерал Сандецкий, которым вручено законное (о, законнейшее) право преградить вашей жалобе ход.

– Что там еще за кассация? Не желаю. Он еще жалуется? Повесить без дальних разгово-

ров.

И иной раз в оправдание этой непреклонности приведут то соображение, что ваша жалоба юридически правильна и ее главному военному суду нельзя будет не уважить.

Если не ошибаемся, первым стал пользоваться этим не особенно завидным преимуществом своего высокого звания варшавский генерал-губернатор Скалон (например, в деле Каспржака, приговоренного за убийство полицейского в 1905 году)[40]. За ним, по топтанной дорожке, беспечно последовали другие генералы, и, наконец, дело упростилось до того, что в некоторых округах право кассации на приговоры военно-окружных судов упразднено огульно. Вот что, например, написал в своем приказе в 1908 году временный генерал-губернатор Терской области:

*«В целях охранения в пределах генерал-губернаторства порядка и общественной безопасности и на основании 1403 ст. военно-судного устава, при конфирмации приговоров по делам, рассмотренным кавказским военно-окружным судом в порядке упо-*



*мянутой статьи, мною не будет даваться дальнейшего направления этим делам в кассационном порядке по жалобам на приговоры военно-окружных судов в пределах Терской области».*

Генералу этому показалось, очевидно, слишком затруднительным присматриваться к каждому отдельному случаю, где дело идет о человеческих жизнях, и он предпочел свое страшное право передать автоматическому аппарату, слепо, без рассуждения, без колебания, без мысли отстукивающему одно слово: «Отказать, отказать, отказать».

Мы знаем примеры, где такому же механизму передавалось другое право, еще более важное, ответственное, ужасное и, пожалуй, святое: право конфирмации, то есть утверждения казни или помилования, отмены, смягчения. И тут мольбы приговоренных, их отцов, матерей и жен, обращенные к человеческой душе, сердцу, иной раз просто к здравому смыслу и элементарной справедливости, попадали в несложную и мертвую машину, так же автоматически ставившую штем-

пель: «Казнить, казнить, казнить!»

Фамилия бывшего временного генерал-губернатора Терской области – Ясенский. К сожалению, он не одинок в своем роде – в моем распоряжении есть и еще подобные факты. Так, по делу двух журналистов, уроженцев Кутаисской области, кн. Нижарадзе и крестьянина Долидзе, судившихся в Туркестанском военно-окружном суде (и приговоренных к смертной казни), по требованию защиты оглашено предписание Туркестанского генерал-губернатора. Документ этот, присланный еще до суда, гласил, что «по кассационным жалобам и протестам на приговор военно-окружного суда не будет дано делу направления в кассационном порядке. Подлинный подписал: и. д. генерал-губернатора, генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский». Своеобразная индульгенция, санкционирующая вперед возможные процессуальные нарушения![41]

Этот приказ имеет, по-видимому, сепаратное значение. Генерального штаба генерал-лейтенант Мациевский направил его специально по адресу данных двух лиц: Нижара-

радзе и Долидзе. Гораздо шире поставлено это дело его сиятельством господином кавказским наместником. В целях охранения государственного порядка и общественного спокойствия этот государственный деятель «признал необходимым не давать направления в кассационном порядке жалобам и протестам, подаваемым на приговоры военных судов в округе, по нижеследующим преступлениям: за вооруженное сопротивление караулу и полиции, убийство часового, чинов караула и полиции, а равно нападение на них, покушение на убийство и поранение должностных лиц при исполнении ими обязанностей, вооруженное нападение с целью грабежа, убийство на партийно-политической почве, а также при вымогательстве денег».

Это замечательное распоряжение вступило в силу с 25 августа 1908 года и оглашено в телеграммах официального Спб. телеграфного агентства[42]. Как видите, оно ничем не отличается от приказа генерала Ясенского; широким размахом оно охватывает почти все виды «современных» преступлений. Но уже самая попытка этой квалификации вскрыва-

ет с замечательной выразительностью взгляды высшей администрации на самое значение военно-судной юстиции и на ее логику.

.....

*По мнению кавказского наместника, возможность судебной ошибки вытекает как будто не из свойства человеческой природы, вообще склонной к ошибкам (errare humanum est[43]) и в частности не из поразительных недостатков нашего следствия и военного суда, а... оттого, насколько тяжко преступление, в котором вас обвиняют.*

.....

Если это преступление еще не особенно сильно раздражает администрацию, то, пожалуй, у вас есть шанс спасения от пристрастного и неправосудного приговора в кассационной жалобе. Но, например, Юсупов, или Маньковский из Ревеля, или множество других, о которых ниже, ни в каком случае не могли бы рассчитывать, будь это в пределах Кавказа после 25 августа 1908 года, на спасение от неповинной смерти. Некоторые преступления внушают кавказскому наместнику

столь глубокое отвращение, что... за них можно порой казнить и невинных...

Как человек я, конечно, имею совершенно определенное мнение об этих приказах. Как журналист и автор этих печальных очерков я могу быть только благодарен их авторам за то, что они предают их гласности, печатая в официальных органах. Теперь никто по крайней мере не обвинит меня в распространении «заведомо ложных слухов» о генералах, беспечно заменявших в тяжелые дни русской жизни работу своей личной совести и ума простым механизмом, чем-то вроде штемпеля, отмечающего смертные приговоры, как железнодорожные кассиры штемпелюют билеты в кассах...[44]

Еще одна черточка. В «Русских ведомостях» уже в 1910 году было напечатано следующее коротенькое известие:

.....

*«Депутат Булат получил сообщение, что в Коканде приговорены к смертной казни несколько туземцев, не понимавших русского языка. Подсудимые поэтому не отдавали себе отчета в серьезности грозившего им наказания*

*и не приняли никаких мер к подаче кассационной жалобы... Смертный приговор приведен в исполнение»[45].*

.....

Что это значит? Неужели им не дали даже переводчика, который на родном языке мог бы сказать им два слова: смертная казнь! В газете сказано ясно: «не понимали русского языка» и «не отдавали себе отчета». Если это так... то для этих кокандцев, среди которых тоже легко могли быть Юсуповы, вся судебная процедура упрощена до одной жестикуляции. «Суд идет. Встаньте!» Их поднимают. «Зовут так-то? Обвинительные акты получены?.. Садитесь». Их усаживают. «Теперь опять встаньте. Что можете сказать в свое оправдание?.. Ничего? Вы не понимаете? Ну, садитесь...» Опять: «Суд идет. Встаньте». «По указу его императорского величества вы имеете быть повешены. Обжаловать можно в такой-то срок... Уведите их».

Их уводят... А затем – последний жест принадлежит уже палачу и виселице.

Неужели даже и это правда? Впрочем... разве это не было бы только последним зве-

ном в той цепи, которую составляет ужасная «логика военного правосудия»...

## Глава V

### «Отрадные факты»

# Дело Ермолаева в Петербурге. Дела Кузнецова, никольских крестьян и Решетина в Москве

«Отрадными» я называю их потому, что все они кончаются торжеством невинности, а иной раз даже и наказанием порока. Два таких дела (Юсупова и Маньковского), где невинных людей все-таки не вздернули на виселицу, мы уже изложили. Теперь следует отрадный факт номер третий.

Место действия – Петербург. Время – 1907 год. Дело идет о нападении на XI отделение петербургского городского ломбарда на Выборгской стороне. Полицией вместе с тремя виновными захвачен и совершенно неповинный юноша, крестьянин Ермолаев, по известной старинной формуле: «Там разберут». Ну, «там» и разобрали: петербургский военно-окружной суд приговорил Ермолаева к казни.

Кассационная жалоба оставлена без по-

следствий. Остался последний акт трагедии. Для Ермолаева потянулось бесконечное томление «смертника».

О, если бы Ермолаев умел писать, он мог бы рассказать нам потрясающую картину того, что пережил он благодаря маленькой ошибке праведного суда, историю этих дней, пока его старая крестьянка-мать бегала «на воле» по разным учреждениям, чтобы спасти свое детище от казни, и этих ночей, когда сам он прислушивался с дрожью к каждому шороху в коридоре: не идут ли за ним?..

Наконец... вот оно: громыхают замки, слышен топот шагов, звяканье шпор, стук ружейных прикладов... Трех приговоренных по тому же делу уводят, и через полчаса с ними все кончено. Ермолаева почему-то оставляют. Надолго ли? Может быть, до завтра?..

Почему? Одно известие (в газете «Речь») объясняет это простой «счастливой случайностью»: двор оказался слишком тесен для четырех, и казнь Ермолаева просто отсрочили. Между тем трое осужденных и признавших свою вину подали заявление на высочайшее имя, что осужденный с ними Ермолаев совер-



шенно непричастен к экспроприации. Казнь задержали и в эту ночь, и в следующую. Наконец, старухе матери, просыпавшейся каждое утро с вопросом: жив ли еще ее сын? – сообщили, что дело будет пересмотрено... 25 октября 1907 года тот же военно-окружной суд (в другом составе) признал, что Ермолаев был осужден и пережил неизгладимый ужас совершенно безвинно...[46]

.....  
*«Обрадованной» матери вернули «обрадованного» сына...*  
.....

За следующими не менее «отрадными» фактами приходится последовать в Москву. Здесь тоже бывали и экспроприации, и грабежи, и военные суды... Ну и, конечно, смертные приговоры над невинными.

В 1906 году произведено было среди белого дня нападение на казенную винную лавку в районе известной Прохоровской мануфактуры. Во время преследования одним из злоумышленников убит городской. Нападающие скрылись.

Вскоре, однако, по доносу некоей Рыжовой

и ее друга Запольского, арестован и предан суду рабочий Кузнецов.

Перед очами московских военных судей этот рабочий предстал при следующих обстоятельствах. Трое совершенно незаинтересованных свидетелей показали, что в день убийства Кузнецов пришел с работы в восемь часов утра, спал до трех четвертей двенадцатого, потом пошел в столовую, где обедал в двенадцать, а в час дня опять стоял у рабочего станка на фабрике. Все это подтвердили рабочий Константинов, квартирная хозяйка Алексеева, табельщик Матвеев, заведующий столовой Черемухин и, наконец... контора Даниловской мануфактуры.

Между тем нападение и убийство городского произошло в одиннадцать часов утра в восьми верстах от фабрики. Ясно, что Кузнецов физически не мог быть на месте преступления. Он называл еще многих свидетелей, но... в вызове их суд отказал, хотя срок для этого восстановлен.

И знаете причину отказа? Она очень любопытна. О восстановлении срока просил защитник, а свидетелей назвал суду сам Кузне-

цов. Московский военно-окружной суд нашел, что это непорядок: защитник ходатайствовал, значит защитнику и нужны свидетели. Лично Кузнецову они, очевидно, излишни, так как лично о восстановлении срока он не просил.

Любопытно, что даже охранное отделение аттестовало Кузнецова как человека спокойного и неподозрительного. На суде прошли все-таки девятнадцать свидетелей, подтвердивших все эти данные. Было, кроме того, выяснено, что доносчица Рыжова – брошенная после женитьбы любовница Кузнецова, а Запольский – «человек без определенных занятий», проще сказать, хулиган, которого Кузнецов избил за оскорбление сестры.

.....

*Скажите теперь: считаете ли вы вероятным, чтобы какой бы то ни было суд на этом свете решился приговорить человека к смерти при таких обстоятельствах?*

.....

Факт: 21 ноября 1906 года военно-окружной суд не в захолустном Грозном и не в Са-

марканде, а в столичном городе Москве вынес Кузнецову смертный приговор. Проницательные судьи не поверили девятнадцати беспристрастным свидетелям защиты и отдали предпочтение двум свидетелям, Рыжовой и Запольскому, которые лгали в пользу обвинения.

Выслушав этот приговор, Кузнецов перекрестился на икону и сказал:

– Христом клянусь, я приговорен невинно!

Много было таких случаев, и много русских людей крестились таким образом в залах военных судов на висящие там иконы. Но их все-таки казнили. То же, конечно, ждало и Кузнецова. Была подана кассационная жалоба. Главный военный суд ее не уважил. Приговор постановлен законно.

Между тем защитники Кузнецова, гг. Николаев и Кобяков, были глубоко убеждены, что они защищали и не сумели защитить человека невинного! Каково уходить из суда с таким убеждением людям, совесть которых не мирится с успокоительными соображениями о формальной правильности своего поведения! Господин Николаев и его товарищи ре-

шили во что бы то ни стало спасти этого человека, погибающего на их глазах жертвой судебного убийства.

Это было в Москве в приснопамятные дни «правления» генерал-губернатора Гершельмана. Нелегко было, прежде всего, добиться отсрочки казни, но они ее добились и возбуждали затем уже в гражданском суде дело о ложесвидетельстве. В декабре 1908 года московский окружной суд рассмотрел это обвинение и признал, что Рыжова и Запольский оклеветали Кузнецова из мести. Рыжову сослали в каторгу, Запольского посадили в тюрьму, Кузнецова вернули с каторжных работ, куда он был сослан в ожидании исхода дела[47]. Суд и каторга продолжались для него около двух с половиной лет.

А затем, как мне сообщил г. Ордынский, отыскался и настоящий виновник убийства городского. Фамилия его Журавлев, и из дела выяснилось, что он был один. Его, конечно, казнили.

Что же? Послужило ли это по крайней мере уроком для господ московских военных судей? Внушило им большую осторожность в

обращении с человеческой жизнью?

Ответ налицо: дело Кузнецова закончилось в 1908 году. И в том же году тот же суд вновь приговаривает к смерти четырех неповинных крестьян.

В светлую лунную ночь на 1 июня 1908 года в селе Никольском (Звенигородского уезда, Московской губернии) случилась тревога. Церковные сторожа Елкин и Горин, разбудив священника, заявили, что два часа назад ограблена церковь. Грабителей было четверо. Они выбежали будто бы из кустов, один отстал, а трое с револьверами кинулись к ним, столкнули их в сторожку, находившуюся в церковном подвале, заперли их там, а затем произвели грабеж.

Если бы наше предварительное дознание было хоть сколько-нибудь проникнуто стремлением к выяснению истины, а не к обвинению во что бы то ни стало таких-то лиц, то очень скоро стало бы ясно для властей то, что было ясно населению: сторожа бессовестно лгали и сразу же стали менять версии своего рассказа. Уже судебному следователю они поднесли другой вариант.

Нападение произведено, когда они были в сторожке. Ночью залаяла собака, открылась дверь, и в караулку вошли четыре человека. Горин, спавший подальше от входа, успел якобы незаметно для разбойников забиться под койку, а Елкина один из грабителей ударил чем-то по голове. От удара он впал в беспамятство. Разбойники зачем-то все вышли, потом все вернулись и связали Елкина принесенной веревкой. Елкин притворился мертвым, но один из них сказал ему: «Лежи, пока мы не сделаем того, зачем пришли». В вошедших Елкин узнал Очагова и еще трех крестьян-односельцев. Несмотря на тесноту и темноту в сторожке, он разглядел даже, что у одного из них, Абренина, был «за спиной» револьвер, «такой же системы, как вот у вашего благородия» (следователя).

Много свидетелей показывали согласно, что всех подсудимых видели в других местах. Ложь сторожей становилась все яснее – стало известно, что Горин даже не был в ту ночь у церкви, а ночевал в деревне у жены. Но... наши следственные порядки известны: тят-ляп, и человек готов для тюрьмы, для Сибири, а

при военных судах – и для виселицы.

Тридцатого декабря (1908) четверо николевских крестьян предстали перед московским военным судом; в это время (6 декабря) был уже произнесен вердикт присяжных, из которого господа судьи могли узнать, что в деле Кузнецова они (или их товарищи) чуть не казнили невинного благодаря двум лжесвидетелям. И вот опять перед судом два лжесвидетеля, против которых выступают десятки показаний односельцев. Все подсудимые работают на фабрике купцов Поляковых. Никто из них не судился и не подвергался никаким замечаниям. Все женаты, всего на руках у них четырнадцать детей и четверо стариков. Судьба двадцати двух человек зависит от внимательности, совести и проницательности судей. За спиной у них недавняя грубая ошибка...

Состав суда впервые (для вящего упрощения процедуры!) уменьшен до трех судей. Председательствует генерал Дубле, присланный, как говорят, для того, чтобы еще «подтянуть московских судей». В зале темно. Окна какого-то полуподвала тусклы. Вечером керо-



синовые лампы слабо освещают судейский стол, еще не обтянутый сукном. Все какое-то временное, спешное, торопливое... как и эти торопливые дознания, следствия, постановления о предании военному суду...

На суде сторожа дают еще новые версии показаний, несообразности которых бьют в глаза. Свидетели защиты напрасно стараются восстановить правду. Суд глух к их показаниям.

В восемь часов вечера под Новый год суд вынес всем четверым обвиняемым приговор к смертной казни. Толпа родственников окружила защитника, С. П. Ордынского. Тусклая лампочка освещала эту группу людей, пораженных ужасом, негодованием, бессильным отчаянием. Как и в деле Юсупова, для всех сторонних зрителей было ясно, что суд совершает простое убийство невинных. С дежурным офицером несколько раз делалась нервная рвота. Один из свидетелей внезапно стал говорить какой-то нервный вздор, и с ним случился припадок (он так и не оправился – косвенная жертва военного правосудия).

В ту же ночь защитник С. П. Ордынский и

его молодой товарищ В. Г. Луи написали кассационную жалобу и несколько докладных записок. Надежды у них было мало: в приговоре все было «правильно»... если не считать того маловажного обстоятельства, что к казни приговорены невинные. Генерал-губернатор Гершельман?.. В Москве как раз говорили, что этот генерал почти разошелся со своим адъютантом, кн. Трубецким, когда тот решился замолвить слово за одного из приговоренных.

Полдень нового года застает г. Ордынского, после бессонной ночи, в приемной московского митрополита, среди праздничного настроения. Его преосвященство принимал многочисленные поздравления. Так красивы эти старинные рассказы о святителях, останавливавших руку палачей. Но это было давно... От московского митрополита защитнику пришлось выслушать суровый отзыв: в последнее время церкви грабят слишком часто. Репрессия необходима. У московского митрополита г. Ордынский не нашел заступничества в пользу невинно осужденных.

Было бы слишком долго описывать все

мытарства, через которые довелось пройти защитнику, глубоко почувствовавшему неправду и ужас «правильного» военно-судного приговора. Он толкался в самые неожиданные инстанции, обивал пороги, заводил собственно для этого дела «влиятельные» знакомства, наталкивался на суровое равнодушие и на доброе человеческое участие. В невинности приговоренных ему удалось убедить нескольких влиятельных лиц. Один из фабрикантов Поляковых лично ездил к генералу Гершельману с секретарем Красного креста, господином Ляминим.

Удалось экстраординарными усилиями добиться сначала отсрочки казни; потом генерал Гершельман, вне всякого установленного порядка, «чтобы выяснить дело для себя» (счастливая любознательность!), предложил судебной палате командировать следователя для дополнительного расследования. Поляковы предоставили для господина Ордынского всю свою фабрику, со всеми служащими, лошадьми и телефоном, и защита параллельно произвела свое следствие на месте.

Здесь благородные усилия защитников бы-

ли встречены общим сочувствием населения, для которого дело было ясно как на ладони. Что делают эти господа в простых черных сюртуках? Они стараются предупредить страшное дело: убийство заведомо невинных, которое уже изготовлено в самом «законном порядке» господами судьями в военных мундирах... Помогай им господь! Мозолистые руки поднимаются для креста и молитвы. И все глаза направляются на доносчиков. Горина заставляют лезть под койку, куда он якобы «незаметно» спрятался от грабителей и откуда наблюдал за событиями. Это оказывается физически невозможным. Вся картина явно извращена и невероятна. Подавленный общим гневом и презрением, лжесвидетель через несколько дней умирает от разрыва сердца, но легенда иначе объясняет эту смерть: на месте говорят, что Горин умер тут же под койкой. Его «притянула земля» за оговор невинных. Сведения об этом деле оглашены во многих газетах. (См., напр., «Вятскую речь», 30 января 1910 года, № 24.) Кроме того, я пользовался указаниями лиц, близко знающих дело...

.....

*Лжесвидетельство признано присяжными, и «маленькая ошибочка» военного суда исправлена судом гражданским. «Обрадованные» крестьяне вернулись из-под виселицы к семьям.*

.....

Конечно, если бы этих крестьян сразу судил гражданский суд с присяжными, то судьи, вероятно, потрудились бы выехать на место и убедились бы, что сторожа лгут. Но, господа военные судьи! Нельзя и подумать, чтобы они стали так беспокоить себя из-за четырех жизней... Они военные! Они вот и свидетелей могут не вызвать из-за черты города! Они, если бы и пожелали, не могут проверить лживых показаний, так как должны судить безостановочно и стремительно... Так стремительно, что... в том же 1908 году, вслед за никольскими крестьянами, вновь приговаривают к смерти невинного Решетина.

Об этом деле в свое время газеты не говорили ничего, и оно всплыло совсем недавно. Интересно, что оно составляет точную копию дела Кузнецова. Опять разбойное нападение (в 1908 году), но не на винную лавку, а на Богородицкую фабрику. Опять двое лжесвидете-

лей. Роль Рыжовой играет некая Шашникова, роль Запольского – подкупленный ею мальчик Савельев. Оба они «опознают» крестьянина, бывшего солдата Решетина, как участника нападения. Опять, конечно, свидетели защиты опровергают лживое показание, и опять «проницательные» судьи верят лжецам, а не честным людям. На этот раз, впрочем, московский военно-окружной суд оказался милостивее: невинного Кузнецова он приговорил к виселице, невинного Решетина – к каторге на пятнадцать лет, где Решетин и пребывал почти три года (а может быть, пребывает и поныне). Мы не знаем, как и кому он успел подать голос из глубины сибирских каторжных тюрем и кто, добрый человек, первый протянул ему туда руку помощи. Известно только, что уже в 1910 году в московском окружном суде рассматривалось дело о лжесвидетельстве. Шашникова приговорена к году тюремного заключения (малолетний Савельев оправдан, как действовавший под ее влиянием). Присяжный поверенный Переверзев выступил в кассационной инстанции представителем интересов невинно

осужденного Решетина. Главный военный суд постановил: приговор отменить и московскому военно-окружному суду войти в обсуждение: нельзя ли извлечь его жертву из каторги впредь до пересмотра дела.

Это было уже в марте текущего 1911 года. Теперь Решетин, может быть, уже «обрадован», если только жив. «В жалобе невинно осужденного есть заявление о том, что, находясь уже три года под каторжным режимом, он неизлечимо заболел»[48].

## Глава VI

### **В Одесском военно-окружном суде Дело Айзенберга. Дело Токарева и Боборыкина при любезном участии провокатора Хорольского**

**М**олодой человек, уроженец Польши, еврей Перец Айзенберг, в 1905 году был несколько раз арестован и в один из промежутков уехал за границу. Здесь, однако, его охватила тоска по родине. Он вернулся и отдался в руки властей, предоставляя суду разобрать все свои прегрешения. Житомирский окружной суд рассмотрел все, что администрация имела против Айзенберга, и отпу-

стил его с миром, так как никаких улик не нашлось.

Айзенберг вздохнул свободно и отправился в Одессу на зубоврачебные курсы. Бедняга не знал, что здесь над ним нависла туча, темнее прежних... Дело в том, что на белом свете существовал еще один Айзенберг, по имени Лейба, известный полиции вор, и фотографическая карточка его хранилась в охранном отделении. Пятого марта 1908 года на одной из одесских окраин произведено нападение на артельщика Сорокина, у которого отнято триста рублей. Нападавшие скрылись. Начались розыски. Стали, конечно, просматривать карточки преступников. В лице Лейбы Айзенберга (вора) кто-то опознал одного из нападавших. Нужно, значит, разыскать Айзенберга. Арестуют злополучного Переца Айзенберга, ученика зубоврачебных курсов, и Перец Айзенберг предстает перед одесским военно-окружным судом вместе с неким Агеевым.

Дело слушается 22 апреля 1908 года. Потерпевший, Сорокин, «опознавший» грабителя по карточке (снятой с другого Айзенберга), на суде отказывается признать сходство этого



Айзенберга с тем, кто на него напал, и даже с предъявляемой фотографией. Другой обвиняемый, Агеев, сознавшийся в нападении, решительно отрицает участие Айзенберга. Но полицейский пристав Павленко и кучер Сорокина настаивают на тождестве подсудимого с лицом, снятым на карточке. Одесские военно-окружные судьи приговаривают Переца Айзенберга по карточке Лейбы Айзенберга к смертной казни через повешение. Кассационной жалобе командующий войсками (по-видимому, «знаменитый» генерал Каульбарс) не дает движения, но, к счастью, заменяет казнь бессрочной каторгой.

Приговор вступил в законную силу, когда родителям (людям тоже, к счастью, состоятельным) удастся расследовать пикантную историю карточки Лейбы Айзенберга, по которой опознали их сына Переца. Оказалось, что в то время, когда происходило первоначальное опознание, карточки Переца Айзенберга в сыскном отделении вовсе и не было (вплоть до его осуждения). Защитники Андреевский и Гольдштейн развернули перед главным военным судом эту блестящую страницу

из деятельности одесского военно-окружного суда, и высшая военно-судная инстанция постановила: приговор в отношении Переца Айзенберга отменить и дело передать в тот же суд в новом составе. «Это поистине воскресение из мертвых!» – восклицает один из корреспондентов, описывавших это дело[49].

Конца этой трагедии-водевиля я не знаю. Надо думать, однако, что Переца Айзенберга, вовсе неповинного в снятии с него карточки, судьи отпустили... Остался ли он и после этого в России, или одесский военно-окружной суд окончательно излечил его от тоски по родине, мне тоже, конечно, неизвестно.

Следующий «отрадный факт» переносит нас в Екатеринослав, но, так как этот город находится в одесском военном округе, то почетная роль в нижеизлагаемой трагикомедии принадлежит опять тем же одесским военным судьям.

В одном чрезвычайно интересном документе, полученном мною от вполне сведущего человека, говорится, что Екатеринослав, по числу ошибочных казней, должен быть поставлен на первом месте. Не смею на этом на-

стаивать, так как, к сожалению, некоторые другие города не без основания готовы оспаривать это печальное первенство.

Итак, в городе Екатеринославе 11 июня 1908 года в квартиру рабочего Токарева, в его отсутствие, пришел другой рабочий. Подмышкой у этого посетителя был сверток, который он положил на полку и удалился. А вслед за ним, как водится, нагрянула полиция.

Фамилия человека со свертком – Хорольский.

Ныне эта фамилия пользуется широкой известностью: о Хорольском был даже запрос в Государственной думе, около этого имени шли горячие прения, которые увековечены в анналах 29-го заседания IV сессии российского парламента[50]. Никто не решился выступить на защиту уличенного провокатора, и речь шла о степени «официальности» его провокаторской роли.

Но в то время, то есть 11 июня 1908 года, когда он явился со свертком в квартиру Токарева, он еще не был знаменит и только начинал карьеру. В свертке оказались две бомбы

и... станок для выделки фальшивой монеты, которые полиция, разумеется, не замедлила «обнаружить». Бомбы были завернуты в бумагу и на обертке одной из них была предусмотрительно написана фамилия еще одного рабочего: «Боборыкин»... Как известно всем сообразительным людям, оно так обыкновенно и бывает: собственники бомб старательно помечают их своими фамилиями, как школьники помечают тетради: сия, дескать, бомба принадлежит Иванову, а такая-то Семенову...

Очевидно, репутация Хорольского мало заслужена: кого, казалось бы, способна ввести в заблуждение такая наивная провокаторская стряпня?

Ответ налицо: она оказалась достаточно хорошей для одесской военной прокуратуры и для членов одесского военно-окружного суда. Суду этому были преданы трое: Токарев, Боборыкин и... сам Хорольский. Неискусный провокатор плохо замел следы: появление его в квартире скрыть оказалось невозможно, и он попал тоже на скамью подсудимых.

Судьбе угодно было несколько задержать стремительный ход военного правосудия: То-

карев заболел (мудрено ли?) настолько серьезно, что его дело пришлось выделить. Сначала, значит, судили только двоих: Хорольского и Боборыкина...

.....

*Одного суд оправдал... кого?  
Принесшего бомбы Хорольского!  
Другого обвинил... Кого?  
Ну конечно, ни в чем не повинного Боборыкина, который после соответствующей (одесской!) конфирмации и очутился в каторжных работах.*

.....

Затем наступила очередь хозяина квартиры, Токарева, который к тому времени выздоровел.

Разумеется, военный суд над ним был бы простою формальностью: он был все-таки хозяином квартиры, куда Хорольскому угодно было принести бомбы, и если каторга постигла Боборыкина, человека совершенно стороннего, чего же мог ожидать «хозяин»? К счастью для обоих, в стремительном ходе военной юстиции случилась еще одна непредвиденная усложняющая задержка. Мы уже говорили, что провокатор, кроме бомбы, подки-

нул Токареву еще и станок для выделки фальшивой монеты.

Это была грубая ошибка: станок для выделки монеты – дело, так сказать, гражданское, усложнившее подсудность. Провокатор или те господа более высокого ранга, кто им распорядился, не рассчитали, что за выделку фальшивой монеты Токарева будут теперь судить не проникательные одесские военные судьи, а... присяжные. Ну а для суда присяжных такая грубая провокаторская стряпня уже не годится. И случилось еще так, что суд присяжных (за монету) состоялся ранее военного суда...

Произошла настоящая юридическая катастрофа. Хотя присяжные имели дело с теми же людьми и с теми же «свидетелями», только на столе вещественных доказательств вместо бомбы лежал станок, – но они вскрыли всю провокаторскую махинацию. Оправдав без колебаний Токарева, присяжные ходатайствовали перед коронным судом: «довести до сведения господ членов одесского военно-окружного суда о роли Хорольского для предупреждения возможной судебной ошиб-

ки...»

С таким многозначительным предупреждением дело Токарева вновь поступило в тот же одесский военно-окружной суд, который упрятал уже одного невинного на каторгу.

Положение суда, и особенно положение одесской военно-судной прокуратуры оказалось на сей раз довольно деликатным, и прежняя прямолинейная стремительность, очевидно, была уже не к месту. Боборыкина при тех же обстоятельствах суд приговорил к каторге... Токарева он оправдал. Я не знаю, были ли в составе суда те же судьи, которые судили Боборыкина, или они уступили эту честь другим, – во всяком случае, парадоксальная связь обоих приговоров сказалась так живо, что суд почувствовал потребность мотивировать свой приговор. В постановлении суда прямо говорится, что «бомбы в квартиру Токарева были доставлены в день обыска агентом охраны Хорольским, чего Токарев и не знал».

Токарев вышел оправданным, но положение суда стало еще более деликатным: осудив

невинного Боборыкина, одесская военная Фемида признала теперь виновность Хорольского. А Хорольский оправдан. В этих трудных обстоятельствах судьи задались вопросом: «с какою целью» Хорольский мог разносить по чужим квартирам бомбы, а потом приводить туда полицию? Ответ одесского военно-окружного суда на этот вопрос прямо бесподобен: «цель эту выяснить не удалось»...

Да, есть порой юмористические обороты речи даже в стиле военно-судных резолюций. Может быть разгадка необыкновенно трудной шарады нашлась бы легче, если бы вместо психологического вопроса о субъективных целях Хорольского кто-нибудь задался вопросами чисто объективными: по чьему приказу и с чьего ведома действовал «агент екатеринославской охраны» и в каком из екатеринославских учреждений фабриковались разносимые им бомбы? К сожалению, русские суды – даже и невоенные – не желают тратить время на такие слишком уж элементарные вопросы...

Возвратимся к нашему «отрадному факту». Одесской военной Фемиде грозила новая



неприятность: Боборыкин в глубине своей каторги, где-то в Александровске или Акатуе, все-таки узнал о новом обороте дела, и у него появилось естественное желание тоже выйти на волю. По-видимому, он не читал тех российских философов, которые вместе с Д. И. Тихомировым и К. Н. Леонтьевым[51] находят, что можно быть отлично свободным и на каторге и что это, пожалуй, есть наиболее подходящий для русского человека вид свободы... Он нашел адвокатов, которые взяли вести его дело, и вот весь этот клубок, завязанный провокатором, предъявлен на разрешение главному военному суду. И главный военный суд разрешил...

Я знаю: читатель, подготовленный всеми предыдущими военно-судными чудесами и эффектами, ждет от меня новой ошеломляющей неожиданности: главный военный суд в пересмотре откажет?

Нет, читатель, нет: дело пересмотрели, и Боборыкин теперь опять, вероятно, работает на фабрике, вспоминая свою экскурсию на каторгу как тяжелый сон. И, вероятно, рассказывает по вечерам своей семье и знакомым о

коварстве злодея Хорольского и о необыкновенной сообразительности одесских судей... Но до этого происходили в главном военном суде интересные прения.

Представителем логики военного правосудия выступил по обязанности помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, дававший заключение на просьбу Боборыкина. В газетах это заключение было изложено так:

.....

*«Помощник главного военного прокурора генерал-майор Макаренко, указывая на отсутствие в деле новых обстоятельств, высказался за оставление ходатайства (Боборыкина) без уважения, настаивая на необходимости исправления главным военным судом в порядке надзора приговора одесского военно-окружного суда в смысле исключения из приговора всего того, что касается в деле агента Хорольского».*

.....

Это было напечатано и перепечатано во многих газетах[52] и никем до сих пор не опровергалось. Значит, этот силлогизм дей-

ствительно оглашал залу заседания военно-окружного суда в «конституционной» России XX века. Если перевести его с протоколно-кассационного языка на простой разговорно-обывательский, то это будет звучать так:

Главный военный суд имеет дело не с людьми и их интересами, не с Хорольским, Боборыкиным и Токаревым, а только с кассационным производством за номером таким-то. Два приговора одесского военно-окружного суда стоят, по-видимому, в существенном разногласии: при одних и тех же обстоятельствах («бомбы подкинул Хорольский») Боборыкин осужден, Токарев оправдан. Это очень неудобно для Боборыкина, но не касается нимало до главного суда. И притом разногласие легко упраздняется: в оправдательном приговоре по делу Токарева одесский суд допустил излишнее многословие, упоминая о роли Хорольского и задаваясь вопросом об его «цели». Стоит «в порядке надзора» исключить все это место – и тогда все бумаги кассационного производства в порядке; Токарев оправдан – его счастье. Боборыкин может оставаться на каторге или... придется

прибегнуть к каким-нибудь внесудебным приемам для его спасения...

Главный военный суд, однако, не пожелал стать на эту, пожалуй, вполне последовательную точку зрения. Дело постановлено пересмотреть, а о действиях военно-прокурорского надзора одесского военного округа довести до сведения главного военного прокурора.

Какие это «действия» и в какой связи стояли они с «невыясненными целями» провокатора Хорольского, мы не знаем.

## **Глава VII**

### **О том же**

## **В Тюмени. В Варшаве. В Киеве. В Вильне**

**Т**ринадцатого сентября 1908 года в Тюмени был ограблен артельщик Маругин. Полиция обнаружила необыкновенную энергию и доставила суду целую группу в девять человек, которые, как оказалось впоследствии, все были к этому делу нимало не причастны. Может ли быть, чтобы «несчастные случайности» коснулись сразу девяти человек и чтобы предварительное следствие впало в такое массовое «добросовестное заблуждение»? Ма-

ловвероятно, что касается добросовестности, но фактически верно. Суд в первой же сессии по этому делу оправдывает пять человек. Как бы в виде удовлетворения следствию четырех решает все-таки казнить смертью. Нельзя же, в самом деле, оправдать всех привлеченных! Зачем-нибудь трудились господа полицейские, жандармы, охранники, свидетели (и лжесвидетели?), наконец, господа прокуроры? Однако после того как на месте поднялось общественное мнение, а в Петербурге стали хлопотать депутаты Дзюбинский и Скалозубов, военное правосудие призадумалось и выпустило с миром остальных четырех. Итак, все девять привлечены по недоразумению, и четверо невинных обывателей имели случай испытать сильное ощущение смертного приговора. И все-таки живы. Случилось это счастливое обстоятельство уже 27 июля 1909 года[53]. Сильные ощущения продолжались, значит, в течение года!

В Варшаве некоего Павла Ибковского невинно приговорили к казни по ложному доносу Идзиковского и Мартынкевича. Кто тут успел проявить «нечеловеческую энер-

гию», чтобы сначала удержать суровую руку генерал-губернатора Скалона, потом возбудить дело о лжесвидетельстве, – мы так и не знаем. В конце концов лжесвидетельство доказано, и, надо думать, Ибковский из-под виселицы возвращен уже в лоно семьи[54].

В Варшаве в 1905 году «за покушение на убийство околоточного надзирателя Абрамовича» Домбровский, Шевченко и Зелинский приговорены военно-окружным судом к повешению. Оказалось, что покушение произведено до введения в городе усиленной охраны. Дело было кассировано и передано в гражданский суд. При этом обнаружилось, что один из осужденных (Зелинский) приговорен к смерти невинно, суд его оправдал[55].

Еще одно, совсем уже свежее известие из Киева. Двадцать пятого октября 1908 года в киевском военно-окружном суде разбиралось дело о казаке Коваленке и крестьянине Иване Беше, обвиняемых в разбойном нападении на дом Дурицкого. Оба приговорены к смертной казни через повешение. Родные осужденных обратились к прокурору нежинского окружного суда с заявлением, что в данном деле

произошла судебная ошибка, так как они могут доказать, что показания, данные на суде свидетелями обвинения Меланией Климовой и Григорием Каращук, ложны. Они находились в услужении у потерпевшего Дурицкого и лжесвидетельствовали по подговору хозяина. Начатым по этому поводу следствием факт лжесвидетельства скоро обнаружился с полной ясностью. Оказалось, во-первых, что показания противоречили обстоятельствам дела, чего военный суд не изволил заметить за спешностью, а во-вторых, свидетели сами признавались сторонним лицам, что оговорили подсудимых по требованию хозяина («за подарок к празднику»). Совсем уже недавно, 11 сентября 1910 года, окружной суд в Нежине разбирал это дело. Это была очень характерная и выразительная картина. В заседании были две интересные группы: на скамье подсудимых сидели Дурицкий, Каращук и Климова. В качестве свидетелей были приведены в кандалах Безь и Коваленко, приговоренные к смерти и ожидавшие отмены приговора или приведения его в исполнение с 25 октября 1908 года. Кроме того, тут шла

тяжба между двумя судами: военный суд требует смерти невинных. От приговора суда присяжных, еще уцелевшего остатка «доконституционных» учреждений, они ждут освобождения.

Присяжные признали наличие лжесвидетельства. Климкова и Каращук осуждены (Дурицкий оправдан). Безь и Коваленко еще целых четыре месяца ждали в тюрьме, пока – уже в январе 1911 года – киевскому военно-окружному суду угодно было, наконец, оказать им милостивое внимание. Впредь до нового разбирательства их дела (которое, конечно, является уже простой формальностью) постановлено выпустить их под надзор полиции. Итак – два года под угрозой смертной казни и четыре месяца тюрьмы после обнаружения невинности. Своеобразное, истинно русское благополучие[56].

Наконец, вот еще и в Вильне в 1908 году военно-окружной суд приговаривает к смертной казни ни в чем не повинного крестьянина села Ляховки, Степана Филипцевича, якобы за убийство лесного объездчика. К великому его благополучию, суд допустил явные



правонарушения, вследствие которых приговор кассирован. Вторично это дело разбиралось 24 апреля 1909 года, и на этом втором разбирательстве выяснилось, что беднягу Филиппевича собирались повесить совершенно напрасно: «после двухчасового совещания» судьи признали Филиппевича невиновным и отпустили с миром. Под страхом смерти он пробыл более четырех месяцев. Защитил его от напрасной казни присяжный поверенный Торховский[57].

## Глава VIII

### «Обрадованные» русские люди

.....

*Итак, вы видите: широкая практика военных судов со всеми их неожиданностями расширила диапазон ощущений современной русской души.*

.....

До сих пор мы знали обычные, присущие всем людям мирные радости повседневной жизни. Теперь в нас зазвучала новая струна, резкая, сильная, незнакомая прозаическому европейцу. По Руси разлился новый вид радости. Это радость людей, глядевших в

глаза позорнейшей смерти, раз уже невинно приговоренных и... сорвавшихся с виселицы. Острое ощущение возвращенной жизни... Восторг отцов, матерей, сестер, братьев, женихов и невест, которым отдают любимых и близких людей прямо из петли.

Их много, очень много, теперь таких образованных русских граждан. Их можно порой встретить в обычной, будничной, повседневной обстановке. Они, как и прочие обыкновеннейшие люди, заняты своими делами – работают, обедают, гуляют, даже и веселятся. Вообще люди, как все. Но над их головами как будто носится какая-то неуловимая тень, род нимба. И когда они отворачиваются или отходят, о них говорят шопотом:

– Это NN. Слыхали? Был приговорен к смертной казни. Спасла счастливая случайность...

Мне тоже приходилось встречать таких людей.

Раз – это было в вагоне железной дороги около Белгорода. Обращали на себя внимание два пассажира третьего класса в одежде мещан или сельских разночинцев. У одного бы-

ло обыкновенное, но какое-то тускло-серое лицо, и из-под туго сдвинутых бровей глаза смотрели тяжело, неподвижно, без мысли. Другой был похож на него, только постарше. У этого лицо было выразительное, страдающее и озабоченное. На первый взгляд, больным из этих двух людей можно было признать второго.

Мне с ними пришлось ехать недолго, и я сначала не обратил на них особого внимания. И только когда они ушли на узловой станции, я заметил, что в вагоне что-то осталось от них, какая-то робкая, осторожная тень. Никто не сядил на оставленное ими место, соседи обменивались полувздохами, короткими, оборванными фразами, из которых я узнал, что это два брата и что один из них был приговорен к смертной казни, а потом оправдан и отпущен на свободу.

Ни подробностей, ни фамилий я так и не узнал. Может быть, это был один из тех, чью историю я рассказал вам на предыдущих страницах, а может, и совсем другой, неизвестный, о котором никто ничего не писал. Можно ли написать обо всех, так или иначе заде-

тых широким жизненным явлением? На мои дальнейшие расспросы пассажиры, ехавшие с ними раньше, отвечали неохотно и скупно. Скажет и как-то почти враждебно отвернется... Подвели лихие люди по злобе... Мало ли их теперь. Тронулся, сердечный, шутка ли!.. Не буйствует, а только часами смотрит в одну точку и потом внезапно разрыдается... Семья небедная. Возили к докторам – говорят, может, еще и поправится.

.....

*Вот все, что мне удалось узнать. Вагонные разговоры мгновенно угасали, как искра в золе. Есть вещи, которые стоит только назвать, и уже это значит осудить кого-то и что-то. А по нынешним временам осуждать вообще опасно. Успокоение! Однако у меня все время стояла мысль: «Уж лучше бы говорили! Пожалуй, было бы даже спокойнее».*

.....

В другой раз это был молодой человек, только что окончивший высшее учебное заведение, и его молоденькая жена, курсистка. Увидел я их в самой жизнерадостной обста-

новке, на даче, даже за игрой в лаун-теннис[58]. И все-таки над обоими висела та же неуловимая тень, и тот же шёпот несся навстречу каждому новому лицу, знакомившемуся с этой четой. «Это Я-ий... Помните: был приговорен к смертной казни».

В свое время об этом деле много писали. Высшие учебные заведения волновались, директора и профессора хлопотали у министров. После второго разбирательства Я-го оправдали. И когда приговор был объявлен – одним из первых кинулся пожимать руки ему и присутствовавшей тут же жене молодой жандармский офицер, все время очень внимательно следивший за исходом процесса. Что же так обрадовало жандармского офицера? Очевидно, он считал этого студента невинным, но не считал, что невинность гарантирует его от казни...

И кто же может быть уверен в оправдании невинного при таких условиях? Военный суд! Это значит, что жизнь человека кинута на чашку весов неуклюжих, архаичных, неточных. На них толстым слоем налегла пыль веков, разъедающая ржа касты. Нигде уже в

культурном мире не найдется такой удивительной судебной махины – разве в музеях наряду с памятниками инквизиции. А у нас ее зловещий скрип раздается над страной, претерпевшей «обновление»! Неровно, судорожно, толчками мечутся кверху и книзу ее рычаги, швыряя судьбы людей между жизнью и смертью... Оправдание... казнь... оправдание... Где она остановится? На чем? И почему именно на этом?.. Оправдает ли виновного? Или скорее казнит невинного?..

Даже жизнь наших детей так часто качается на этих весах, и они не избавлены от этой русской радости. В 1909 году были приговорены к смертной казни гимназист VI класса Александр Петров и рабочий Крутоверцев по обвинению в нанесении огнестрельной раны священнику Яструбинскому. При вторичном разбирательстве харьковский военно-окружной суд оправдал обоих.

Итак, вот шестнадцатилетний русский мальчик, уже изведавший и ужас смертного приговора, и потрясающую радость оправдания. Впрочем, свирепая Фемида не сразу отпустила этого юношу, полуробенка: господин

прокурор счел возможным подать протест. К счастью, главный военный суд на этот раз протеста не уважил[59].

В других случаях такие протесты уважаются легко. Людей судят, оправдывают, присуждают к смерти, опять оправдывают и опять судят. Это настоящая игра с человеческой жизнью, как кот играет с мышью. В городе Луцке, например, мирно проживал старый еврей, мясник, с несколько смешной фамилией Козел. В один несчастный для него день в его лавку зашел полицейский надзиратель и взял кусок мяса. Вскоре после этого с господином надзирателем случилось острое желудочное заболевание, и об этом несчастье тотчас же ударила в набат вся монархическая печать. Истинно русским людям доподлинно известно, что у евреев существует обычай отравлять мясо, продаваемое верным царским слугам. Существует в действительности такой обычай или не существует? Кто же может лучше и беспристрастнее разобраться в этом тонком этнографическом вопросе, как не стремительный военный суд?

.....

*И вот старый еврей, под зловеще шутовской грохот монархической прессы, садится на скамью подсудимых... Военно-судная качель начинает свою пляску смерти.*

.....

В первый раз киевский военно-окружной суд бедного Козла оправдывает. Радость семьи, ликование луцкого еврейства: значит, суд опроверг существование губительного для русской монархии еврейского обычая – отравлять мясом господ полицейских.

Прокурор не может, однако, согласиться с таким исходом и подает протест. Главный военный суд соглашается с прокурорскими доводами и назначает новое разбирательство. Козла опять сажают на качель. На этот раз ему не везет: чашки весов судорожно опускаются вниз. Старика приговаривают к виселице.

Теперь ликуют «монархисты». В семье Козла и в городе ужас и уныние.

Протест защиты. Новый суд. Заседание тянется два дня... Козел опять обрадован: приговор оправдательный...

Это случилось в ноябре 1909 года[60]. Был



ли новый протест прокурора – мы не знаем. Будем думать, что не было или он, к счастью для злополучного старого еврея, не уважен. Иначе кто знает, что могло бы случиться? Оправдать... Казнить... Оправдать... Нечет... чет... нечет. На четных номерах бедному Козлу не везло, и четвертый приговор мог оказаться для него роковым...

Таким он оказался, например, для двух мальчиков, учеников тифлисского ремесленного училища, обвинявшихся в убийстве директора Победимова. В первый раз их оправдали, во второй приговорили к казни[61]. Был ли протест защиты, уважен ли? Что сказал новый суд, если он был? Или, может быть, оба ученика уже казнены – мы не знаем.

Порой, как бы для того, чтобы дать человеку сильнее почувствовать эту своеобразную гамму ощущений, его подводят к самым ступеням эшафота. Так, 25 апреля 1908 года киевским военно-окружным судом приговорены к смертной казни крестьяне М. Заец, И. Новиков и И. Джулаев за вооруженное нападение в селе Млынах, Сооницкого уезда, Черниговской губернии. С ними вместе были пригово-

рены еще двое: Н. Свириденко и М. Голосенко. Но им, как «менее виновным», казнь была заменена каторгой. Трое приговоренных напрасно заявляли о своей невинности. Приговор утвержден. 16 мая Заец и Джулаев были переведены в печерский участок, откуда на заре 17 мая их должны были доставить на мрачную Лысую гору. Там их ждала виселица. Новикову, не вполне оправившемуся от тифа, предстояло совершить то же путешествие прямо из тюрьмы, в тюремной карете. Быстро бежали страшные часы последней ночи.

.....

*Но вот... получается телеграмма из Петербурга о приостановке казни. Как оказалось, «менее виновные», по решению пронципального суда, Свириденко и Голосенко сознались, что они-то и были главные виновники, а трех осужденных на смерть оговорили ложно: они в нападении не принимали никакого участия[62].*

.....

Виселица на Лысой горе эту ночь ждала напрасно.

Сколько еще было за эти годы таких же

мрачно-радостных событий, мне неизвестно. Не все они отмечены газетами, и не все газетные отметки попадались мне на глаза. Знаю, впрочем, еще один такой же случай в Харькове. Это было в 1908 году. По делу об убийстве в селе Бабаях (Харьковской губернии) крестьянки Бондаренковой военно-окружной суд приговорил к казни крестьян Филиппа Колесниченко и Мартына Ткаченко.

Все для них тоже казалось конченным. Их так же, как и Заеца и Джулаева, перевели уже в смертницкую камеру, пригласили священника... Но в это время Колесниченко потребовал к себе товарища прокурора и заявил ему, что Бондаренкову убил он один без всякого участия Ткаченко. При этом он подробно выяснил обстоятельства дела, остававшиеся до сих пор неразъясненными ни на следствии, ни на суде[63].

Имеем ли мы в конце концов право причислить Заеца, Джулаева, Новикова и Ткаченко к сонму людей, «обрадованных» военно-судной процедурой, – я, к сожалению, достоверно не знаю, так как результаты пересмотра их дел пока, кажется, не оглашены.

## Глава IX

### Что спасало невинных от казни?

**П**режде чем перейти к дальнейшему изложению, я чувствую потребность остановиться на внутреннем значении этих «отрадных фактов», от которых на меня лично веет ужасом даже бóльшим, чем от самых казней... Это лишь исключения, подтверждающие правило. Оправдания, которые говорят о возможности десятков, может быть, сотен судебных убийств...

Что, в самом деле, спасало людей во всех перечисленных эпизодах от невинной смерти?

Только чудо, то есть вмешательство влияний, выходящих за пределы нормального военно-судного порядка.

Для Юсупова это случайное присутствие в зале заседаний партикулярного человека г. Ширинкина, который в отчаянии бежит из суда домой и торопливо набрасывает письмо к другому партикулярному человеку, живущему в Петербурге. Затем корреспонденции, разговоры, забегания с заднего хода...

Маньковского вырывает у смерти такой

же вопль нескольких адвокатов и еще – конфета генерала Канабеева. Черновик письма защитников сохранил на себе следы слез... Слез людей со значками, во фраках, явившихся, чтобы защищать невинного юридически ми аргументами, и почувствовавших свое полное бессилие. Они прибегли к аргументам неюридическим. В связи с этим делом один из адвокатов временно лишен практики. Палата осудила этого защитника, товарищи выразили ему сочувствие, а общество в недоумении стоит перед этой путаницей. За правильные, закономерные действия практики не лишают. Позор извращающим правосудие?.. Да, это правда. Но правильные, закономерные суды с такой легкостью не приговаривают невинных к смерти! Слава спасающим невинно осужденных! Мы не юристы. История разберет, что тут и кому принадлежит по праву!

Далее, только экстраординарная энергия защитников и частных лиц спасают Кузнецова, Краснова, четырех николевских крестьян, Безя, Коваленко, Акимова и многих других, для которых потребовалось под накинутой уже петлей собирать новые обстоятельства,

возбуждать дела о лжесвидетелях, игрушкой которых так легко становятся военные суды.

В тюменском деле мы встречаем хлопоты членов Государственной думы. Государственная дума! Народное представительство в стране, где такие суды годами постановляют такие приговоры! Разве это не самое фантастическое из чудес? Достаточно сопоставить эти «учреждения», чтобы видеть, что или одно из них – только тяжелый кошмар, или другое – фикция, маловероятное сонное видение...[64]

Для Токарева и Боборыкина возможность спасения чудесным образом притаилась в станке для выделки фальшивой монеты... И так далее, и так далее...

Теперь подумайте только, что было бы, если бы случайно:

.....

*Партикулярный человек, г. Ширинкин, 2 апреля 1899 года уехал по своим делам из города Грозного?  
Генерал Канабеев не подарил бы Маньковскому конфету, а его защитники не пришли бы в спасительное для клиента отчаяние?*

*Если бы г. Николаев отнесся к «случаям» в деле Кузнецова так же философски спокойно, как г. Успенский в деле несчастного Глускера?*

*Если бы так же отнесли г. Ордынский к делу николевских крестьян и защитники Акимова, и защитники Безя и Коваленко, и еще многие, многие другие?..*

*Если бы охранник Хорольский ограничился только бомбами и не вздумал, в излишнем усердии, подкинуть еще станок?*

.....

Во всех этих случаях мы, несомненно, имели бы вместо «отрадных фактов» судебные убийства, темные, безвестные, точно в глухом лесу... Кто-то их бы оплакивал, кто-то проклинал бы и таил планы мести... Газеты отмечали бы несколько лишних цифр, совершенно таких же, какие теперь проходят перед нашими глазами, не вызывая особого внимания к именам людей, для которых не нашлось счастливых случайностей и чудес...

И каковы только порой бывают эти неожиданности!

Военный суд в Саратове. На скамье подсу-

димых восемь солдат Апшеронского полка; обвиняются в том, что участвовали в военной демонстрации в Тростянце. Главный свидетель обвинения – полицейский урядник. Показывает обстоятельно, уверенно, точно. Есть свидетели и в пользу подсудимых, но – одна из психологических особенностей военных судей – предпочтение свидетелям обвинения. А тут еще урядник! Судьи слушают и испытывают удовлетворение прочно, солидно складывающегося убеждения. Со всей торжественностью, подобающей обстоятельствам, они удаляются для совещания. С такой же торжественностью возвращаются и «по указу его императорского величества» приговаривают к продолжительному тюремному заключению восемь человек, из которых ни один не виновен в том, в чем их так торжественно обвиняют. Приговор мрачно звучит в пустом зале. Сами подсудимые, конечно, знают, что их осудили напрасно. Знают это и товарищи их, которые с заряженными ружьями стоят за ними и слушают всю судебную процедуру. Знает, конечно, и оболгавший их урядник. Но – судьи довольны своим приговором, пуб-



лики нет, солдаты молчат... вытянувшись в  
позе автоматов.

.....

*И вдруг происходит неожиданность.  
Протестует против приговора... Кто  
же? Лжесвидетель-урядник. По-види-  
мому, он смотрел на свое ложное по-  
казание, как на исполнение служебного  
долга.*

.....

Прокурор обвиняет, защитник защищает.  
Полиция помогает прокурору, это уже такой  
«порядок вещей». Может быть, перед судом  
он вдобавок откуда-нибудь получил инструк-  
ции «не осрамиться». Он не осрамился и сдал  
свой урок «словесности» при торжественной  
обстановке. А уже дело суда разобратся во  
всем этом по совести и по правде. Судьи  
должны понять, что он «по должности» на-  
лгал все от слова до слова, и не верить ему, а  
поверить другим, которые говорили правду. А  
они поверили ему, лжецу. И так торжествен-  
но вышли. И так торжественно вернулись, и  
все в зале поднялись, когда они «по указу его  
императорского величества» приговорили во-  
семь невинных.

О себе этот урядник был, должно быть, невысокого мнения: должность его маленькая и непочетная. Какой уж почет лгать на невинных... Теперь он проникся презрением к торжественной процедуре суда. Что-то в душе урядника, по-видимому, упало, и он почувствовал потребность поделиться с кем-нибудь этой своей душевной драмой. Где здесь люди, с которыми он может говорить по душе? Судьи? Они такие важные, и они собираются расходиться в приятном сознании исполненного долга. Взгляд переживающего душевную драму урядника падает на скамью подсудимых... Там восемь осужденных и, должно быть, столько же караульных. Это простые люди. Они поймут его положение. Они служат и исполняют приказания. Прикажут стрелять в родного отца – будут стрелять. Он тоже служит по своему разумению. Прикажут налгать на родного отца – налжет. Если бы он теперь был на месте этих солдат, то стоял бы за подсудимыми с ружьем к ноге и, зная, что они невинны, зорко смотрел бы, чтобы они не убежали. А если бы часовые были на его, урядником, месте, то лгали бы по

должности, как лгал он... Так он думает, и подходит к этой группе «своих людей», и говорит доверчиво, простодушно, от глубины огорченного сердца:

– Какой это суд! Судят невинных. Я их оклеветал напрасно[65].

Но конвойные – товарищи подсудимым, а уряднику не товарищи, и потому о признании урядника докладывают старшему, старшой докладывает по начальству. И вот господа военные судьи узнают, что их приговор, их судейскую совесть, достоинство столь торжественно отправляемого судебного обряда и судьбу восьми человек – все это держал в руках этот мелкий полицейский лжесвидетель. Движения человеческой совести, даже и полицейской, таинственны, неожиданны и нелегко объяснимы... Как, впрочем, нелегко объяснимы, порой, и их результаты. Защитник бедных апшеронцев, присяжный поверенный И. А. Британ, сообщил мне, что для них пока покаянное заявление урядника никаких последствий не имело: они отсиживают свои сроки совершенно так же, как бы урядник и не лгал. Вероятно, в видах поддер-

жания дисциплины...

Еще, быть может, характернее те случаи, когда, как в деле Ткаченко (и во многих других), неправосудие приговора разоблачается другими приговоренными к смерти.

Да, трудно представить себе иронию более мрачную: они убивали. Да. И они перед лицом смерти этого уже не отрицают. Но они указывают своим судьям, представителям карающей их общественной власти, что и они, судьи, готовы были совершить величайшее из преступлений, какое можно себе представить: убийство невинного по суду, по приговору, после торжественного разбирательства, якобы от лица общества и государства...

## **Глава X**

### **Под вопросом**

**З**а этой толпой «обрадованных» русских людей идут другие. В газетах то и дело мелькают мимолетные, беглые, неполные известия, от которых сердце невольно сжимается тяжелыми вопросами. Что случилось с этими людьми, имена которых появляются в газетах и тотчас тонут, как будто их и не было?

В Харькове недавно был присужден к

смертной казни семнадцатилетний юноша Яровой, как участник нападения на основянское волостное правление. Через несколько дней после приговора в военно-окружной суд явились двое лиц, заявивших, что в день ограбления основянского волостного правления они видели Ярового в Киеве и могут доказать это. Они просили подвергнуть их допросу. Военно-судное управление отказало. Единственный свидетель Новиков, утверждавший на суде причастность Ярового к грабежу, сделал заявление, что показания его были ложны[66]. И это не подействовало.

А если бы эти свидетели были допрошены?

.....

*Двадцать шестого января 1909 года временный военный суд во Владимире приговорил М. В. Фрунзе к смертной казни за покушение на убийство урядника.*

.....

Свидетеля, который первоначально оговорил Фрунзе, к прокурору доставил урядник лично, на свой счет, а затем этот свидетель

дважды отказался от показания, заявив, что был запуган. Целый ряд свидетелей-очевидцев удостоверил, что Фрунзе целых три дня (во время, когда произошло покушение) провел в Москве. Защитник приговоренного уверен в ошибке и обратился к депутатам с просьбой ходатайствовать о пересмотре дела [67].

Что случилось потом с Фрунзе?

В московском военно-окружном суде, – отличившемся, как мы видели, делами Кузнецова и николевских крестьян, – в 1908 году, при объявлении подсудимым приговора в окончательной форме по делу о вооруженном сопротивлении на станции Апреловка, поднялся подсудимый Кутов и заявил, что обвиненные судом Лебедев и Рявкин (последний приговорен к смертной казни) совершенно не причастны к этому делу, а настоящий виновник находится в Таганской тюрьме по другому обвинению. Председатель (конечно, совершенно спокойно) указал, что это заявление должно быть направлено к командующему войсками московского военного округа, генералу Гершельману. До суда оно, значит,

собственно, не касается[68].

Что было дальше? Произведено ли расследование или заявление «осужденного» оставлено без уважения и судьба Лебедева и Рявкина совершилась?

Военный суд в Новочеркасске приговорил Шилина к двенадцати годам каторжных работ по обвинению в покушении на убийство владельца магазина обуви в станице Лабинской, Маркова. Спустя два года в той же станице совершено было убийство городского Кислова. Убийца Гдовский перед смертью сознался в целом ряде совершенных им преступлений, в том числе в покушении на убийство Маркова. Мать Шилина возбудила ходатайство о пересмотре дела сына, но... «по неизвестным причинам ей в этом отказано» [69].

Действительно ли этот Шилин виновен?

В 1908 году по делу об убийстве инженера Финанского защитники приговоренных к смертной казни Кенцирского и Пецика, убежденные в полной их невинности, телеграфировали на высочайшее имя просьбу о задержании казни и о помиловании осужден-

ных. К просьбе присоединилась и вдова убитого Финанского[70].

Результата мы не знаем, но... в Варшаве командует войсками генерал Скалон, который торопится казнить, не дожидаясь не только решения высших инстанций, но даже ранее всякого суда!

В Елисаветграде, Херсонской губ., – писали в «Речи» в 1909 году, – по дополнительному обвинению в убийстве помещика Келеповского присуждены к смертной казни Добровольский и Бодрышев. Есть много данных к тому, что первый осужден невинно. Защита подала кассационную жалобу. Дать или не дать движение этой жалобе, зависит от командующего войсками одесского военного округа. Депутат от Одессы Никольский по телеграфу обратился к... генералу Каульбарсу с просьбой о приостановке казни, а к военному министру – о пересмотре дела[71].

Исхода мы опять не знаем. Но – всему миру известно, что генерал Каульбарс непреклонен.

Был и еще один, Добровольский Павел, обвиненный по делу об убийстве лубенского ис-



правника. По этому поводу «Утру России» телеграфировали из Парижа: в номере «Общего дела» Бурцев приводит имена жертв ошибок военных судов. По словам журнала, осуждены невинно: в Киеве еврей Комиссаров и крестьянин Маслов, в Полтаве – Павел Добровольский[72].

В 1907 году польская социалистическая партия выпустила воззвание, в котором заявляет, что Иосиф Реде, приговоренный военным судом к смертной казни через повешение, а также Яскульский и Андреев, приговоренные тем же судом к каторге якобы за участие в убийстве уездного начальника и ограбление кассира винной монополии Иванова, – осуждены совершенно невинно. Никакого участия в этих нападениях они не принимали, так как эти акты были совершены членами польской социалистической партии[73].

Что случилось с этими Реде, Яскульским и Андреевским? Едва ли заявление «партии» могло заставить пересмотреть дело.

Двадцать первого мая 1909 года главный военный суд постановил возобновить дело Машукова, который был приговорен к катор-

ге якобы за участие в шайке грабителей, наводившей ужас в окрестностях Туркестана. Многие из участников шайки казнены. Машуков подал просьбу о пересмотре его дела, ссылаясь на осужденных по тому же делу Хачатурова и Яковского, которые действительно утверждают, что Машуков никогда членом шайки не состоял[74].

.....

*Чем кончился пересмотр? И не было ли в числе «многих участников шайки», отправленных уже на виселицу, людей «опознанных» столь же основательно, как и Машуков, приговоренный только к каторге?..*

.....

Как видите, все это только «вопросы». Но – какие вопросы! Толпа полулюдей, полутеней, мелькнувшая на поверхности газетного моря, как мелькают лица утопающих во время крушения. Во всякой другой стране судьба каждого из этих людей стала бы общественным вопросом, встревожила бы общественную совесть, стала бы предметом исчерпывающего расследования... У нас все это так и остается вопросами... Мелькнуло и исчезло...

## Глава XI «Необрадованные»

Во многих случаях «коифирмационная» Встремительность господ командующих войсками делает и вопросы, и ответы совершенно излишними. Вопрос едва поставлен, тревога возбуждена – но... ни спрашивать, ни тревожиться уже не о ком.

Так, в 1909 году Виленский военно-окружной суд приговорил четырех подсудимых (Селявко, Паутова, Ротенберга и Ренкацишека) к смертной казни через повешение за побег из тюрьмы, сопровождавшийся убийством двух надзирателей. Защитник Ротенберга и Ренкацишека, генерал И. М. Дроздовский, имел основание считать, что эти двое осуждены невинно. Он ходатайствовал в Петербурге по телеграфу о приостановке казни на предмет пересмотра дела или просьбы о помиловании на высочайшее имя. По-видимому, у него были веские основания: ответ последовал благоприятный. Но генерал Гершельман казнил обоих быстрее телеграфа: распоряжение о приостановке казни запоздало... Оба были уже повешены[75].

То же случилось в 1909 году в Тамбове. На этот раз приказ о приостановке казни исходил от командующего войсками, который получил какие-то сведения, побудившие его к остановке уже конфирмованного приговора. Приказ опоздал: подсудимые – Галкин, Артемов и Алпатов – были уже казнены («Киевские вести», 22 июля 1909 г.).

Повешен также и Станислав Марчук при обстоятельствах, едва ли оставляющих место для каких бы то ни было вопросов...

Шестнадцатого июня 1907 года в Варшаве неизвестным был произведен выстрел в агента охраны Гревцова. По подозрению был арестован Бронислав Марчук, которого по предъявлении Гревцов признал тем самым лицом, которое произвело в него выстрел. Это опознание он подтвердил потом вторично под присягой, прибавив, как занесено в протокол, «что он не сомневается, что подсудимый Марчук есть то самое лицо, которое...» и т. д.

Оказалось, однако, что невиновность Бронислава Марчука была доказана, и военно-окружный суд его оправдал.

Тогда, уже в 1909 году, арестовали другого

человека, сходного с первым... по фамилии. Его звали Станислав Марчук. Он не был даже родственником первого. Тем не менее охранники Гревцов и Товстолужский опять с такой же положительностью опознали и этого Марчука, как несомненно то самое лицо, «которое...» и т. д. Защита, чтобы дать судьям понятие о правдивости этих опознавателей, ходатайствовала о вызове в качестве свидетеля прежнего Марчука и о прочтении предыдущих протоколов лживого опознания. Суд постановил: показание Бронислава Марчука признать существенным и его вызвать, но протоколов почему-то читать не пожелал. Может быть, суд считал, что достаточно будет и одних показаний раз уже опознанного однофамильца... Случилось, однако, так, что этот свидетель по болезни не явился. Суд, по соображениям совершенно непостижимым, все-таки счел излишним чтение протоколов... Защита ходатайствовала хотя бы о вызове секретаря, эти протоколы составлявшего. Суд отказал. На основании показаний явных лже-свидетелей Марчука приговорили и... казнили, так как генерал Скалон, по обыкновению,

не дал хода кассационной жалобе. «Никто не сомневается, – прибавляет господин П. П-ий, подробно описавший этот случай в „Речи“, – что повешен человек совершенно невинный» [76]. Да, конечно, стоит только проследить тот путь, каким военное правосудие дошло до своего решения, чтобы всякие сомнения исчезли...

.....

*Еще такое же дело, на этот раз в Балте. В этом городе в 1905 году происходили, как и всюду, разные волнения, и в тревожное время был убит городской. Кем – неизвестно. Говорили, впрочем, что убийство с «политикой» ничего общего не имело и произошло на романтической подкладке...*

.....

В том же городе жил некто Акимов. Это был человек наивный и «беспокойный» в самом, кажется, безвредном смысле: он сразу поверил, что в России совершается важный переворот, «торжествует законность», а «произволу пришел конец». Когда его арестовали как «красного», он очень неосторожно высказывал свои мнения и, не зная за собой ничего

существенно преступного, на допросах держался вызывающе. Это, разумеется, раздражало местные власти больше, чем всякая «революционность». Акимова пришлось отпустить, но некто из власти имущих при этом сказал: «А все-таки я сгною тебя в тюрьме». Наивный человек, веривший в наступившее «торжество законности», не поверил. Он забыл, что при всех переворотах военные суды действовали по всей России...

Через некоторое время Акимова арестовали. Нашелся человек, который видел, как Акимов убил городского. Это был Шешель, писец полицейского управления, кстати, несколько слабоумный, легко поддававшийся всяким воздействиям. И вот «кто-то (как сдержанно пишет корреспондент „Подольского еженедельника“) подговорил этого полицейского писца для карьеры (sic!) дать ложное показание, будто Акимов убил городского в его присутствии». Шешель послушался, состоялся военный суд. Совершенно для себя неожиданно на скамью подсудимых попал и Шешель за... недонесение. Донос его по подговору кого-то был сделан спустя почти два года

после события!

Корреспондент «Подольского еженедельника», описавший это дело, сообщал далее, будто Акимова приговорили к смертной казни, замененной каторжными работами. И будто потом лжесвидетельство Шешеля раскрылось, а дело Акимова пересмотрено... Но один из моих корреспондентов, откликнувшийся на мои очерки в «Русском богатстве» и близко знающий все дело, пишет мне, что это неверно. Акимова приговорили не к смертной казни, а к пятнадцати годам каторжных работ. Почему же так «мягко», если установлено, что он собственноручно убил городского? Мой корреспондент объясняет это очень своеобразно: кроме оговора слабоумного Шешеля, никаких других улик не было. Если бы улики были – тогда, конечно, его бы казнили. Но ввиду некоторых сомнений судьи будто бы нашли успокоение совести в том, что подсудимый отправился только на каторгу («сомнение в пользу подсудимого!»). Так это или не так – во всяком случае, Акимов осужден, а с ним вместе осужден и Шешель.

Увидев, какую «карьеру» изготовил ему



тот «некто», о коем так сдержанно выражается «Подольский еженедельник», Шешель стал горько жаловаться и, не скрывая, говорил всем, что его подговорили и кто именно подговорил дать ложное показание. А так как его все-таки держали на привилегированном положении и отпускали в город, то весть об истинной подкладке дела быстро распространилась и попала даже в газеты. Все были уверены, что вследствие этого дело невинно осужденного Акимова не могло заглухнуть... В своих очерках в журнале я, на основании газетных сведений, присоединил имя Акимова к сонму «обрадованных русских людей»... Это оказалось печальной ошибкой. Другой мой корреспондент, господин А. П-ко, волею российских судеб имевший случай познакомиться с населением знаменитой московской каторжной тюрьмы («Бутырки»), встретил там Афанасия Якимова, уроженца Юго-Западного края, который, по его словам, тоже был осужден вследствие ложного оговора. Это был человек желчный, невоздержанный на язык, склонный ко всякого рода тюремным протестам и вследствие этого часто знакомивший-

ся с карцером и другими репрессиями знаменитых своим «режимом» Бутырок. Несмотря на железное здоровье, он не выдержал и умер от чахотки.

Дальнейшие справки убедили меня, что этот Афанасий Якимов есть тот самый Акимов, балтский протестант, так «неблагонадежно» веровавший, что без серьезной вины никто его в настоящее время сгноить в тюрьме не может...

Судьба лжесвидетеля Шешеля тоже довольно интересна: в тюрьме он занимал привилегированное положение, пользовался правом отлучек и т. д. Это ли обстоятельство создало ему репутацию тюремного доносчика, или, раз поддавшись искушению, ему действительно не оставалось ничего другого, – но только его настигла суровая тюремная Немезида: 20 ноября 1908 года он вбежал, обливаясь кровью, со двора в тюремную больницу. Оказалось, что его порезали в мастерской ножами; от ран он вскоре умер. Так кончилась и обещанная ему кем-то карьера. Впрочем, похороны его, писал корреспондент «Подольского еженедельника», были обставлены с осо-

бой торжественностью: «Для проводов гроба на кладбище была отряжена вся мастерская... Провожал гроб и начальник тюрьмы...» Ложного доносчика хоронили с почетом, как лицо до известной степени официальное...

Имя того некто, кто сумел доказать наивному Акимову, что времена изменились совсем не в том смысле, как он думал, у многих на устах в городе Балте. Впрочем, имя людей, умеющих при помощи полицейских Шешелей так пользоваться военными судами в наше время, – легион...

Военные суды вообще изумительно легко верят оговорам, и это часто делает суд удобным орудием для сведения всяких личных счетов с неприятными людьми.

В ночь на 28 февраля 1908 года в селе Воинке, Перекопского уезда, Таврической губернии, выстрелом из ружья с улицы в окно спальни был убит «тесть известного перекопского исправника Семена Андреева» (так сказано в газетах) дворянин Владимир Пафнутьев. Чем так особенно известен исправник Семен Андреев[77] в Перекопе, мы не знаем, но его тесть «дворянин Владимир Пафнутьев»

был заведующим воинковской ремесленной школы.

Каков был педагогический ценз «дворянина Пафнутьева», мы тоже не знаем. Известно только, что прежде школой заведовал настоящий педагог Венедиктов. Он оказался «либеральным». Можно догадываться, что на этой почве в Перекопе шла некоторая борьба «благонадежности» с либерализмом, в результате которой господин Венедиктов был вынужден очистить место для тестя «известного исправника», который из патриотических соображений оказался педагогом в свою очередь. И нетрудно себе представить, что в Перекопе, или по крайней мере в перекопской ремесленной школе, обнаружились «партии»: все благонадежное стояло на стороне тестя исправника, все крамольное – на стороне прежнего заведующего. И вероятно, тестю исправника приходилось искоренять этот крамольный дух, то есть любовь питомцев к прежнему либеральному наставнику... Между прочим, на стороне Бенедиктова был и молодой учитель какого-то ремесла Матвей Редкобородый.

.....

*Благондежная сторона, разумеется, победила. Но вот раздаётся выстрел в окно – довольно обычное, к сожалению, выражение чувств молодого поколения к новым благондежным воспитателям. Розыски, конечно, тотчас и направляются в эту сторону.*

.....  
Я стараюсь представить себе этого странного человека. Молодой крестьянин, выучившийся настолько, что стал учителем ремесла в школе, несколько наивный и очень экспансивный. Он, вероятно, был под обаянием настоящего педагога, «либерального» Бенедиктова и, конечно, не мог понять, а тем более одобрить, то обстоятельство, что важное просветительное дело берется из рук талантливойго специалиста и передается «тестю известного исправника». Но в то же время он не принадлежит ни к каким крайним партиям и не одобряет убийства.

В уверенности, что содействует «делу правосудия», он во время осмотра места происшествия первый обращает внимание на пыж, который хотели просто бросить. Он не рассуждает о том, что это будет правосудие воен-

ное... Жертвой его находчивости вскоре становится действительный виновник выстрела, восемнадцатилетний мальчик, ученик школы Осадчий. Осадчий, в свою очередь, оговаривает выдавшего его учителя и... не успев, как говорится, даже оглянуться, – учитель Редкобородый видит себя приговоренным к смертной казни вместе с учеником Осадчим.

Как это могло случиться? Очень просто – оговор падает на готовую почву: вспоминается либерализм Бенедиктова, вспоминается, что Редкобородый был сторонником «либерального педагога» и противником «мученика долга», убитого тестя исправника. Прибавьте, что судит военно-окружной суд, не привыкший разбираться ни в вопросах либерализма, ни в педагогии, ни в психологии юношей, которые вовлечены в борьбу педагогической и исправницкой партий... Оговор Осадчего находит поддержку в соответствующем освещении дела, и... результат налицо.

В газетах, из которых я заимствую фактические сведения об этом деле, рассказана потрясающая сцена после приговора в одной из комнат суда: в присутствии конвойных и за-

щитника, присяжного поверенного А. Я. Айзенштейна, Редкобородый бил себя по голове и требовал от Осадчего, хотя бы теперь, снятия оговора, взывая к его совести. Осадчий плакал и молчал. Когда же конвойные не разрешили Редкобородому свидания с бывшими в суде родными, то он стал кричать: «Так пусть же меня сейчас повесят. Я не верю больше в правосудие...»

.....

*Были поданы кассационные жалобы. Казнь была приостановлена, началась длинная процедура жалоб, ходатайств и прошений. Если не ошибаемся, Осадчий был повешен ранее, а для его «учителя» потянулись долгие дни и страшные ночи, когда каждый шорох представляется идущей смертью...*

.....

Редкобородый в это время много писал своему защитнику, и в распоряжении г. Айзенштейна теперь находится, вероятно, захватывающе интересный материал с исповедью этого молодого крестьянина.

В конце концов, после очень долгого промежутка, обстоятельства, по-видимому, стали

выясняться. Кассационная жалоба Редкобородого была принята, делом заинтересовался командующий войсками... Но все эти известия пришли слишком поздно: Редкобородый не вынес душевной пытки, и его нашли повесившимся в камере, почти через год после того, как «тесть известного исправника» был убит в своей спальне, а сам он так печально для себя обнаружил «находчивость» в раскрытии преступления[78].

На той же, так сказать, «педагогической» почве разыгралось и другое печальное военно-судное дело. Это было в 1906 году. В Митаве был убит инспектор реального училища Петров. Мы не имеем о Петрове даже тех общих сведений, какими все-таки до известной степени рисуется фигура Пафнутьева. Знаем только, что он был инспектор и что обвинялись в убийстве ученики. По самым элементарным понятиям о роли правосудия военные суды совершенно, казалось бы, неуместны в таких случаях. Преступление, совершаемое юношами, почти детьми, в отношении своих «наставников», конечно, ужасно. Но не следует ли разобраться и в тех условиях, кото-



рые способны довести юные души до такой степени ожесточения? Более чем где бы то ни было тут уместен суд присяжных и широкий состязательный процесс.

Но этого единственно разумного и беспристрастного расследования у нас тщательно избегают: педагог, быть может и сам повинный в смертном грехе против ожесточенного им же юношества, в видах «дисциплины» превращается в доблестную жертву долга, и его тени приносятся умиловительные жертвы. Лишь бы скорее, лишь бы грознее и устрашительнее.

По подозрению в убийстве Петрова прежде всего арестован некто Руман, который и расстрелян по приговору военно-полевого суда. Был ли он действительно причастен к убийству или просто в несчастную минуту попал под полевую грозу – сказать теперь трудно.

Вслед за тем полиция арестовала еще брата казненного, Александра Румана, и учеников реального училища Исаака Фридлиндера и Исидора Иосельзона. Узнав об аресте брата, из Петербурга приехал Юлиус Иосельзон. Его тоже арестовали и... предали военному суду

(в Риге).

Во время разбора дела Фридлиндер (мальчик четырнадцати лет) заявил на суде, что убийцей Петрова является он один, а остальные к делу непричастны. Дело было приостановлено для доследования. Вторично оно слушалось 10 ноября 1907 года. Рижский военно-окружной суд приговорил обоих братьев Иосельзонов к смертной казни через повешение (замененное им расстрелянием), а Исаака Фридлиндера и Александра Румана к двенадцатилетнему тюремному заключению...

.....

*Приговор этот произвел в местном обществе самое удручающее впечатление. На суде Фридлиндер со слезами на глазах, стоя на коленях, уверял судей, что он убил Петрова один, и умолял их пощадить невинных.*

.....

Юлиус Иосельзон во время убийства был в Петербурге... Наконец, в суде произошел эпизод, очень редкий в практике военных судов: прокурор (зовут его полковник Хабалов) не согласился с квалификацией преступления и подал протест против применения к Иосель-

зонам смертной казни... Родители разослали просьбы всюду, куда только могли, в том числе, конечно, и генерал-губернатору.

Генерал-губернатором был... Меллер-Закомельский. Приговор произнесен 10 ноября. Пятнадцатого числа того же месяца оба брата были расстреляны. Перед смертью они призвали раввина и заявили, что умирают невинными...[79]

А затем в декабре 1907 года октябристскому «Голосу Москвы» телеграфировали из Риги: «Прокурор военно-окружного суда полковник Хабалов, подавший протест на обвинительный приговор по делу братьев Иосельзонов, отстранен от должности»[80].

Когда-нибудь этого одного факта будет достаточно для характеристики военно-судной полосы российского правосудия: «Это было время, когда прокуроры за простое заявление, согласное с законом и совестью, о неправильности смертного приговора, отстранялись от должности. Для исполнения велений совести и долга, если эти веления шли в направлении гуманности, это время требовало сверхсметного героизма...»

## Глава XII ВИНОВНЫЕ

**М**Ы видели, как порой военные суды расправляются с людьми, совершенно невиновными в том, в чем их обвиняют...

.....

*Что же сказать о тех случаях, когда перед военным судом стоят люди, совершившие в наше бурное и переходное время то или другое правонарушение, когда приходится судить открытых противников существующего строя. Во что порой превращается в таких случаях военный суд, который все же должен сохранить значение суда, взвешивающего меру «вины» и меру «наказания»...*

.....

Всякое переходное время когда-нибудь кончается. Нормы старого порядка уступают, наконец, место новым, и беспристрастная история взвешивает, в свою очередь, и добродетели, и ошибки, и самоотвержение, и преступления обеих сторон, относя все это уже не к старым или новым временным законам, а к вечным нормам справедливости, гуманно-

сти, правды... У всех культурных народов в таких случаях суд выполняет роль своего рода компаса и руля, регулирующего ход общественного корабля среди бурного смятения...

У нас эта функция взята у гражданского суда и отдана надолго, на целые годы судам военным...

Я не могу здесь исчерпать эту сторону вопроса: я брал только самые яркие факты военного неправосудия... Уже по ним можно судить о выполнении задач более тонких, сложных и требующих большего судейского беспристрастия... Но на одном эпизоде я все-таки должен остановиться. Это будет история поручика Пирогова.

Во всякой другой стране эта трагическая история привлекла бы общее внимание, вызвала бы тревогу, и имя человека, ее пережившего, приобрело бы широкую известность. У нас она прошла почти незамеченной.

Первоначальное и, кажется, единственное газетное известие, которое мне пришлось встретить об этом деле, когда я писал свою статью о военном правосудии, гласило просто, что главный военный суд, рассмотрев в

кассационном порядке дело поручика Пирогова, трижды приговоренного к смертной казни приамурским военно-окружным судом, постановил: уничтожить не только приговор, но и все делопроизводство, начиная с предания суду...

Это ошеломляющее известие поразило меня даже после знакомства с изложенными выше фактами. Я вывел заключение, что поручик Пирогов наиболее полно пережил своеобразную современно-русскую радость: трижды приговоренный к смерти – он отпущен теперь на свободу, и ему предоставлено вменить все пережитое, яко не бывшее.

Некоторые частные сведения, которые мне удалось собрать, подтверждали это заключение, и в своей статье (в «Русском богатстве») я так и излагал этот случай, причислив поручика Пирогова к «обрадованным русским людям»...

Оказалось, что я грубо ошибся. Это было иначе, и... это было гораздо печальнее...

Поручик Пирогов, происходивший из крестьян, служил в составе туркестанских батальонов. До войны это был, по-видимому, про-

сто офицер с традиционными взглядами военной среды. В конце 1904 года он добровольно изъявил желание перевестись на театр военных действий. Причисленный к одному из восточносибирских стрелковых полков, Пирогов уже в начале 1905 года был на передовых позициях. Здесь он нес службу честно и с мужеством. Если не ошибаюсь, получил знак отличия за храбрость. В феврале он участвует в трехдневных боях под Мукденом и, по заключении мира, остается на передовых позициях в качестве начальника охотничьей команды, неся ответственную службу разведчика...

.....

*Известна и история, и финал этой несчастной войны. Известно и то, какое влияние она оказала на события в России. Легко понять, как действовали все эти события там, на месте, на полях, покрытых еще свежей русской кровью, пролитой так бесплодно и часто так легкомысленно... Это был психический взрыв, своего рода циклон, охвативший дальневосточную армию... Газеты были полны известиями*

*о том, что делалось во Владивостоке  
и по всему сибирскому пути...*

.....  
Все это сильно подействовало и на молодого офицера «из крестьян», с такой готовностью добровольно принесшего на эти поля свою молодую жизнь. В декабре 1905 года он попадает в Читу уже в том настроении, которое охватило тогда очень многих, как водоворот, как эпидемия, как пожар. Девятнадцатого декабря он был избран в читинский комитет «военного союза», а 12 февраля к Чите подошел карательный поезд генерала Ренненкампа...

«Столица Забайкальской Республики» не оказала ни малейшего сопротивления. Начались казни: Пирогов вместе с другими не мог не знать, что его ожидает: он скрылся и перешел на нелегальное положение. Затем он с увлечением отдался революционной деятельности, уезжал в Японию, опять появлялся в Сибири и участвовал в «военной организации» в Никольск-Уссурийском крае. Здесь он был арестован и предан военному суду, который и приговорил его в первый раз к смерт-



ной казни».

Его кассационная жалоба, выставлявшая очень веские юридические основания, не была пропущена. Командующий войсками генерал Унтербергер, не дав хода кассационной жалобе, заменил смертную казнь бессрочной каторгой...

Вечная каторга является, конечно, «смягчением» по сравнению со смертной казнью. Однако, по очень компетентному мнению выдающегося юриста, есть большое основание думать, что кассационная жалоба должна была повести к смягчению гораздо более значительному вследствие неправильной квалификации самого преступления...

.....

*Как бы то ни было, приговор «временного» суда, хотя и не прошедший всех инстанций, вошел в «законную» силу. Существующий порядок свел свои счеты с поручиком Пироговым, и для последнего началось течение «вечной каторги». Казалось, над его головой сомкнулось забвение...*

.....

Но вот приамурский военно-окружной суд

вновь вспоминает об осужденном; возбуждается «новое» дело, поручика Пирогова судят вторично и... вторично приговаривают к смертной казни... К великому счастью осужденного, суд совершает процессуальную ошибку, не допустив защитника. Последовала кассация приговора и новое (уже третье) разбирательство.

И в третий раз приамурский суд приговаривает поручика Пирогова к смертной казни...

На этот раз дело суда сделано чисто: защитник был допущен, никаких, по-видимому, формальных правонарушений и кассационных поводов не было. Вторичное «помилование» по обстоятельствам невероятно. Ведь не затем же вновь вызвали поручика Пирогова, чтобы опять только вернуть его в вечную каторгу... Приамурский военный суд, очевидно, добивается казни.

Итак, разумной надежды нет; может быть только безумная фантазия, невозможная греза больного, истомившегося воображения... Поручику Пирогову кажется, что все эти два новых акта его трагедии – простое недоразу-

мение... Сейчас откроется дверь камеры, придут и скажут: «Все это, поручик Пирогов, была простая шутка. Не только казнить вас, но и судить вновь было не за что!»

Бедный поручик Пирогов! Ну можно ли даже перед лицом смерти предаваться таким иллюзиям? Можно ли думать, что в нашем отечестве есть учреждение, все-таки именуемое судом, которое может придумать такую мрачную шутку с человеческой жизнью? И не только придумать, но и провести по всем инстанциям и повторить с полной серьезностью два раза?..

Оказывается, однако, что это грезит вовсе не подсудимый, у которого закружилась голова от жестокой игры на смертной качели. Все это представляется не поручику Пирогову, а его защитнику, О. О. Грузенбергу, одному из известнейших русских юристов. Неужели и на знаменитых русских адвокатов эти судебные драмы могут подействовать так сильно?

Да, очевидно, могут. Но что еще удивительнее – это то, что чисто бредовая идея О. О. Грузенберга заражает даже членов главного военного суда, который выслушивает его

соображения и постановляет, что действительно не только двойной приговор к казни, один раз им самим утвержденный, но и самое предание вновь суду уже раз осужденного поручика Пирогова есть простое и грубое недоразумение. И все новое делопроизводство приамурского военно-окружного суда подлежит уничтожению!!!

Как это могло случиться?

Порой самые фантастические явления находят простое объяснение. Отыскивая с тревожным чувством поводы для безнадежной кассационной жалобы, защитник О. О. Грузенберг, не ограничиваясь последним судопроизводством, стал изучать дело с его возникновения, то есть с первого приговора временного военного суда в селе Раздольном. И при этом он был поражен открытием: обвинительный акт по «новому» делу составлял точную и дословную копию старого раздольнинского акта. В нем были лишь изменены даты и место действия: Никольск-Уссурийский вместо села Раздольного! Простой и трагический в своей простоте факт: поручика Пирогова вновь судили и дважды подвели

к виселице за то же дело, по которому он уже отбывает наказание. Первый обвинительный акт превращен в стереотип, по которому приамурский военно-окружной суд мог добиваться смертной казни для Пирогова сколько угодно раз, не затрудняя себя даже новой формулировкой обвинения...

### **Глава XIII**

### **Заключение**

**В**от письмо, имеющее прямое отношение к истории поручика Пирогова.

*«Дорогой отец!*

*Вероятно, вам уже известно о моей судьбе, но очень важно, за что я приговорен. Я познакомился с двумя сотрудниками газеты „Уссурийский край“ и часто посещал эту редакцию. Раз я сам написал статейку, которая была потом отпечатана. Спустя немного времени в редакции был произведен обыск, и некоторые были арестованы. Арестовали нас семьдесят человек, арестован также и один офицер, поручик Пирогов. Обвиняли нас в принадлежности к военно-революционной организации. Никаких фактов, доказа-*

тельств, а устроили прямо...[81] Маса пострадала невинных, так как все обвинение основывалось на предположениях. Так, меня обвиняют на том основании, что я дружил с журналистом Телятниковым и имел сношение с поручиком Пироговым, а посему я, вероятно, состоял членом с. р. в. комитета. Как видите – только по одному предположению. И на этом основании я приговорен к... (многоточие в подлиннике. Сын не решается написать в письме к отцу настоящее слово). Я прошение о смягчении подал на имя командующего войсками о замене каким-либо другим наказанием, но надежды никакой у меня нет. Не я первый, не я последний. Жертв принесено... (пропускаем кому. – Прим. авт.) довольно много, и я тоже пал жертвою этих жестоких расправ. Пощады от генерала Шинкаренка никто не ждет. Прощайте, мой дорогой отец, прощайте! Любящий вас ваш сын Исаак Итунин.

Окт. 12 дня 1907 года.

Гарнизонная гауптвахта, г. Никольск-Уссурийский».

Вот каким языком говорит сама действительность. Вы видите: автор письма ни перед кем не заискивает. Он пишет слова, которые мы заменили многоточием, и в сторону генерала Шинкаренко кидает простую и мужественно холодную фразу: «от него пощады никто не ждет». Да, это голос смерти, то есть самой правды... А за ним [Итуниным] следует целая толпа пострадавших в Никольске-Уссурийском от такого суда... И всем был прекращен доступ к последней инстанции...

Так творится эта неслыханная парадоксальная «закономерность», к которой нас стараются приучить в последние годы.

О количестве тех «необрадованных», хотя и невинных русских людей, которых настигла плохо разбирающаяся военная Немезида, можно судить лишь гадательно, по грубому глазомеру. И прежде всего по исключениям, подтверждающим правило. Приведенные выше эпизоды с благополучной развязкой громко кричат о страшной легкости приговора над невинными, о необыкновенной беспечности и неряшливости предварительного следствия, о странной доверчивости военных

судей к показаниям охранников, провокаторов, сыщиков всякого рода, заведомых клятвопреступников, отбросов общества, нередко с отвратительным уголовным прошлым.

В июне настоящего года в Тифлисе судили шестнадцатилетнего Кутуладзе и девятнадцатилетнего Степана Гидрова, обвинявшихся в убийстве сыщика. Грозилась смертная казнь. Дознание производил начальник сыскного отделения Рокогон, являвшийся и главным свидетелем. К счастью, ко времени суда этот господин, от которого, может быть, зависела жизнь мальчиков, сам уже был под стражей за «преступления по должности» и в суд для свидетельских показаний был приведен из тюрьмы под конвоем. Мальчиков оправдали [82].

В Киеве недавно группа обывателей обратилась к прокурору с жалобой на полицейского агента Эльгарта, одолевшего их шантажом, угрозами и вымогательствами в пользу пристава. Телеграмма заканчивается красноречивой фразой: Эльгарт известен как «постоянный свидетель» по полицейским делам [83].

В июне текущего года в Петербургской су-



дебной палате разбиралось дело северо-западного отряда партии с.-р., возникшего по оговору некоего Падсюка, тоже «состоящего при охранном отделении в качестве постоянного свидетеля»[84]. На суде один из свидетелей привел секретное отношение охранного отделения, которое ему удалось добыть из производства военного суда. В нем само охранное отделение признает, что большинство оговоров Падсюка является фантастическими измышлениями с целью избавиться от каторги. Судебная палата после десятиминутного совещания оправдала всех подсудимых. Но этих радостных десяти минут подсудимые ждали... три года!

По таким данным людей арестуют с изумительной легкостью, затем с беспечным формализмом составляют обвинительные акты и передают военному суду... А сесть в военном суде на скамью подсудимых – это значит почти верное осуждение.

Мне уже приходилось ссылаться на замечательные очерки господина С. («Смертники») в «Вестнике Европы». Прекрасный наблюдатель, поставленный превратными рос-

сийскими судьбами в «отличные условия» для наблюдения, автор этот со спокойной печалью и трезвою сдержанностью присматривался к «бытовому явлению».

.....

*Между прочим, он задавался также вопросом: сколько невинных отправляется по зорям тюремными коридорами на задние дворы, где их ждет виселица?*

*Ответ его ужасен. Тюремное население – арестанты, надзиратели, начальники и, наконец, конвойные – отлично знают, кто именно из судящихся привлечен напрасно. Но... им приходится молчать.*

.....

Не их дело! Их дело сторожить и водить на казнь. По словам господина С., кроме обычных подразделений (политики, уголовные, политико-уголовные, террористы, вымогатели), тюрьма знает еще широкое подразделение смертников на две группы: действительно виновные в том, за что их судят, и совершенно неповинные в деяниях, за которые придется умирать.

По наблюдениям автора, процент невинно осуждаемых и невинно казнимых среди политико-уголовных достигает чудовищной высоты. Конвойные, сопровождающие осужденных в суд, несколько раз говорили ему, что среди осужденных на смерть лишь половину составляют виновные, а другую половину невинные. «Конечно, – осторожно оговаривается автор, – здесь есть преувеличение: я думаю, что число невинных, приговариваемых к казни, редко поднимается выше трети (!), а по большей части составляет не более четверти или одной пятой».

Примем наименьшую из допускаемых автором цифр. Пусть это будет одна пятая. Двести человек на тысячу.

С начала нашего обновления число казненных превысило уже три тысячи. Значит, по этому минимальному расчету за истекшее пятилетие около шестисот человек в нашем отечестве казнены невинно (если не считать, конечно, работы военно-полевых судов). Прибавьте еще сюда переживших ужас смертного приговора и потом помилованных на вечную или долгосрочную каторгу... Голова кружится

при мысли об этих страшных цифрах, из которых каждая единица есть человеческая жизнь, а за ней – невыразимые страдания отцов, матерей, целых семей.

То, что у нас теперь творится, отвратительно и ужасно. Озверевшие люди врываются в квартиры, насилуют, убивают... Останавливают на дорогах, шлют угрозы, среди белого дня входят в дома и ведут переговоры о цене вашей жизни. Сердце сжимается от ужаса при одном описании свирепого убийства семьи Быховских...

Ну а картина судебного убийства Глускера? Что ужаснее? Страшное пробуждение, несколько минут кошмарной борьбы и смерть или недели ожидания, когда видишь, что кругом тебя смыкается сеть лжесвидетельства, недоразумений и непонимания. Потом приговор, и вам указывают вперед: вот в такой-то день и час мы придем к тебе, сведем на задний двор и задушим... И придут, и сведут. И задушат...

И вы знаете, что, стоит вам добиться, чтобы пересмотрели дело, чтобы вызвали помещицу Гусеву, чтоб проверили показания лже-

свидетелей Эльгартов и Падсюков, и вы будете свободны. Но у дверей вашего склепа, кроме логики военного правосудия, которая и сама по себе ужасна, стоит еще генерал Каульбарс, или генерал Ясенский, или генерал Скалон, и говорят: «Заприте дверь покрепче, чтоб его жалоб не услышал...» Кто же? Главный военный суд!

Припомните самые страшные рассказы, оставшиеся в народной памяти от древних времен, когда над бесконечными пространствами России еще шумели дремучие брянские леса, и потом сравните их со следующей бытовой картиной, которую г. С. выхватил прямо из современной действительности.

Их четверо. Один анархист и четыре деревенских мужика, осужденных невинно по обвинению в поджоге. Одного уже увели, и дело с ним кончено.

– Следующий!

Щелкнул замок секретки.

– Твое имя?

И опять беспомощный, наивный деревенский вопль.

– Не я, ваше благородие, видит бог не я!

Родненькие мои, да как же так?

– Помолчи. Тебя как звать? А. Ну хорошо... По указу его величества... через повешение. Священника примешь?

– Батюшка, перед богом, невинен я... Семья дома.

И чей-то благочестивый густой голос успокаивает:

– Ну хорошо, хорошо... Встань на колени... Вот так... Молись... И аз недостойный иерей, властью его, мне данною, прощаю и разрешаю... Ну встань... Вот крест... Поцелуй. Ну так.

– Готово?

И благочестивый голос ответил:

– Готово!..

Теперь скажите: не кажется ли вам, что нет страшного рассказа, который был бы страшнее этого? И смягчается ли ужас этой смерти оттого, что эти люди встретили ее не спросонок, не неожиданно в полусознательном кошмаре и среди борьбы, а после целых недель ожидания?.. И что над ними звучит не приглушенное рычание озверевших банди-

тов, а холодное размеренное чтение «законного акта» и «сочный, благочестивый голос» пастыря церкви?

1910

## **Истязательская оргия\***

**С**татья впервые напечатана в газете «Речь» 18 декабря 1911 года № 347. Включена писателем в девятый том полного собрания сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1914 г.

*Псковская Центральная каторжная тюрьма была открыта в декабре 1908 года. В ней содержались тысяча уголовных и сто пятьдесят политических заключенных. По тяжести режима она считалась на первом месте среди всех тюремных централов. В Псков переводили «для исправления» заключенных из других тюрем. В октябре 1911 года политзаключенным удалось передать обращение «Ко всем социалистическим партиям в России и за границей». В прогрессивной печати началась кампания против истязаний заключенных в псковском*

центrale. Статьи Короленко сыграли большую роль в этой кампании. В декабре 1911 года в псковском центре возникла голодовка заключенных, выставивших ряд требований. Через четыре дня тюремное начальство уступило, и режим был несколько смягчен. В мае 1914 года снова была объявлена голодовка, в которой участвовало 286 человек. Социал-демократическая фракция Государственной думы внесла запрос о голодовке, но его рассмотрению помешала начавшаяся война.

В № «Речи» от 16 декабря, в статье г. Базилевича, были обрисованы «порядки», царящие в псковской каторжной тюрьме. То, что отчасти описал г. Базилевич, глухо доносилось и ранее из-за мрачных стен этой тюрьмы, и, наконец, ужасающий режим разразился «естественными» последствиями: сто пять человек объявили голодовку, а начальство приняло против этого акта отчаяния свои обычные меры. Прежде всего трое зачинщиков подвергнуты порке.

Теперь предо мною номера двух местных



газет: «Псковской жизни», газеты прогрессивного направления, и «Правды», органа местных «националистов». Вот что пишут в этих газетах, представляющих два противоположных течения псковской общественной мысли и зависящих всецело от дискреционной власти местной администрации.

«Псковская жизнь» сообщает лишь факты. Статья ее начинается словами: «Нами получено письмо из каторжной тюрьмы...»

В письме потрясающие дополнения, варианты и иллюстрации к тому, что оглашено в «Речи». Точнее называются имена, подробнее излагаются события: предатель, нарочно посаженный начальником тюрьмы в камеру, чтобы раздражать ее и провоцировать какие-нибудь эксцессы, называется Плохой.

.....

*Душевнобольной, которого тот же начальник лечил собственными средствами, нарочно удерживая его в той же камере, где он считал себя окруженным врагами, – Клементьев. Несчастный в конце концов покончил самоубийством, но, по одним лишь показаниям бедного манака, подстре-*

*каемого провокатором, перепорото  
розгами восемь человек. Врачи конста-  
тировали острое помешательство  
Клементьева...*

.....  
Заклученный Николай Иванов отказался  
в Пасху принять «красное яичко» из рук, ко-  
торые запятнаны такими «христианскими»  
делами. На всякий беспристрастный взгляд,  
заклученный Иванов проявил только более  
искреннее и правдивое отношение к трога-  
тельному пасхальному обычаю, чем его на-  
чальник. В Пасху его не пороли, но затем...  
его высекли уже за то, что он «не смотрел в  
глаза своему начальству»...

Кроме того, старший надзиратель Брюмин,  
явившись к Иванову в одиночку с двумя дру-  
гими надзирателями, набросились на него и  
стали избивать, причем один из них держал  
за ноги, другой давил горло, а Брюмин бил  
пашкой, пока вся постель не была залита  
кровью... Это говорит заклученный... Но он  
ссылается на свидетеля. И этот свидетель –  
тюремный священник Колиберский.

В нашем распоряжении есть еще много

других фактов, подобных этим и даже более ужасных. Но – пока разве недостаточно и того, что огласили местные газеты?

.....

*По каторжной анкете, приводимой г. Базилевичем, по разным причинам, вроде указанных выше, ста тридцати заключенным было дано 5625 ударов розгами.*

*Пять тысяч шестьсот двадцать пять!..*

*Жаловаться?.. В той же псковской газете сообщается, что заключенные жаловались...*

.....

Это был героизм: они излагали свои жалобы самому г. Хрулеву, и тут же стоял начальник тюрьмы. Господин Хрулев – человек гуманный. Газета приводит две его чрезвычайно благодушные фразы, которые, по-видимому, должны были бы утешить и тех восемь человек, которых пороли из психиатрических соображений, для пользы бедного маниака, и того Николая Иванова, которого в глухом каземате три человека (?!) душили за горло и заливали кровью. Первым г. Хрулев ска-

зал: «Дело прошлое, надо простить!» Второму: «Это было давно, надо забыть!...»[85]

О, я, конечно, понимаю: это г. Хрулев только поддерживал престиж власти. Может быть... вероятно... скажем даже, наверное, наедине с г. Черлениовским г. Хрулев так же гуманно и мягко сказал свое «надо простить» и истязателю... Он только не принял в соображение, что есть вещи, которые не покрываются простым благодушием. У него просили справедливости, а не прекраснодушия. А отказ в такой справедливости доводит до крайнего отчаяния.

И вот после «ревизии» господина Хрулева сто пять человек решаются голодать, а тюремный начальник напутствует их... розгами... Жестокость всегда цинична!

Таковы известия псковской прогрессивной газеты. В Пскове есть еще газета монархистов «Правда». Передо мной номер 82-й этого националистического органа (от 14 декабря). Тут есть статья: «Россия, Америка и евреи», есть нападки на елецких «кадет», «втершихся в городскую думу», вообще все, что можно обычно встретить в органах этого рода. Но

есть также статья о тюремных патронатах и затем, будто обведенная траурной рамкой, бросается в глаза заметка: «По поводу порядков в нашей каторжной тюрьме».

«Когда появилась в „Псковской жизни“ первая заметка о порядках, установленных г. Черлениовским в местной каторжной тюрьме, – пишет сотрудник газеты, подписавшийся буквою И., – мы ожидали, что по поводу изложенных в ней некоторых фактов последует если не опровержение, то какое-либо разъяснение из официальных сфер, тем более что в заметке сделаны были прямые ссылки на личность главного начальника тюремного управления и на его отношение к обнаруженным ревизией тюрьмы некоторым непорядкам...

Ни разъяснений, ни тем более опровержений не последовало... что дает нам известное право заключить, что бóльшая часть данных, приведенных в письме арестанта, соответствует действительности... В настоящее время новым подтверждением служат факты, оглашенные „Жизнию“ от 13 декабря».

Отсюда газета заключает, что начальник

псковской тюрьмы, прибегая к описанным карательным и репрессивным мерам, «далеко перешел за пределы разумной и неизбежной строгости»...

До сих пор газета держится условно в пределах сообщения «Псковской жизни». Но дальше она говорит прямо от себя, что, по ее мнению, г. Черлениовский «...вполне заслуживает обращения к нему не только со столбцов местной печати, но и со стороны всех знакомых с его тюремной деятельностью частных лиц обвинения в жестокости и полной бессердечности»...

Не принадлежа к категории лиц, «которые желали бы обратить наши тюрьмы в богадельни», автор статьи находит, однако, что «начальник тюрьмы все же должен смотреть на находящегося в его ведении заключенного... как на человека, а не как на бездушную, обреченную на безысходные страдания тварь, по отношению к которой допустимы всякие насилия и, что еще хуже, издевательства». Поэтому, – заключает автор заметки, – «мы объявляем себя всецело солидарными со взглядами, излагаемыми по поводу деятель-

ности г. Черлениовского в местных газетах, и разделяем выражаемое ими чувство искреннего возмущения»[86].

.....

*Итак, весь Псков знал о том, что жестокость тюремной администрации давно вышла за пределы «разумной строгости», что в тюрьме с заключенными обращаются не как с людьми, а как «с тварями». Ужасы псковского застенка, просачиваясь сквозь его стены, возбуждали в городе осуждение и негодование...*

.....

Не значит ли это, что мера истязательства переполнена? Эти ужасы вышли уже за пределы крайних политических разноречий, даже крайних политических страстей. Это мучительство и эти страдания заставляют смолкнуть политику, апеллируя ко всякому сердцу, в котором еще не вполне заглохло человеческое чувство, вызывая движение сочувствия и жалости даже к политическим врагам, чувство гнева и отвращения к таким союзникам...

Теперь Псков является ареной захватыва-

ющей и потрясающей трагедии. 15 декабря в «Псковской жизни» писали, что «голодовка в тюрьме продолжается. Некоторые из голодающих проявляют большую слабость... Тюремму посетил жандармский офицер г. Злобин...» Этот ужас продолжает, значит, висеть над городом, объединяя общество в одном чувстве. Но что может сделать общество? Растерянная администрация предоставляет местной прессе кидать свои страшные обвинения... А в это время сто пять человек пытаются умереть, а тюремная администрация, быть может, опять розгами стремится возбудить в них охоту к жизни.

Верхотурье, Вятка, Пермь, Вологда, Зерентуй... Теперь Псков! Что это за ужасная «автономия истязательства» за этими каторжными стенами!..

1911



## Честь мундира и нравы военной среды

Очерк «Честь мундира и нравы военной среды» автор опубликовал в продолжение своей работы, посвященной особенностям военного правосудия. Опубликован очерк был в 1912 году.

### Два убийства

Нам приходится отметить два печальных случая, жертвами которых сделались почти одновременно два провинциальных писателя.

В истекшем месяце, в болгарском поселке Катаржине (Херс. губ.) убит сотрудник одесских газет г. Сосновский. Он работал в «Новоросс. Телеграфе» и, как сообщают газеты, в ряде статей уличал местных переселенцев-болгар в недостатке русского патриотизма и в сепаратистских стремлениях, выражавшихся, между прочим, в том, что болгары женятся только на болгарках, избегая браков с русскими и т. д. «К несчастью, – говорит одна из газет, – с появлением этих статей совпали некоторые репрессии по отношению к жителям

села, и они приписали это влиянию корреспонденций Сосновскаго». По-видимому, из своей родины катаржинские болгары вынесли чисто турецкие нравы, которые еще не успели исчезнуть на новом месте. Корреспондент найден убитым в своей квартире. Впрочем, следствие откроет виновных в этом диком зверстве, и во всяком случае, огульные обвинения по адресу каторжанских жителей вообще пока преждевременны.

К сожалению, никаким сомнениям и смягчениям не подлежит другое событие такого же рода. Уже и теперь оно освещено многочисленными корреспонденциями столичных и провинциальных газет с самой трагической полнотой и ясностью. Дело состоит в следующем.

В Ташкенте проживал сотник 5-го оренбург. казачьего полка Колокольцев, имевший жену и 2 детей. На квартире у него, в качестве постояльцев, жили сотник Мальханов и дворянин Джорджикия, грузин, бывший чиновник, а в данное время служащий в частном обществе транспортирования кладей. Г. Джорджикия, по отзывам знавших его, был

человек порядочный, скромный и уживчивый. К сожалению, жильцам пришлось вскоре стать свидетелями таких проявлений «домашней жизни» в семье сотника Колокольцева, которые не могут оставить равнодушным самого черствого человека. По словам обвинительного акта, составленного впоследствии против Джорджикиа, сотник Колокольцев... «пьянствовал, унижал жену, бранил ее площадной бранью, не стесняясь ни родных, ни знакомых, и бил ее» («по большей части по голове», – прибавляет официальный документ для точности). Джорджикиа старался удержать Колокольцева и имел на него некоторое влияние – Колокольцев иногда его слушался, порой обнимал, но возмутительные безобразия продолжались. После встречи Нового года сотник Колокольцев, вернувшись домой пьяный, стал опять истязать жену: сжег на террасе ее платье, стрелял в комнатах из револьвера, «подносил спичку к голове жены» и жег волосы. Джорджикиа отнял у него револьвер, которым, между прочим, истязатель (по-видимому, душевнобольной) грозил застрелиться. Нужно заметить при этом, что

у Джорджикия была невеста и о каких бы то ни было романтических отношениях между ним и г-жой Колокольцевой не могло быть и речи. 2 января эти безобразные сцены продолжались, и несчастная жертва вынуждена была сначала скрыться в комнате сотника Мальханова, а затем, с двумя детьми – в гостинице Александрова. Джорджикия же кинулся к товарищам и начальству Колокольцева, прося принять какие-нибудь меры... Командир, полковник Бояльский, послал к Колокольцеву адъютанта Сычева. Последний сообщил Джорджикия, что Колокольцев «дал ему слово» больше не безобразничать. Понятно, что слово иступленного и совершенно невменяемого человека никакого значения не имело. При встрече с Джорджикия Колокольцев сообщил, что он сейчас едет в гостиницу Александрова, где (как он будто бы узнал от своего начальства) скрывается его жена, и притащит ее за волосы. При этом он опять стал требовать отнятый револьвер, который Джорджикия спрятал к себе в карман. Испуганный угрозами Колокольцева, Джорджикия бросился в гостиницу, чтобы препро-

водить поскорее несчастную женщину с детьми хотя бы в полицию, – но было уже поздно: в коридор уже входил Колокольцев.

.....

*Тогда, не помня себя, со словами «Николай Павлович, Николай Павлович» он выхватил спрятанный в кармане револьвер и произвел в Колокольцева 5 выстрелов, причинивших, впрочем, лишь легкие раны (Колокольцев находился в госпитале с 3-го по 7 января).*

.....

Вследствие этого дворянин М. И. Джорджикия был предан суду по обвинению в том, что «3 января 1899 года в городе Ташкенте, в номерах Александрова, в запальчивости и раздражении, вызванном внезапным появлением сотника 5-го оренбургского казачьего полка Ник. Павлова Колокольцева в то время, когда он хотел спасти жену последнего от его преследований, с целью лишить жизни Колокольцева сделал в него почти в упор 5 выстрелов из револьвера, но по независящим от Джорджикия обстоятельствам смерти не последовало»[87].

Защитником Джорджикия выступил в су-

де частный поверенный и редактор «Русского Туркестана» Сморгунер. По долгу совести, он сказал в пользу обвиняемого все, что был обязан сказать, в том числе, конечно, указал на безуспешные усилия Джорджикия оградить женщину от диких истязаний... Суд, признав Джорджикия виновным, постановил, ввиду выяснившихся обстоятельств дела, ходатайствовать о полном помиловании обвиненного. Сморгунер, в качестве редактора местного органа, начал печатать сухой судебный отчет в «Русском Туркестане».

Между тем по городу распространился слух, будто в своей защитительной речи Сморгунер сказал: «гг. казаки днем бьют нагайками лошадей, а ночью своих жен». Теперь уже совершенно известно, что фразы этой Сморгунер не говорил. Вся речь его была вполне корректна, и ни разу он не был остановлен председателем. Тем не менее командир пятого оренбургского казачьего полка, полковник Сташевский, считая эти (несказанные) слова оскорбительными для чести полка, явился 2 сентября в квартиру Сморгунера и стал бить его нагайкой, говоря, что казаки

умеют бить не одних жен. Сморгунер схватил стул, а г. Сташевский выхватил револьвер, который, к счастью, дал осечку.

Тогда недовольный, очевидно, сомнительным исходом столкновения и раздраженный попыткой Сморгунера предать гласности его покушение [88], полковник Сташевский решил довести дело до конца. Это было нетрудно, так как Сморгунер, по-видимому, человек мужественный, по-прежнему являлся в суд и всюду, где этого требовало исполнение его обязанностей. 4 сентября полковник Сташевский пришел в канцелярию суда, вооруженный револьвером, и здесь убил наповал безоружного адвоката-писателя.

Еще и до настоящего времени вся русская печать, столичная и провинциальная, полна отголосками этой трагедии. Местный официальный орган («Туркестанские Ведомости») посвятил памяти Сморгунера теплую статью, кончающуюся словами: «Мир праху твоему, честный ратоборец печатного слова». Из других (очень многочисленных) отзывов мы приведем здесь письмо Джорджикия, напечатанное первоначально в «Астраханском Листке»

и обошедшее все газеты.

.....

*«За что погиб человек? – спрашивает Джорджикия. – Зачем убийца ворвался в храм правосудия, где раздается голос Александра II, сразил безмездного защитника угнетенных и чистой кровью его обрызгал храм правосудия, представители которого, наравне с обществом, убиты горем? На этот вопрос, – клянусь свежей могилой Сморгунера, – я отвечу без всякой злобы одною правдой».*

.....

«День 14 мая, – продолжает Джорджикия, – был счастливейшим днем для русской Средней Азии. Старое судопроизводство уступило место окружным судам. В состав судей были назначены новые лица из центра России, девизом которых было и есть: «Защита правды и справедливости». С какою желчью и нежеланием старые помещики расставались со своими правами в 1861 г. – с такою злобою и ненавистью встретили некоторые лица в Средней Азии судебную реформу. Вчерашние всемогущие миниатюрные Тамерланы сего-



дня, благодаря судебной реформе, становились ничем... В этот именно момент неравной борьбы устарелых традиций со свежеею образованною силою, ратующей за правду и истину, было назначено к слушанию и мое дело».

Переходя затем к самому важному моменту процесса, Джорджикия передает содержание своего показания перед судом:

.....

*«Господа судьи, – сказал он, – может быть, у вас возникнет вопрос – почему сотник Колокольцев во время пьянства придирался к жене, а не к другим лицам? На это отвечу: потому, что в подчинении сотника Колокольцева находились два существа – жена и лошадь; когда он пьян, что бывало каждый день, то днем загонял и бил плетью лошадь, а по ночам колотил жену; к стороннему лицу он не мог придираться, ибо мог получить взаимное оскорбление!»*

.....

«Этого выражения Сморгунер не цитировал и вообще на эти слова никем не было об-

ращено внимание. Да, наконец, оно не могло относиться, помимо самого Колокольцева, к его сослуживцам и к целому полку».

Справедливо указав на то, что полковник Сташевский имел полную возможность обратиться к председателю суда или прокурору, которые не преминули бы разъяснить «недо-разумение» и убедить его, что из уст Сморгунера не исходили оскорбительные слова ни по чьему адресу, – г-н Джорджикия утверждает, что убийце и не нужно было выяснение истины. «Просто он остался недоволен приговором, вообразив виновником его моего защитника, кровожадно расправился с ним, кстати, избрав местом мщения канцелярию суда. Сморгунер убит за то, что он стоял за правду, за то, что около него сгруппировалась вся местная интеллигенция, чуждая интриг, низкопоклонничества и заискиваний». Своею крошечной газетою, «Русский Туркестан», Сморгунер язвил окраинные порядки[89]...

Хотелось бы думать, что хоть этот яркий пример послужит к просветлению извращенных понятий о чести, жертвою которых сделался покойный. Застрелить опытной рукой

человека в черном сюртуке, не умеющего защищаться, застрелить с вероятностью несо-размерно легкого наказания, – нет, в этом не может быть ни мужества, ни истинного до-стоинства, ни чести. А вот стоять на своем по-сту, в сознании гражданского долга, презирая гонение и опасность, как устоял до конца Сморгунер, в этом есть и честь, и мужество, и та истинная красота, которую одну только должно ценить, перед которой одной долж-ны преклоняться все мы, без различия про-фессий и состояний.

Газеты сообщают, что семья Сморгунера осталась без всяких средств к существованию.

1899 г.

**«Тень Сморгунера»**  
**(К делам ген. Ковалева и**  
**Е. Голицынского)**

**Ч**итателям «Р. Бог.» памятно еще, вероятно, громкое дело казачьего полковника Сташевского, застрелившего из револьвера беззащитного редактора газеты «Русский Туркестан» Сморгунера. В свое время в нашем журнале были напечатаны подробности этого

возмутительного убийства. Полковник Сташевский был судим и понес наказание. Не касаясь размеров этой кары и вопроса об ее соответствии с преступлением военного, напавшего с оружием в руках на мирного гражданина, мы должны сказать, что, по-видимому, уголок российской империи за Каспием особенно изобилует «героями в мирное время», для которых личность и даже жизнь их мирных сограждан представляется чем-то совершенно ничтожным и ни в какой мере не ограждаемым существующими законами. Так, по крайней мере, заставляют думать новые дела, громкие отголоски которых вновь доносятся до нас из-за Каспия...

В марте настоящего года все газеты облетело известие о том, что один из врачей в одном из городов подвергся тяжкому насилию со стороны одного из лиц, занимающих видное положение». Известие было перепечатано во всех русских, столичных и провинциальных газетах, и общественное мнение чутко насторожилось. «Мы ждем, что суд прольет свет на это мрачное дело», – писали в «Русских Ведомостях», и другие органы печат-

ти выражали надежду, что уже прошли времена, когда насилия, совершаемые «лицами, занимающими видное положение», проходили безнаказанно и дела об них «заминались». Еще через некоторое время таинственность, окружавшая это происшествие, постепенно рассеялась, и имена участников стали достоянием гласности, как и подробности факта. Главным его героем оказался генерал Ковалев, бывший тогда начальником Закаспийской казачьей бригады. У этого генерала явились какие-то счета со старшим врачом Среднеазиатской дороги, г. Забусовым. Что это были за счета и в чем они заключались, – совершенно неизвестно; дело, очевидно, партикулярное. Факт состоит в том, что 14 марта настоящего года генерал Ковалев пригласил к себе г-на Забусова, как врача к больному, приказав предварительно казенной прислуге (т. е. денщикам) нарезать розог и позвать четырех военных писарей, т. е. нижних чинов, состоящих на службе под его начальством. Не подозревая предательства, доктор, позванный к больному, явился в квартиру генерала. Г. Ковалев предложил ему угощение, а затем,

по данному знаку, вошли 7 казаков... Таким образом против одного врача, предательски вызванного для исполнения обязанностей его профессии и, конечно, безоружного, в квартире позвавшего его притворно-больного оказался целый отряд казаков. По приказанию генерала Ковалева, принявшего команду над отрядом, «казаки растянули доктора, – так лаконически говорится в обвинительном акте, – и подвергли его жестокому истязанию розгами».

По-видимому, генерал, устроивший эту засаду, рассчитывал на то, что подвергшийся насилию г. Забусов из чувства стыда умолчит об этом происшествии... Тогда, конечно, в «обществе» начались бы перешептывания и те подлые, злорадные толки, которые всегда к услугам торжествующего насилия. Но г. Забусов обманул ожидания генерала Ковалева. Он решил, что невозможность защититься от нападения одному против семи не составляет позора и что, наоборот, позор на стороне устроивших засаду. И поэтому доктор Забусов огласил факт и призвал генерала Ковалева на суд официальный и на суд общественного

мнения.

Общественное мнение высказалось вполне определенно. «Многоуважаемый товарищ, Николай Петрович, – говорит, например, один из адресов, посланных пострадавшему:

– Общество русских врачей в Петербурге, ознакомившись в заседании своем 13 мая с историей возмутительного оскорбления и предательского насилия, которому вы подверглись со стороны генерала Ковалева при исполнении вами врачебного долга, преисполненное чувством глубокого негодования, постановило выразить вам, почтенный товарищ, свое искреннее и горячее сочувствие» [90]. В том же тоне глубокого негодования составлены были другие адреса и статьи газет, единодушно откликнувшихся на дикий поступок закаспийского генерала.

Дело слушалось недавно в особом присутствии кавказского военно-окружного суда. «Ковалев, признавая себя виновным в превышении власти, отрицал желание подвергнуть Забусова физическому истязанию, оправдывался невменяемостью (!?) в момент совершения преступления, о мотивах коего умолчал,

и отказался от вызова свидетелей»[91]. После четырехчасового совещание суд, признав ген. Ковалева виновным в превышении власти и истязании, постановил (за применением манифеста) исключить его со службы без лишения чинов. Как на интересную черту этого процесса «Нов. Время» указывает на оглашенные в суде «телеграммы генералов Куропаткина и Субботина, давших подсудимому прекрасную аттестацию», и особенно на телеграмму генерала Уссаковского (начальника Закаспийской области), который «просит принять участие и облегчить судьбу подсудимого». Газета не без основания видит в этом последнем обращении «противозаконное давление на суд»[92].

Мотивы преступления остались совершенно невыясненными. Выяснить их, если они хоть сколько-нибудь смягчали безобразный характер происшествия, было в интересах генерала Ковалева. Но он от этого воздержался, ссылаясь только на свою «невменяемость», которая, однако, не помешала ему отдать храброму отряду все распоряжения, точно перед боем. В одном из первоначальных газет-



ных известий указывалось на «романическую подкладку» происшествия. Генерал Ковалев отомстил будто бы своему счастливому сопернику. Но никаких подтверждений этого объяснения разбирательство дела не представило. С другой стороны, г. А. Ст-н, фельетонист «Нового Времени», счел возможным огласить часть письма, полученного им от какого-то из своих корреспондентов «в связи с делом Ковалева».

.....

*«Имейте мужество, – пишет этот неизвестный, – ответить печатно: 1) как бы вы поступили не на окраине (по-видимому, на окраине корреспондент допускает другие законы поведения), а в центре столицы, если бы на ваших глазах хулиган оскорбил вашу родную мать, дочь или жену? 2) какой бы вы заплатили гонорар врачу, который повел бы лечение вашей матери, жены или дочери «на зоологической подкладке?»[93]*

.....

Нужно сознаться, что г. Ст-ну пишут иной раз странные письма и, быть может, еще бо-

лее странно печатать их «в связи с делом Ковалева», когда сам г. Ст-н удостоверяет тут же, что никакого отношения к делу Ковалева вопросы корреспондента не имеют, «потому что, сколько известно, в этом деле не замешаны родственники». Как бы то ни было, против одного бездоказательного намека не в пользу генерала Ковалева выдвигается другой, не менее бездоказательный, против потерпевшего. И разумеется, нет ни малейших оснований отдавать предпочтение второй инсинуации только потому, что ее объект является потерпевшим от трудно объяснимого насилия. Если бы вопросы, оглашенные г-м А. Ст-м, были обращены ко мне, я ответил бы, что не знаю еще, как бы я поступил в перечисленных случаях. Но знаю твердо, что, во-первых, не заманивал бы врача в ловушку, прикинувшись больным, потому что роль всякого врача, призываемого к больному, должна служить ему полной гарантией; во-вторых, не позорил бы полка, в котором бы служил, приказанием его солдатам играть роль бессмысленных палачей над безоружным человеком.

А именно это сделал генерал Ковалев. И,

сделав это, он оскорбил не г-на Забусова, которому причинил лишь физическую боль, и не «корпорацию» русских врачей, которая стоит выше мундирных представлений о чести. Он оскорбил все русское общество, которое не может без тревоги видеть, как легко состоящие на службе солдаты исполняют приказы даже «невменяемых» начальников по отношению к безоружным обывателям.

В тех же Закаспийских странах приобрел в последние дни знаменитость и г. Е. Б. Голицынский. Г-н Е. В. Голицынский не совсем военный, а только «почти военный человек» (гражданский чиновник военного ведомства). Он не Сташевский и не генерал Ковалев, а нечто вроде маленькой карикатуры на обоих. Его оружие – не револьвер, а перо, и не насилие, а только прославление насилия и угроза... И нам кажется, что зрелище, представляемое г-м Голицынским, довольно поучительно и, пожалуй, может иметь до известной степени «отрезвляющее влияние».

Господин Голицынский поэт, по-видимому, довольно плохой. Он прислал свои стихотворения в редакцию газеты «Самарканд», ко-

торая признала их для печати негодными. Спустя короткое время после этого приговора в редакцию поступило анонимное произведение, написанное тем же почерком и теми же чернилами, в котором содержался ряд оскорбительных выражений, заканчивавшихся недвусмысленной угрозой: «Мы русские, – писал анонимный автор, – умеем вызывать тебя Сморгунеров, но умеем и пронять их сначала нагайками, а потом и чем-нибудь по сильнее». В дальнейшем этот храбрый «русский человек», считающий атрибутами патриотизма «нагайку и что-нибудь еще по сильнее», сетует на подбор перепечаток, «которые расстраивают ему нервы, как русскому человеку и воину», так как «подбираются в угоду армяно-жидовским симпатиям продажными русскими людьми»[94].

Редакция газеты представила это поэтическое упражнение в суд, который, по сличению почерков письма и стихотворений за подписью Е. В. Голицынского, пришел к заключению об их тождественности... При этом г. Голицынский подал заявление, в котором доказывал свою неподсудность мировому судье, в

качестве «гражданского чина военного ведомства». Явившись в камеру во время самого разбирательства и узнав, что суд признал отвод неосновательным, г. Голицынский тотчас удалился со словами: «Пусть их разбирает. Мне все равно».

После речей обвинителей (издателя Болотина и заведующего редакцией Морозова), выяснявших тяжелое положение провинциальной печати, мировой судья признал Голицынского виновным в оскорблении и угрозе и приговорил к 10 дням ареста. В угрозе убийством воинственный поэт признан оправданным.

Решение нам кажется совершенно правильным. Угрозы человека, который посылает их, прикрывшись анонимом, конечно, только комичны. Но есть в этом маленьком эпизоде и очень серьезные стороны...

Это, во-первых, самое содержание анонимного письма, с его якобы патриотическими фиоритурами, которые, в другой форме, не раз тяжело отзывались на провинциальной печати. Во-вторых, это великолепное пренебрежение «гражданского чина военного ве-

домства» к суду, не облаченному в военные мундиры. И в-третьих, это тень Сморгунера, которую с таким кощунственным легкомыслием вызывает этот «русский человек и воин». Очевидно, поступок полковника Сташевского имеет в известной среде своих идеологов. Но нам, людям в черных сюртуках, которых оружие только мысль, слово, перо, нет надобности напоминать о скорбной тени Сморгунера. Она укоризненно стоит и перед нами, и перед русским обществом и будет стоять до тех пор, пока будут гг. Сташевские, генералы Ковалевы, Е. В. Голицынские. К сожалению, этот перечень можно бы продолжить еще многими именами, приобретшими печальную известность на той же мало почетной арене.

1904 г.

## **Продолжение дела ген. Ковалева и д-ра Забусова**

**Т**е из наших читателей, которые обратили внимание на заметку об этом деле в предыдущей книжке «Русск. Богатства», помнят, вероятно, и великолепный совет ген. Ус-

саковскаго, начальника Закаспийской области: знакомиться с «положением края» по газетам, издающимся в этой благословенной области. Совет превосходный! Если бы следовать ему с надлежащею строгостью, то русская печать и русское общество даже не подозревали бы о «случае» с ген. Ковалевым и доктором Забусовым: обе газеты, издаваемые в подведомственной ген. Уссаковскому области (надо думать, случайно и без всяких воздействий?), даже не заикнулись о диком поступке ген. Ковалева и о происходившем в Тифлисе суде над этим генералом!

Очень может быть, что и сам генерал Ковалев, приступая к своей знаменитой отныне кампании против безоружного доктора, находился под влиянием той же aberrации: ему могло казаться, что и вся Россия есть безгласная пустыня, в которой его команда, а за ней свист розог и вопли беззащитной жертвы прозвучат без всякого отголоска. Если это так, то, но крайней мере, на сей раз расчет оказался ошибочен: имя генерала Ковалева приобрело широкую известность не только за пределами благодатной «подведомственной ген.

Уссаковскому области», но и за пределами России. Отныне это имя навеки внесено в бытовую историю нашего отечества.

А пока можно сказать без преувеличений, что все русское образованное общество следит за ковалевским делом с неостывающим интересом. В газ. «Русь» появилась, между прочим, горячая статья С. Елпатьевского («Мы требуем суда»), резюмирующая общее настроение не одних врачей, но всех, кому дороги интересы человеческого достоинства и правосудия... В последние дни стало известно, что суд все-таки будет. По жалобе потерпевшего и его поверенного д-ру Забусову восстановлен срок для подачи жалобы, и дело будет вновь рассмотрено в главном военном суде. Когда это произойдет, мы, разумеется, вернемся еще к этому делу, с его прямо загадочной дикостью. А пока всех интересует вопрос: как могло случиться, что потерпевший не был вызван в Тифлисский суд ни как истец, ни как свидетель?

На это отчасти отвечает главный прокурор военного суда ген. – лейт. Н. Н. Маслов. В разговоре с сотрудником газ. «Русь» он объяснил



обстоятельство, вызвавшее такое волнение во всем русском обществе, простой ошибкой мелкого чиновника главного военного суда («и, как на грех, чиновника. самого аккуратного и добросовестного»), который, получив исковое прошение поверенного д-ра Забусова, завел об нем отдельное делопроизводство(!), вместо того чтобы ввести его в производившееся уже дело. По поводу этой роковой «ошибки» газеты вспомнили традиционного стрелочника, единственного виновника всяких «крушений» (в данном случае настоящего «крушения правосудия»). Во всяком случае, это объяснение оставляет место для некоторых вопросов: как же могли не заметить судьи и военный прокурор во время самого производства этого отсутствия потерпевшего, который ведь является и важнейшим из свидетелей? Как они не заметили того обстоятельства, что в деле остались только г. Ковалев и его подчиненные, сами в значительной степени виновные в происшедшем?

Этот вопрос сотрудник «Руси» предложил тоже генералу Маслову.

.....

– Видите ли, – ответил последний, – г. Забусов, рассказав подробно об обстоятельствах дела, ничего не мог выяснить о причинах и мотивах преступления. Генерал же Ковалев не только не отрицал факта своего преступления, но и в изложении подробностей его совершенно совпадал с показанием потерпевшего. Следовательно, вызов последнего на суд явился бы, как я понимаю мотивы местной военно-судебной администрации, только лишним мучением для него, заставляя его еще раз переносить публично испытанные терзания, не принося никакой пользы процессу[95].

.....

Ген. Маслов оговорился в начале своей беседы с сотрудником «Руси», что он еще недостаточно осведомлен относительно всех подробностей Тифлисского суда, и нам кажется, что в его объяснении «мотивов военно-судебной администрации» есть действительно место для значительных недоумений. Во-первых, далеко нельзя сказать, чтобы «признания» ген. Ковалева вполне или хоть во всех существенных чертах совпали с показаниями

потерпевшего: последний, например, решительно настаивал на жестоком истязании, что генерал Ковалев и его подчиненные столь же решительно отвергали. Суд согласился с показаниями виновных. Но ведь еще вопрос, получился ли бы тот же результат, если бы на суде показывали не одни обвиняемые в истязании, но и жертва истязания, и сторонние свидетели...

Напрасны также были опасения суда – причинить вызовом д-ра Забусова излишние мучения потерпевшему. Как известно, явка в качестве свидетеля из другого судебного округа не обязательна, и доктор Забусов мог сам уклониться от «излишнего мучения», если бы нашел это нужным. Теперь же является несомненным, что доктор Забусов в своих столкновениях с военной средой пострадал сугубо: один раз от беспрецедентной расправы генерала Ковалева, в другой от столь же беспрецедентной «деликатности» военного суда...

Нужно ли прибавлять, что истинному, а не кастовому правосудию не нужно ни того, ни другого, а нужно «нелицеприятие», и что все русское общество с понятным нетерпением

ждет разрешения вопроса: возможно ли «восстановление силы закона» в сословно-военном суде хотя бы в таких воистину вопиющих случаях?

Янв. 1905 г.

## **Новая «ковалевщина» в Костроме**

**П**онятное возбуждение, вызванное в русском обществе «делом закаспийского генерала», далеко еще не улеглось, как уже несутся новые известия о подвиге того же характера, пожалуй, еще более ярком. На этот раз местом действия являются уже не «чудные уголки» подведомственной генералу Уссаковскому окраинной области, а центр России, гор. Кострома. Вот что пишут по этому поводу в местной подцензурной газете «Костромской Листок»[96]:

*«Жизнь нашего города в последние дни преподносит неожиданные сюрпризы, которые и без того уже запуганного и загнанного обывателя вконец ошеломляют и вызывают вполне справедливые нарекания и сетования. «Сюрпризы», прежде не выходившие из стен ресторанов и гостиниц, завоевывают се-*

бе место в общественных собраниях и местных учреждениях, как, напр., театр, почта и т. п. Мы сообщали уже о происшествии в «Московской гостинице». Вслед за этим мы получили письмо о подобном же случае в местном почтовом отделении и, наконец, к крайнему нашему сожалению, должны отметить возмутительный факт, имевший место 5 декабря в городском театре, глубоко взволновавший все общество. Суть дела в следующем. В одном из антрактов в городском театре по адресу прогуливавшейся с юношей молодой девушки одним из присутствовавших была допущена какая-то пошлость. Вспыхнувший от нанесенного девушке оскорбления, юноша потребовал от оскорбителя извинений, но, встретив вместо этого издевательство, глумление и попытку быть выдраным за уши, дал нахалу пощечину. После этого разыгралась безобразная сцена, когда чрез фойе и на лестнице театра бежал за юношей с обнаженным оружием получивший пощечину; последнему, однако, не удалось догнать юношу, скрывшегося домой.

*Факт этот вызвал глубокое волнение среди присутствующих в театре, причем некоторые решительно заявляли, что без оружия в кармане теперь нельзя никуда показаться».*

Таким образом, здесь речь идет уже не о единичном насилии – тут уже терроризирован целый город. Продолжение этой изумительной истории, однако, еще поразительнее. В той же газете напечатано известие о том, что после происшествия в театре к одному из представителей местного общества, под предлогом деловых объяснений, явились в квартиру четыре офицера и нанесли ему грубое оскорбление. «Случай этот, – прибавляет газета, – стоящий в связи с целым рядом прямых бесчинств, имевших место за последнее время, как в отношении беззащитных стариков, так и девушек из почтенных семейств, глубоко взволновал и возмутил местное общество». Другие газеты дают более точные указания и комментарии. Оказывается, что «четыре героя», так храбро расправляющиеся со стариками, явились к отцу того самого юноши, который заступился за девушку в театре,

с чудовищным требованием: «прислать сына в офицерское собрание для порки (!) или – драться на дуэли».

Итак, здесь мы имеем дело не с одним закаспийским генералом, а с целой группой военных, с целым «офицерским собранием» (неужели это правда?). Если вскрыть взгляды, которые сказались в этом почти невероятном инциденте, то получится следующий своеобразный кодекс поведения:

1) Всякий офицер имеет невозбранное право отпустить по адресу любой девушки разные «пошлости» и оскорбительные замечания, причем никто из близких не вправе заступиться за оскорбленную.

2) Если же кто-нибудь за нее заступится, то г. костромской офицер имеет право надрать ему уши, а заступник не вправе прибегнуть к самообороне физическими средствами.

3) Если он все-таки прибегнет к самообороне и отпускающий пошлости офицер потерпит при этом урон, то последний должен обнажить оружие и убить противника.

4) Если и это не удалось, то уже офи-

*церское собрание (!) берет дело в свои руки, и его посланцы избивают беззащитных стариков родственников...*

Этот силлогизм кажется нам до того поразительным, что мы ждали опровержения; мы ждали, что в газетах появится разъяснение в том смысле, что хоть офицерское собрание тут ни при чем. Ведь единственно разумный и единственно достойный выход для людей, понимающих, что значит слово честь, состоял лишь в немедленном очищении своей среды от проявлений хулиганства. Все последующее в этом безобразном происшествии явилось естественным последствием непристойного поведения офицера, оскорбившего девушку. В этом и только в этом, на взгляд всякого неослепленного человека, могло состоять истинное оскорбление «корпорации». Честь корпорации не в кулаке и не в полосе железа. Эта честь в том, чтобы никто не мог обвинить члена корпорации в бесчестном поведении, роняющем достоинство всякого порядочного человека. Раз это можно сказать о данном члене корпорации – она уже оскорблена именно своим товарищем. И неужели



общество офицеров в Костроме держится иного взгляда? Неужели оно полагает, что позор непристойного поведения искупается успешной дракой, а восстановление чести корпорации достигается тем, что вся она выражает солидарность с виновником пошлого скандала и требует у отца выдачи сына на позор и истязание в своем «собрании».

Недавно в «Руси» было напечатано письмо генерала Киреева по поводу Ковалевского дела. «Он не наш, – пишет ген. Киреев в этом письме, – раз навсегда – не наш!»[97] Хотелось бы думать, что этот голос не останется одиноким, что и в военной среде есть умы, не ослепленные столь чудовищно извращенными понятиями о сословной чести, и есть сердца, способные биться негодованием на подвиги Ковалевых закаспийских и Ковалевых костромских...

У нас теперь много говорят, много пишут, много надеются и много благодарят за обещание восстановления «полной силы закона», для всех доступного и для всех равного... Мы ждем с величайшим интересом, в какой форме и скоро ли почувствуют на себе эту «силу

закона» те господа, которые полагают, что оружие дано им для того, чтобы безнаказанно оскорблять русских девушек и избивать в «отечестве» беззащитных стариков. Ведь иначе это уже полное разложение элементарных гражданских понятий, своего рода «военная анархия».

Янв. 1905 г.

### **Еще о деле генерала Ковалева**

**В** ноябрьской книжке «Р. Б.» мы говорили уже о деле генерала Ковалева, заманившего врача (под предлогом болезни) к себе на квартиру и здесь подвергнувшего его сечению при помощи семи казаков. Мы упоминали также о том, что начальство генерала Ковалева (генерал Куропаткин и генерал Уссаковский) дали ему наилучшие рекомендации, а последний присоединил к этому ходатайство о смягчении участи подсудимого. «Новое Время», в заметках г-на Ст-на, а также и другие органы печати увидели в этом «противозаконное давление на суд». Г. А. Ст-н, кроме того, дал легкую характеристику края, в котором произошло событие. Воспоминание г-на

А. Ст-на об этом крае имеют, по его словам, чисто кошмарный характер.

Теперь генерал Уссаковский прислал в «Новое Время» длинное письмо, в котором возражает по пунктам на заметки г-на А. Ст-на. Вторая часть этого письма касается «кошмарности» впечатлений. Как начальник края, генерал Уссаковский считает себя обязанным заступиться за «природу и жизнь» вверенной ему области и рекомендует г-ну А. Ст-ну познакомиться с содержанием издающихся в Ашхабаде газет («Закаспийское Обозрение» и «Ашхабад»).

Можно бы много возразить генералу Уссаковскому по поводу рекомендуемого им метода ознакомления с «жизнью края», так как известно, что, по разным причинам, с некоторыми сторонами местной жизни гораздо удобнее иногда знакомиться по газетам, более свободным от «местных воздействий». Г. Ст-н мог бы, в благодарность за совет, отплатить таким же советом генералу Уссаковскому: почерпать сведения о некоторых сторонах местной жизни из газет, издающихся вне подведомственной ему области. Во вся-

ком случае, однако, спор решается уже наличием и условиями «дела генерала Ковалева». Как для кого, а для людей, не имеющих чести носить военный мундир, достаточно и одного этого факта: один из «высокопоставленных» военных, имеющий, по свидетельству своего начальства, наилучшую репутацию, по неизвестным побуждениям заманивает врача в свою квартиру и употребляет казаков своего полка в качестве палачей над беззащитным человеком...

Невольно при этом приходит в голову: если так могут поступать наилучшие, то чего же можно ожидать в этом удивительном крае от средних и худших? Мы можем, конечно, согласиться с генералом Уссаковским, что в природе Закаспийской области «есть и чудные уголки». Но по вопросу о том, что в этих чудных уголках происходит, мы склонны скорее принять мнение г-на А. Ст-на, которому вспоминаются разные «кошмары».

Генерал Уссаковский касается затем вопроса о «противозаконном давлении на суд», которого он в своем поступке решительно не усматривает. Мы недостаточно знакомы с

процедурой и обычаями суда военного, несомненно отличающегося многими особенностями от обычного представления о суде и гарантиях «обеих сторон» в процессе; но мы с трудом представляем себе суд «гражданский», на котором председатель огласил бы, например, «ходатайство» какого-нибудь высокопоставленного лица о смягчении участи подсудимого чиновника...

.....

*«По какому праву, – спрашивает далее генерал Уссаковский, – автор «замечток» в своей защите независимости суда идет далее самого суда».*

.....

На этот вопрос ответить очень нетрудно: по праву писателя и гражданина, по праву члена общества... А суд, всякий суд, есть явление общественное, и его зависимостью или независимостью вправе интересоваться не только данный состав самого суда, но и все граждане государства. В самые даже тяжелые для печати периоды русской жизни за ней признавалось право обсуждать эти вопросы... Ведь если бы аргументация генерала Уссаков-

ского была правильна, то даже относительно дореформенного суда, даже русскому писателю Гоголю можно было предложить тот же вопрос: с какой стати он заботится о достоинстве суда больше, чем, напр., поветовый судья гор. Миргорода?.. Итак, и по этому вопросу не мы одни, но, полагаю, и все русские писатели, даже те, кто, подобно г-ну А. Ст-ну, «очень чтит военных», не могут стать на точку зрения ген. Уссаковского.

К сожалению, мы должны пойти еще несколько дальше этой общей постановки вопроса, так как то, что сообщают газеты об условиях именно данного суда, вызывает самые тревожные недоумения. Так, в газете «Русь» (от 25 ноября, № 345) один Ашхабадец, «занимающий положение, которое вызывает на полное доверие», сообщает очень интересные и серьезные указания условий и обстоятельств, при которых прошел процесс Ковалева, «бывшего командира Закаспийской казачьей бригады и заместителя начальника области». По словам этого Ашхабадца, опирающегося на приговор суда, помещенный в официальной газете «Кавказ» от 9 ноября, разбор

этого дела представляет небывалые особенности: во-первых, дело слушалось в Тифлисе, хотя преступление совершено в Ашхабаде, где находится и потерпевший, и свидетели, во-вторых, не только не были вызваны в заседание суда потерпевший, свидетели и заявивший для участия в деле гражданский иск, но никого не сочли даже нужным уведомить о слушании дела в Тифлисе вместо Ашхабада.

И в-третьих, несмотря на двукратную официальную экспертизу (в первый раз следственную), установившую наличие тяжкого истязания (до 52 ударов нагайками и палками по задней части тела, животу и паховой области), наличие истязания было судом отвергнуто.

.....

*«Приговор, постановленный с такими особыми условиями, являющийся приговором вновь, особо ad hoc введенного келейного судилища, достоин стать достоянием общества», – замечает г. Ашхабадец[98].*

.....

Сведения, сообщаемые в этой заметке, до такой степени изумительны, что, вероятно, в

следующей книжке журнала нам придется еще вернуться к громкому делу генерала Ковалева, чтобы сообщить (хотелось бы, по крайней мере, так думать) официальное разъяснение тревожных вопросов, поставленных «заслуживающим доверия» Ашхабадцем в распространенной русской газете. А пока, полагаем, читатель согласится, что перед мотивами, выдвигаемыми этим делом и его обстановкой, совершенно уже бледнеет вопрос об его «подкладке»... Подкладка эта есть вопрос индивидуальной оценки личностей и их судебных отношений. А гарантии сторон на суде и ограждение судом личного достоинства и неприкосновенности русских граждан, носящих и не носящих мундиры, есть насущный, близкий, неотложный интерес всего русского общества.

P. S. Наша заметка была уже набрана, когда в газетах появилось письмо потерпевшего г-на Забусова. Приводим его целиком и думаем, что это должен сделать каждый орган печати, которому дороги правда, человеческое достоинство и правосудие.

Вот это письмо[99]:



«До сих пор я не мог писать ничего, так как надеялся, что суд так или иначе выяснит обстоятельства и причины зверского насилия, произведенного надо мной генералом Ковалевым. В то же время я был так глубоко потрясен происшедшим, что всякое воспоминание о нелепой и бесцельной гнусности приводило меня в болезненное состояние. Энергия пала, дух сломен. Но теперь мне хочется не только писать, но кричать на площадях и улицах, чтобы найти себе хоть тень защиты у общества. Как можно сделать насилие над личностью и остаться весьма мало наказанным – показывает гнуснейшее в летописях России “дело генерала Ковалева”. Вот оно в чем. В марте 1904 года в городе Ашхабаде, вечером, по телефону, я был приглашен к тяжело заболевшему Ковалеву; приглашение было весьма настойчивое и повторено дважды. Я тотчас же бросил свои дела и поехал через 2–3 минуты, как только мог найти извозчика. Ковалева я знал очень мало, не больше чем обыкновенное шапочное знакомство, никогда его не лечил и

тут, естественно, подумал, что с ним случилось что-то экстренное, так как я по специальности хирург. Голос из телефона уверял меня, что генерал очень болен.

Приехав быстро к нему на квартиру, я тотчас спросил, что у него болит; он ответил, что еще успеется об этом поговорить. В это время у него сидел какой-то неизвестный мне молодой человек, как выяснилось потом, служащий в службе сборов Среднеазиатской железной дороги, Самохненко. Ковалев приказал подать стул, предложил садиться, предлагал сигары и вино.

Все время я сидел спиной к соседней комнате и мельком заметил там несколько человек нижних чинов-казаков, которых принял за песенников. Ковалев о своей болезни ничего не говорил, но настойчиво предложил вина. Я отказывался, говоря, что не пью. “Отчего?” – “Потому что от вина у меня делается сердцебиение”, – ответил я. – “Это не от вина, а от того, что вы любите не того, кого следует”. Удивленный этими словами, я попросил их объ-

яснения, которого не получил. “Ваше здоровье”, – говорит Ковалев, чокаясь со мной стаканом; так же поступил и его собеседник. Не успел я поставить стакан на стол, как сзади был неожиданно схвачен несколькими людьми, грубо раздет, и началось беспощадное истязание. Как ни был я потрясен, но все-таки и тут требовал объяснения; в ответ же со стороны Ковалева раздавалось только неистовое: «Бей его, мерзавца». Зверское истязание продолжалось и по животу: я тут уже понял, что меня хотят убить. Я был лишен малейшей возможности к какой бы то ни было самозащите и, как врач, понимал ясно, к чему могут повести удары по животу. Далее я был одет и выведен под руки на извозчика. Какого-либо протеста со стороны присутствующего г. Самохненки не было. В эту же ночь все дело мною было обнародовано и даны официальные сообщения. Это все произошло 14 марта. Глубоко потрясенный, я напрасно искал и ищу до этой минуты какого-либо объяснения всего происшедшего. Но вот что из этого произошло. Насилию

я подвергся 14 марта, дело разбира-  
лось будто бы в Тифлисе в начале нояб-  
ря. Таким образом, преступное деяние  
Ковалева подпало под силу высочайше-  
го манифеста. Далее, ни я, как пострада-  
вший, ни мой поверенный, юрискон-  
сульт Среднеазиатской жел. дор.

А. А. Хонин, не получали ни повестки,  
ни вообще какого-либо уведомления  
от суда и потому на суде были лишены  
возможности быть («пострадавший  
не явился», как сказано было в суде).

Что было вообще на суде – нам неиз-  
вестно по тем же причинам. Ковалев,  
будто бы, не был признан виновным в  
истязании, но я, как врач, протестую  
против этого и настаиваю, что здесь  
именно было преднамеренное истяза-  
ние. Ковалев судился и был осужден,  
будто бы только за превышение вла-  
сти, но моя личность гражданина  
оставлена без внимания. Но ведь я не  
военный, и мне нет дела до дисципли-  
нарных отношений Ковалева к его под-  
чиненным. С ужасом прочитал я в  
№ 10333 «Нового Времени» письмо ге-  
нерала Уссаковскаго, который смело  
возводит на мою честь самое тяжё-

лое обвинение; тяжело оно главным образом потому, что тайное. Генерал Уссаковский, прося не залезать в его душу, настолько признает душу у меня, что вот что говорит:

«Иной вопрос, почему я считал себя обязанным ходатайствовать за генерала Ковалева: это, конечно, дело моей совести, и надеюсь, автор «Заметок» не станет забираться ко мне в душу, но могу указать одно: я знаю генерала Ковалева и, что главное, знаю совершенно точно подкладку дела, которую автор только угадывает и, конечно, неудачно. Бывает так в жизни, что расправа зверская, а побуждения к ней самые благородные; последнее, разумеется, не может оправдать расправы, но до некоторой степени ее извиняет». Итак, Ковалев, в лице своего защитника генерала Уссаковского, находит извинение: очевидно, что обвиняюсь я, врач Н. П. Забусов, в совершении чего-то столь гнусного, столь постыдного, что даже подлейшее насилие из-за угла является мною лишь только заслуженным, потому что побуждение к нему самое благородное и с точ-

ки зрения генерала Уссаковского может быть извиняемо. Генерал Уссаковский отрицает, что своим ходатайством на суде за Ковалева он произвел давление на суд; может быть, это так, я не юрист, но давление на общественное мнение он своим письмом от 5 декабря пытается сделать, и давление опять-таки в пользу Ковалева. Генерал Уссаковский ясно намекает, что за мной имеется величайшая гадость и что наказание я заслужил (благородные побуждения). Я бессилён опровергнуть эту вопиющую неправду, если мне не будет дана возможность давать объяснение в гражданском суде, если не будут допрошены некоторые личности, если не будет выяснена роль г. Самохненки во всем этом постыдном деле и если обвинение в какой-то сделанной гнусности, которое высказывается теперь тайно, не будет высказано публично. Всего этого я был лишен до сих пор и по желанию кого-то превратился из потерпевшего в обвиняемого во вкусе метаморфоз Овидия. Я заявляю в окончательной форме вот что. С Ковалевым я имел

только самое мимолетное шапочное знакомство, не сталкивался с ним ни на почве служебных, ни на почве частных отношений даже самым малейшим образом; ни в одной общечеловеческой слабости никогда в жизни не имел с ним ни малейшего соприкосновения, никогда о Ковалеве не говорил ни хорошего, ни дурного, так как им совершенно не интересовался. Со всеми знакомыми Ковалева был почти незнаком, исключая шапочного знакомства; Ковалева никогда не лечил – словом, к Ковалеву я имел вообще такое же отношение, как и к каждому жителю Марса. Я так устал душевно от беспощадной травли, что у меня едва хватает силы жить. За что же это? Во имя какого принципа?

Неужели 63-летний старец Ковалев продолжает думать, что он сделал хорошее и достойное дело, неужели его поддерживают только потому, что этого требует солидарность касты? Неужели мой голос останется голосом вопиющего в пустыне и никто не придет на помощь невинно погибающему нравственно человеку?

Я могу только сказать, что деятельность врачебная требует от врача, чтобы он был и честным человеком; как только этого нет, он не может быть врачом, сама корпорация должна его изгнать из своей среды. Так и я должен быть отвергнут врачебной корпорацией как недостойный ее член, как позорящий ее. А это должно быть, если верить генералу Уссаковскому. Итак, вот моя ставка на общественном суде; но что поставят в ответ на это Ковалев и другие? По адресу г. А. Ст-на скажу, что мне удивительно, почему для него и для всех беспристрастных людей особенно ценно авторитетное (?) свидетельство начальника области, что у подсудимого были обстоятельства, извиняющие его поступок. Нет, г. А. Ст-н, неавторитетно это свидетельство, а в особенности для всех беспристрастных людей, потому что это авторитетное свидетельство есть обвинение, а для беспристрастия «*audiatur et altera pars*[100]», если уж меня ставят в роль обвиняемого. В достаточной ли мере отражают местную жизнь газеты



*«Ашхабад» и «Закаспийское Обозрение», ясно из того, что почему-то (!) ни в одной из этих газет не появилось ни слова о насилии надо мной. Может быть, это и достаточно, но для кого? Старший врач Ср. – Аз. ж. д. Н. Забусов 1904 г.*

## **Трагедия Ковалева и взгляды военной среды**

### **I**

**В** истекшем мае месяце все газеты облетела краткая телеграмма (от 16 мая):

*«На станции Гулькевичи Владикавказской жел. дороги в гостинице застрелился генерал Ковалев, обвиняемый по делу об истязании доктора Забусова».*

Дополнительные известия сообщали, что генерал Ковалев, желая уклониться от нового судебного разбирательства, предстоявшего в июле или августе, отправился в Читту, откуда послал просьбу о зачислении его в действующую армию. Генерал Церпицкий выразил готовность принять его в свой отряд; очень вероятно, что и другие генералы так же охотно дали бы гонимому общественным мнением

товарищу возможность почетно уклониться от суда, что, несомненно, было бы новым оскорблением русскому обществу и самой идее даже и военного правосудия. Нет также сомнения, что еще год или два назад предприятие это могло блестяще осуществиться. Теперь из Петербурга последовал отказ, а Ковалев получил приказание вернуться. Но генерал Ковалев – натура цельная: он «готов был предстать перед судом равных себе людей», т. е. перед кастовым судом военных, раз уже сделавшим в его пользу ничем не объяснимые правонарушения. Общественное мнение он презирает, в своем «поступке» не раскаивается. Но мысль, что даже в кастовом суде на этот раз будут предоставлены какие-то права людям в сюртуках, а не в военных мундирах, каким-то гражданским истцам и частным обвинителям, совершенно не укладывалась в его голове. Он считал возможным бить «невоенных» людей и сечь их розгами – но судиться с ними, отвечать на их вопросы, выслушивать их мнение о своем поступке... Нет – лучше смерть! И вот на маленькой станции вблизи Армавира посредством короткого

револьверного выстрела он ликвидирует все свои счеты и с судом, и с общественным мнением, и с газетами, и с частными обвинителями...

Но он не захотел уйти молча; перед своей вольной смертью он излил свои чувства в длинном, проникнутом горечью письме, которое появилось в «Новом Времени». Самая идея о «нелицеприятии суда», по-видимому, совершенно чужда автору этого письма: свою печальную судьбу он приписывает чьей-то несправедливой оценке его личности, сравнительно с другими. Он «подачка, жертва, отданная властям и судам». А между тем, – спрашивает он с горечью, – разве я «государственный преступник, анархист, неужели мой поступок расшатал государственные устои и трон? Неужели я хуже гласных воров и мошенников, спокойно живущих и занимающих высокие посты? Неужели хуже тех жалких трусов, тех бездарностей, которые, сохраняя свою шкуру, ради реляций жертвуют десятками тысяч или сдают в позорный плен истинных, верных царских слуг; тех, кто позорно и униженно кладет ключи вверенной

ему крепости к ногам врага-язычника, а сам даже с гордым сознанием свято исполненного долга спешит к домашнему очагу, к спокойствию и комфорту? Нет, это все герои, увенчанные и увенчиваемые славой и победными лаврами. Больно, обидно до слез!»

Стоит лишь немного вдуматься в это письмо, и перед вами встанет мировоззрение цельного военного человека, пропитанного насквозь взглядами нашего российского милитаризма последних десятилетий. Посмотрите тот перечень преступлений, которые генерал Ковалев признает заслуживающими наказания, – и вы увидите, что это преступления исключительно профессиональные: военный человек не должен быть ни политическим преступником, ни анархистом; он не должен расшатывать трон, не должен расхищать предметы довольствия и снаряжение вверенных ему команд, не имеет права сдавать крепости врагу и жертвовать десятками тысяч жизней для реляции. Если он не сделал ничего подобного – он прав, что бы ни натворил по отношению к другим, невоенным областям жизни... Самая мысль, что военный

есть также гражданин данного общества, что для него обязательны законы его страны, что он должен уважать личность, имущество, честь своих соотечественников, хотя бы и не носящих военного мундира, что гражданское общество вправе требовать восстановления нарушенного права, – все эти соображения решительно чужды генералу Ковалеву. Ему, очевидно, не приходит даже в голову, что янычарское насилие военных над народом может по-своему «расшатывать трон» и превосходить даже в этом отношении иные «государственные преступления». Он просто указывает на военных людей, совершивших, по его мнению, профессиональные грехи, и спрашивает с наивным и горьким недоумением: почему он «отдан в жертву властям и судам», а они увенчаны победными лаврами?

## II

Правда, ослепленный горечью, генерал Ковалев сильно преувеличил «победные лавры», якобы выпавшие на чью-то долю. Лавров пока вообще очень мало в этой бесславной войне, и принадлежат они по большей части погибшим. Что же касается до лиц, на кото-

рых, очевидно, намекает предсмертное письмо генерала Ковалева, – то пока они пользуются слишком щедро установленным содержанием, но без прибавки, в виде славы или лавров. Военачальники, «жертвовавшие десятками тысяч жизней для реляций», заведомые воры, под шумок патриотических возгласов торговавшие «защитой отечества», тоже едва ли чувствуют себя теперь особенно спокойно, так как если русской жизни действительно предстоит очищение от заполонившей ее низости и корыстного предательства, то их ждет такой общественный суд, перед которым должно побледнеть самое «дело Ковалева»...

.....

*Есть, однако, один аргумент, который мог бы привести генерал Ковалев и на который было бы гораздо труднее ответить тем, кому он адресует свои предсмертные укоры. Вместо того чтобы указывать на лиц, провинившихся против военного кодекса, он мог бы поименовать десятки, даже сотни военных, которые делали как раз то же самое, что сделал он, так же дико*

*ругались над честью, чужой неприкосновенностью, достоинством безоружных русских граждан. И он мог бы сказать: разве я хуже их? И почему же я умираю, а они остаются безнаказанными или отделяются пустяками и продолжают мирное течение своей карьеры?..*

.....

Вот на это было бы очень трудно ответить правосудию нашей страны.

Действительно, то, что сделал генер. Ковалев над Забусовым, далеко не представляется небывалым. У генер. Ковалева есть предшественники, сотоварищи, последователи. Так, еще в 1896 году газеты глухо сообщали об истории офицеров Белгородского полка, «дозволивших себе, вопреки существующих правил (sic!), взять команду нижних чинов, которых заставили чинить противузаконную расправу над некоторыми обывателями местечка Межибожа Подольской губ.»[101]. Говорили тогда об этой истории много; но газетам было запрещено сообщать возмутительные подробности многочисленных насилий, произведенных нижними чинами по команде офи-

церов. В том же 1896 году в тифлисском военно-окружном суде разбиралось дело ротмистра пограничной стражи Копыткина, который приказал подчиненным ему солдатам высечь дворянина Сумбатова. 22 марта 1899 года корнет В. (в Варшаве), пригласив к себе на квартиру надсмотрщика почтово-телеграфной конторы, приказал трем рядовым своего полка снять с него пальто и тужурку, связать руки назад и нанести ему 25 ударов хлыстом, что и было исполнено[102]. В 1901 году заявил о себе корнет фон Вик (в гор. Холме). Он не платил денег портному Гапину и вдобавок заподозрил последнего в подаче на него судебного иска. По этим необыкновенно основательным и возвышенным причинам он счел свою военную честь оскорбленной и требующей реабилитации. Зазвав портного в свою квартиру, он высек его нагайкой при помощи денщика и рядового Вакарчука[103].

Таковы «прецеденты». Далее, в то самое время, когда о деле Ковалева писали в газетах и говорили в общественных собраниях, в Костроме разыгрался возмутительный эпизод: офицер Васич сначала оскорбил девушку, а



потом гнался за ее юным защитником в фойе и по лестницам театра с обнаженной шашкой. Теперь газеты сообщают, что «под влиянием общественного мнения» (!) подпоручик Васич был удален из Костромы и дело было передано его начальством военно-окружному суду. Суд признал поступок «несоответствующим офицерскому званию» и приговорил Васича... к трехмесячному аресту на гауптвахте с некоторым ограничением в правах и преимуществах по службе[104].

И это все! Если и это нужно считать данью «общественному мнению», то должно признаться, что военный суд ограничил эту дань самыми минимальными размерами... Человек, совершивший поступок, «не соответствующий офицерскому званию», возвращается к этому званию после краткого отдохновения на гауптвахте.

Но наиболее интересной чертой этого дела являются некоторые предшествовавшие и сопровождавшие его обстоятельства: уже ранее один офицер напал с обнаженной шашкой на статистика. Безобразие и насилие происходили на улицах, на бульварах, в общественных

местах. В местной подцензурной печати писали, что в Костроме опасно выходить из дома без оружия. Казалось бы, все это должно обратить внимание и вызвать противодействие в самой военной среде. Вместо этого мы узнали, что общество офицеров выступило на защиту Васича и потребовало у старика-отца, чтобы он выдал сына (защитника оскорбленной офицером девушки) для сечения в офицерском собрании. Когда отец отказал в этом чудовищном требовании, то четыре офицера избili старика в его собственной квартире!

Это изумительное сообщение газет не было никем опровергнуто, а ведь это значит, что все общество офицеров в Костроме заявило свое право на «ковалевщину». И это обстоятельство, по-видимому, даже не затронуто судом. Что же значит единичный поступок Ковалева перед таким чудовищным извращением понятий о законности, о достоинстве и чести, захватывающим уже целое собрание и принимающим характер бытового явления среды...

Совсем также недавно и даже почти в то самое время, когда генерал Ковалев произво-

дил свою расправу над Забусовым, в Александрополе произошла точно такая же, пожалуй, еще более дикая, еще более преступная расправа, о которой сообщает корреспондент «Руси». Герой ее – корнет (всего только!) 45-го драгунского полка Посажной; жертва – помещик Дрампов. В начале прошлого 1904 года [105] в крепостном александропольском артиллерийском складе была обнаружена кража патронов. Предполагая возможность вывоза последних из Александрополя, начальство распорядилось расставить кругом города пикеты. Дрампов со знакомой дамой выехал кататься за город и при возвращении был подвергнут обыску (господа военные в этом отношении не стесняются лишними формальностями). На ироническое замечание Дрампова, что целесообразнее было бы обыскивать не въезжающих в город, а выезжающих, пикет ответил задержанием. Впрочем, когда г. Дрампов был «представлен по начальству», то личность его была удостоверена, и он был отпущен. Но в тот же день к Дрампову в гостиницу «Италия» явился корнет Посажной, который вызвал его и предло-

жил ехать к командиру полка «для допроса по делу о краже патронов». Удивленный Дрампов заявил, что ему по этому делу ничего неизвестно, но, как русский человек, привыкший повиноваться всякому, хотя бы и самому наглому произволу, поехал. Посажной вместо командира повез Дрампова за город и здесь, совершенно как Ковалев, произвел над беззащитным Драмповым возмутительнейшие истязания. «Тут было, – пишет корреспондент «Руси»[106], – все, начиная с раздвигания (в ту ночь мороз доходил до 20 градусов) и кончая примерною смертною казнью (!). По приказанию корнета солдаты привязали несчастного Дрампова к дереву, причем туго обвязали все тело и шею, и начали бить его плетьюми. Потом, приказав солдатам взять ружья «на изготовку», Посажной заявил, что если после двукратной команды Дрампов не укажет места нахождения спрятанных патронов, то за третьей командой будет казнен. Не получив (весьма естественно) желаемого ответа, корнет развязал его, велел повалить на землю и бить; при этом пришел в такое разъяренное состояние, что начал и сам бить его

ногами и шпорами. Закончив эту возмутительную процедуру, он приказал влить Дрампову в рот водки и потащил свою жертву в трактир, где продолжал свое глумление. Перед тем как отправить измученного Дрампова домой, он взял с него расписку, что никакого насилия над ним не производилось».

С этих пор прошел год... Прошел тот самый год, в течение которого шло дело Ковалева, поглотившее, по-видимому, все внимание военной юстиции. Ковалев погиб с сознанием, что его на этот раз никто не защитит от громкого требования правосудия, заявленного негодующим обществом... А о корнете Посажном мы не слышим даже, чтобы он предстал пред судом. По словам корреспондента, он «преблагополучно продолжает службу в полку» и товарищи, вероятно, подают ему руку, а начальство... Когда после долгой предварительной процедуры дело стало приближаться к судебной развязке, то командир полка благосклонно разрешил свирепому корнету отпуск, и дело опять затянулось. «Чем оно кончится, неизвестно, — заключает корреспондент свое повествование, — как неизвест-

но и то, откуда вытекает непонятная благосклонность командира».

Итак, чем же, в самом деле, генерал Ковалев хуже корнета Посажного? Посажной, как и Ковалев, вызывает свою жертву обманом (который вдобавок у Посажного носит служебный характер: вызов к командиру полка). Как и Ковалев, корнет Посажной употребляет для истязания подчиненных ему нижних чинов, которые бессознательно играют роль палачей, только вдобавок корнет еще и лично становится палачом, принимая участие в самых изысканных мучительствах... Но в то время, как Ковалев не предпринимает ничего для скрытия своей расправы, корнет Посажной прибегает к чисто приказной – правда, очень наивной – уловке, рисующей сразу и нравственный, и умственный уровень корнета по сравнению с суровым изуверством закаспийского генерала: он вымогает у своей жертвы оправдательную расписку в том, что его не истязали!..

И однако Ковалева успели судить и, как бы то ни было, даже осудили, несмотря на заступничество генералов Куропаткина и Усса-

ковскаго. Под давлением общественного мнение решен пересмотр заново всего процесса, Ковалев успеваает уехать в Читу и получает приказ вернуться, наконец он трагически кончает все эти счеты выстрелом и смертью... А корнет Посажной «благополучно продолжает службу в полку». Какой «несчастной случайностью» может военная Фемида объяснить эту странность и что она может ответить на горькие вопросы предсмертной апелляции застрелившегося генерала?.. Отвечать перед законом, поставленным так высоко, что на его решение не может повлиять никто, ниже генералиссимусы действующих армий, – это одно. Но генералу являться случайной жертвой якобы правосудия, которое в то же время и за более тяжкий проступок не в состоянии настигнуть александропольского корнета, – это ведь действительно «горько, обидно до слез», потому что это произвол, усмотрение, жертва общественному негодованию, уступка... Все, что угодно, но только не правосудие, которое равно для всех и должно считаться лишь с законом.

Со времени дела Сташевскаго, убившего журналиста Сморгунера за исполнение последним своих гражданских обязанностей (и отделавшегося, кстати сказать, совершенными пустяками), я привык обращать внимание на дела этого рода, далеко не полно оглашаемые в газетах, и теперь в моем распоряжении находится ужасающий мартиролог, отмеченный все тою же исключительностью военных взглядов на значение профессиональной чести, тем же презрением к личности и жизни русского невоенного человека и так же обогранный кровью... Перечислить полностью весь этот длинный ряд насилий в небольшой заметке нет никакой возможности, и потому, чтобы не быть голословным, я приведу лишь случаи, относящиеся к двум месяцам, располагая их в простой хронологической последовательности.

Апрель. Из Красноярска пишут «Праву»:

*«На вокзале, в комнатах II и III класса, публика, являющаяся будто бы «интеллигентной», держит себя непозволительно. Преимущественно это железнодорожные саврасы, проезжие и*



*местные субъекты, бряцающие оружием. Помимо шума, громких окриков, насмешек, неприличных выражений по адресу дам и вообще лиц, почему-либо не нравящихся этим оболтусам (я цитирую точно), последние злоупотребляют еще оружием: вынимают револьверы, делают вид, что хотят стрелять, потрясают саблями. На днях такой еще юный пижон, упившись до белых слонов, вообразил, что находится на передовых позициях в Маньчжурии, и пустился шашкой рубить цветы и посуду, находившиеся на общем столе»[107].*

12 апреля в 4 часа дня, в Томске, в Кривом переулке, два офицера публично избивали извозчика, а с ним, кстати, и седока. Последний кричал: «есть ли тут студенты, заступитесь!» На помощь избиваемым явилась публика, а к офицерам присоединился третий товарищ, который во время составления протокола в обращении избиваемого к студентам усматривал призыв к бунту[108].

22 апреля в Твери был произведен ускоренный выпуск юнкеров тверского юнкерско-

го кавалерийского училища. По обычаю окончившие военное воспитание молодые люди отправились «вспрыснуть» новые мундиры в общественный сад, в ресторан, называемый «Кукушкой». Начались эти «вспрыски» с того, что из верхнего зала этого публичного места были изгнаны «штатские»... «Ты зачем, шпак? Убирайся подобру-поздорову!» – так обращались эти «воспитанные» молодые люди к совершенно им неизвестным лицам гражданского состояния. Затем с отвоеванного таким образом верхнего этажа посыпались вызовы, обращенные уже ко всей находившейся внизу публике, причем храбрая молодежь требовала «подать им на расправу хоть одного (!) студента». Наконец, разгоряченные вином, юноши сошли в сад и очень скоро, «обнажив шаники, бросились на публику», очевидно, вынеся из своего учебного заведения огульное представление обо всем невоенном обществе и народе, как о врагах, подлежащих искоренению. «На меня (писал корреспонденту «Новостей» один из очевидцев, присяжный поверенный Ч.) наскочили двое с обнаженными шашками, но я отбил палкой. Слы-

шал 4–5 револьверных выстрелов». Один из «почетных жителей» гор. Твери рассказывал тому же корреспонденту: «Около 11 час. вечера я встретил близ почты большую толпу народа, которая бежала от офицеров. В конце Миллионной улицы вскоре показалась толпа офицеров, и вся публика, скрываясь от них, бросилась в почтовую контору, откуда долго никто не решался выходить».

Таким образом, военные действия были перенесены на улицу. Между тем «из сада двое были отправлены в больницу (с рассеченными ранами). Получившие менее значительные раны разъехались по домам». На другой день в юнкерском училище выплачивали контрибуцию пострадавшим за испорченное платье, а иным и за раны (так, один из писцов получил 62 рубля за рассеченную руку и пальто). «Делу дан законный ход»[109]. Но какое разбирательство (если оно и состоится, что, однако, сомнительно) покроет тот факт, что военная молодежь, только что сошедшая со школьной скамьи, первый пыл своих «юных увлечений» направляет, без всякого даже разбора, на истребление своих без-

оружных сограждан? И так они начинают свою карьеру!.. Каково же будет продолжение?.. При правильном взгляде на дела этого рода у этих юношей следовало отнять оружие немедленно и навсегда, так как они обнаружили сразу, что из своего учебного заведения не вынесли самых элементарных понятий о том, что такое оружие, для чего народ снабжает им свою армию и в каких случаях обнажение сабли должно считаться одним из тяжчайших преступлений даже с профессиональной точки зрения...

24 апреля опять в Томске офицер Червяковский, подозвав извозчика, стал грозить, что «разобьет ему морду», если, подъезжая, он брызнет на него грязью. Испуганный извозчик предпочел вовсе не подавать лошадей такому грозному седоку. Тогда Червяковский кинулся в пролетку, стал бить извозчика по голове и затем обнажил шашку. К счастью, извозчик успел соскочить с пролетки. Возмущенная публика обезоружила буяна и потребовала составления протокола в участке. Часа через 2 или 3 тот же Червяковский появился на Нечаевской улице (у извозничьей биржи)

с целым взводом солдат. Извозчики в панике бросились в разные стороны, а Червяковский, «дав команду стрелять» (которую солдаты, очевидно, не исполнили?), послал взвод в погоню за беглецами. Когда же на шум из соседнего двора выбежали маленькие гимназисты, то озверевший офицер приказал: «бей их прикладами!» К счастью, вскоре подоспели другие военные, и Червяковский, который взял из казармы солдат без разрешения коменданта (и солдаты последовали за безумцем!), был арестован. «Будет ли делу дан законный ход» – корреспонденту неизвестно[110]...

24 же апреля в другом конце России, а именно в г. Новороссийске, казачий хорунжий Еглевский произвел целый погром, едва не кончившийся кровавым столкновением толпы с войсками. Напившись пьяным, этот вояка вышел, вооруженный, на улицу, с двумя казаками и стал избивать людей, попадавшихся навстречу. Сначала он ни за что ни про что ударил школьного сторожа Шпаковского, потом «съездил по уху» проходящего армянина, затем дал пощечину рабочему Медведеву. Когда товарищи последнего сдела-

ли попытку заступиться, то Еглевский командовал сопровождавшим его казакам: «шашки вон!» И те, как бессмысленные машины, без проблеска сознания, без признаков понимания того, что такое служба и что преступление, исполнили дикую команду, а сам Еглевский выхватил револьвер и стал стрелять, причем ранил в плечо девочку Татьяну Сухорукову. После этого его видели в других местах, и всюду он производил буйства, и всюду, как автомат, за ним следовал казак, бессмысленно, по приказу размахивавший шашкой (другой, по-видимому, скрылся).

.....

*На шум и выстрелы сбежалась толпа, и дело стало принимать серьезный оборот. Тогда Еглевский скрылся в постоялом дворе Шумахера, а толпа, все возраставшая и страшно возбужденная, запрудила всю улицу.*

.....

Ждали, очевидно, нападения на постоялый двор и самосуда: была вызвана полиция, жандармы и, наконец, войска. К счастью, до кровавых столкновений дело не дошло. Приставу и жандармскому офицеру удалось проник-

нуть в постоянный двор и увести Еглевского задним ходом. При этом оказалось, однако, что, даже находясь в осаде, хорунжий Еглевский успел избить давшего ему приют Шумехера. Волнение в обществе и народе было так сильно, что для успокоения города начальство сочло нужным расклеить по улицам объявление: «По делу о произведенных хорунжим Еглевским на Цемесской улице выстрелах исправляющий должность губернатора лично производит дознание»[111].

Вообще 24 апреля (1905 г.) является каким-то роковым: в тот же день в Петербурге штабс-капитан Сквиро (на этот раз отставной), заметив на вокзале Московско-виндавской железной дороги еврея Винника с Георгиевским крестом, подошел к нему и спросил, за что он получил этот крест? Винник ответил, что получил его за отличие при взятии крепости Таку. Тогда Сквиро внезапно схватил с груди Винника крест и бросил его на платформу, а сам скрылся столь поспешно, что возмущенная презренной выходкой публика не успела задержать трусливого наглеца. На глазах у Винника были слезы. Публика

наперерыв выражала ему сочувствие[112].

В самом конце апреля или в начале мая компания частных лиц, прохаживаясь в Николаеве по Соборной улице, вела оживленную беседу, причем один, жестикулируя, нечаянно задел одного из двух проходивших мимо офицеров. Задевший, на замечание офицера, снял шляпу и извинился. Офицер (Яковлев) не удовлетворился даже вторичным извинением и стал говорить грубости по адресу всей компании, а затем даже наступать с хлыстом, грозя что-то «показать жидам», которых, впрочем, по словам корреспондента, в собравшейся на шум толпе было очень мало. Яковлев толкнул г-на Р. так, что тот едва устоял на ногах, а его товарищ Потапов ударил г-на Р. сзади по голове. Затем были опять пущены в ход обнаженные шашки, причем г-н Р., схватившись за лезвие, поранил себе руки. Офицеры приказывали городскому арестовать г-на Р., но толпа свидетелей происшествия настояла на препровождении в участок для составления протокола и самих развоевавшихся офицеров[113].

5 мая в городе Екатеринославе на пароходе



между пьяным офицером Петровым и помещиком Грековым произошла ссора, по рассказам очевидцев, из-за того, что Петров приставал к даме, сидевшей вместе с Грековым. Последний попросил офицера вести себя приличнее, а офицер, увидев в этом напоминании оскорбление мундира, ударил Грекова и затем обнажил шашку. Тогда Греков выхватил револьвер и убил Петрова почти наповал. Суду предстоит решить, в какой степени это вызывалось необходимостью самообороны, но, при описанных обстоятельствах, в решении суда сомневаться трудно[114].

15 мая в селе Лоцманской Каменке (Екатеринослав. губ.) офицер лейб-гвардии гренадерского Екатеринославского полка, в нетрезвом виде, ворвался в неуказанное время в пивную и потребовал пива. Когда хозяин, Драган, ответил, что в такой ранний час он по закону не вправе отпустить пива, то офицер, обнажив шашку, приставил ее к носу Драгана, а затем нанес удар по плечу. День был базарный, и к месту происшествия быстро собралась толпа, состоявшая преимущественно из крестьян. Одного из них (Омельченко) храб-

рый воин уколол шашкой в плечо. Тогда, очевидно мало обращая внимания на неприкосновенность мундира, в который был облечен пьяный буян, крестьяне быстро его обезоружили, сделав, таким образом, безопасным [115].

21 мая, в 2 часа пополудни, по главной улице города Ченстохова («Аллеем»), служащей местом гулянья, проезжал верхом по пешеходной части улицы офицер 42-го драгунского Митавского полка, Позняк. На замечание одного из публики, что эта часть «Аллеи» назначена только для пешеходов, офицер ответил ударом кулака в лицо. Полицейский побоялся составить протокол и стал энергично приглашать возмущенную публику расходиться [116].

#### IV

Все изложенное представляет, без сомнения, лишь слабое отражение того, что совершается в действительности. Я взял лишь факты, оглашенные за два последних месяца [117], но я, конечно, не исчерпал всего, что появилось за это время в газетах, а газеты не печатали всего, что имело место в жизни. При

этом я нарочно устранил все случаи, где гг. военные выступают в роли усмирителей всевозможных замешательств, так как в этих случаях явление усложняется наличием страстей и увлечений другого порядка. Легко понять, в какой мере злоупотребление оружием в этих случаях превосходит обычные приемы «мирного времени». Я, вероятно, еще вернусь к этому предмету, а пока в приведенных примерах мы имеем дело с обычными, будничными отношениями военной среды к обывателям. Военные люди являются здесь в роли таких же обывателей, нанимающих извозчиков, проходящих по улицам, заходящих на почты, в увеселительные сады или рестораны. И вот как легко все эти мирные действия заканчиваются обнажением оружия и ранами, а иногда и смертью...

.....

*Нигде уже в Европе (за исключением, может быть, Турции) нет таких нравов и такой их безнаказанности. Когда происходит что-нибудь подобное в парламентских странах, то это подает повод к огромному общественному движению.*

.....

Два случая такой расправы с гражданами из-за мундирной чести в Германии доставили много неприятных минут министрам, которым пришлось оправдываться и выслушивать очень суровые речи Бебелей и Рихтеров. Если бы хоть что-нибудь подобное произошло в Англии – это могло бы поколебать министерство, вызвало бы парламентское следствие и пересмотр всего военного быта. У нас десять оглашенных случаев (А сколько неоглашенных! Ведь дело Посажного оглашено только через год!) в два только месяца не обращают особенного внимания тех, на чьей обязанности лежало бы прекращение систематических правонарушений, и военное правосудие довольно спокойно взирает на подвиги всех этих Васичей и Посажных, Червяковских, Еглевских, Яковлевых, Потаповых и им подобных, прилагая лишь старание по возможности оттянуть суд, ограничить пределы его рассмотрения и смягчить приговоры[118]. И никому как будто не приходит в голову, что это все растущее на почве безнаказанности явление деморализует армию, понижает ее нравственный уровень и принимает, нако-

нец, размеры грозного общественного явления. Искать правосудия?.. Но ведь жалобы приходится адресовать прежде всего таким же военным, которые сами «были молоды» и с доброй улыбкой снисходительных дядюшек вспоминают собственные милые проделки над безоружными «шпаками», т. е. над людьми из русского общества и народа, который своим трудом содержит самую армию.

Вот наудачу классический пример, как иной раз встречаются эти законные жалобы. В 1900 году г. Тулушев, житель города Кирсанова (Тамбовской губ.), проходя в цирке к своему месту, нечаянно тронул палкой трость офицера Тихонова. Последний осыпал его за это грубыми оскорблениями, причем размахивал тростью над головой Тулушева. Тулушев принес на это жалобу начальнику 5-го кадра кавалерийского запаса, г-ну Туганову. Факт был налицо, отрицать его было невозможно. И вот официальный ответ Туганова (№ 1642):

«По подробном расследовании дела по вашей жалобе на шт. – ротмистра вверенного мне кадра, Тихонова, препровожденной мне

городским судьей города Кирсанова при отношении от 12 августа сего 1900 года, за № 1083, выяснена обоюдная обида: со стороны вашей тем, что вы толкнули своей палкой кончик трости (sic) шт. – ротмистра Тихонова, а со стороны шт. – ротмистра Тихонова тем, что он при разговоре с вами махал палкой и употреблял бранные слова, – почему дело оставлено мною без последствий...» («Русские Вед.» 12 сентября 1900 года, № 254). Признаюсь, я сильно затруднился бы ответить на вопрос генерала Ковалева: хуже ли его поступок с Забусовым этого официального ответа, беззастенчиво приравнивающего личность штатского русского гражданина к кончику трости военного!

И при таких-то условиях, когда чуть не каждая неделя приносит русскому обществу несколько известий об оскорблениях, насилиях, иной раз убийствах незащитных граждан, каждый отдельный случай беспричинного оскорбления офицера вызывает целую бурю. За несколько лет мы знаем лишь четыре таких случая. В одном из них полуневменяемый субъект ударил молодого офицера (Куб-

лицаго-Шотуха). Тот не убил его, и потому сам покончил с собой, отдав молодую жизнь в жертву Молоху «мундирной чести...» И по этому поводу М. И. Драгомиров, авторитетный писатель по вопросам военного быта, не нашел ничего другого сказать своим младшим товарищам, кроме изумительного совета, – чтобы «малейшее (sic!) посягательство на оскорбление действием вызывало мгновенное возмездие оружием, рефлекторное». В подтверждение этого положения кастовой этики М. И. Драгомиров привлекает соображение о «несоответствии законов с требованиями жизни» и даже вспоминает о скрижалях завета, которые разбил Моисей в своем гневе на израильский народ!.. Престарелый генерал и авторитетный военный писатель представляет себе, очевидно, всех военных Моисеями в праведном гневе, а нас, обыкновенных граждан, безусловными грешниками. Ввиду этого он рекомендует своим коллегам разбивать походя и те небольшие скрижальцы отечественных законов, которые еще ограждают хоть отчасти права невоенных граждан на неприкосновенность личности и

на гарантии суда. Совет М. И. Драгомирова есть совет презирать законы отечества, упраздняющие дикий принцип кастового самосуда, и ставит личный суд в своем деле выше этих законов... М. И. Драгомиров при этих подстрекательствах забывает только, что привычка к некоторым рефлекторным движениям, с одной стороны, расслабляет задерживательные и даже мыслительные центры, а с другой – порождает часто такие же нежелательные и несдержанные ответные рефлексы.

## V

И это в последнее время сказывается все заметнее. Так как мы ограничились своей заметкой материалом за два месяца, то не станем перечислять все случаи, когда толпа избивала прибегавших к оружию офицеров, рвала на них погоны, отнимала и изламывала сабли (таковы парадоксальные последствия излишнего ограждения неприкосновенности «мундира»). Но и в приведенных нами выше эпизодах этот мотив постоянно сопровождает происходящие столкновения... «Возмущенная публика», «сбежавшийся на шум народ»,



«прибежавшая с базара толпа мужиков» – всюду принимает сторону безоружных граждан. В Костроме печатно провозглашается необходимость запастись оружием ввиду систематических насилий со стороны офицеров; в Екатеринославе Греков убивает наповал оскорбившего женщину и обнажившего саблю офицера Петрова; наконец, в случае с Еглевским настроение толпы принимает такой угрожающий характер, что требует экстренных мер, и против негодующего народа выдвигаются войска. И это, конечно, потому, что за пьяными и иступленными Еглевскими и общество, и народ чувствуют не случайные выходки отдельных буянов, а признаки настроения военной среды, привычку многих ее представителей безнаказанно топтать чужое достоинство и чужую честь... Самое объявление губернатора, извещавшего население о том, что он производит дознание лично, указывает очень красноречиво на недоверие к беспристрастию военного правосудия, на которое с такой горечью указывает (с противоположной точки зрения) и предсмертная апелляция несчастного Ковалева.

Генерал Ковалев, несомненно, является жертвой своей среды и ее нравов. По многим прежде бывшим примерам он тоже имел полное основание считать себя Моисеем, безнаказанно разбивающим скрижали. Эта уверенность на сей раз его обманула: обычные приемы кастового суда встретились с возрастающим не по дням, а по часам правосознанием русского общества. И в ответ на приговор первой инстанции раздался такой гром единодушного негодования и протеста, что... генерал Ковалев остался одиноким...

В своем предсмертном письме он говорит, что не раскаивается в своем поступке. Но не всегда он говорил таким образом. Еще недавно, после тифлисского разбирательства, он поместил в «Новом Времени» письмо, в котором звучит явная попытка смягчить подавляющее общественное негодование. Там он говорил, между прочим:

.....

*«Оспаривать справедливость нравственной оценки моего преступления я не могу, потому что сам себя осуждаю и, наверно гораздо строже, чем*

*кто бы то ни было»[119]. Но если так – то и последствия очевидны: за виной и притом виной тяжкой, должна следовать ответственность, условия которой заранее и безлично установлены законами. Только этого и добивалось и общество, и печать в деле ген. Ковалева.*

.....

Он не захотел или просто не имел мужества принять эту ответственность в условиях, гарантирующих также и потерпевшую сторону. Он предпочел этому смерть...

Это его дело... Ни обществу, ни печати не в чем упрекнуть себя. Могила ген. Ковалева говорит не об излишней суровости общественного суда, а лишь о том, что на смену русской бессудности идет возрастающее гражданское самосознание.

## VI

Моя статья была уже закончена, когда газеты принесли новое потрясающее известие. 18 июня офицер проходившего через Курск эшелона артиллеристов на неповиновение и грубость солдата ответил смертельным ударом шашки. А возмущенная этим толпа напа-

ла на вагон, в котором заперся отстреливавшийся офицер, вывела оттуда сопровождающую последнего семью и зажгла вагон. Офицер погиб.

Таковы первоначальные известия об этой потрясающей трагедии. Каковы бы ни были дальнейшие подробности, они не в состоянии изменить ее глубокого основного значения. «Рефлексии», так беззаботно рекомендуемые генералом Драгомировым, двусторонни, обоюдоостры и опасны...

Наконец, для отдыха от мрачных впечатлений мне приятно привести известие другого порядка. Газеты сообщают, что «от имени многих офицеров гвардейских и артиллерийских полков послано ходатайство о разрешении собрания офицеров для обсуждения некоторых вопросов, касающихся положения офицеров в обществе». В ходатайстве указывается, что офицеры сознают свою оторванность и отчужденность...

.....

*«Мы чувствуем себя словно в завоеванной стране, – говорится в ходатайстве, – и такое положение становится*

невыносимым»[120].

.....

Исход ясен. Он в признании, что военные должны стать гражданами своей страны, что закон должен быть один для всех, что профессиональная нравственность не может стоять в противоречии с началами, которые признаны всем обществом... Только тогда исчезнут и отчужденность, и оторванность, и ковалевские трагедии, и курские ужасы, и многое, многое другое.

1905 г.

**Кто виноват?**  
**(Несколько слов «Русскому Инвалиду»**  
**[121])**

— **О**братили ли вы внимание на два номера «Русского Инвалида», в которых военный официоз говорит о статьях «Русского Богатства»?

Этот вопрос мне предложил один из наших читателей, бывший военный, продолжающий интересоваться военными делами и военной литературой.

Мне пришлось ответить, что, к сожалению, на эти номера мы как-то внимания не обратили. Столько теперь «полемизируют», и часто полемизируют в таком тоне, что далеко не за всем уследишь, и далеко не за всем стоит следить. К сожалению, и в военной прессе, которой подобала бы, по-видимому, особая сдержанность выражений, нередко встретишь «статьи», ничем не отличающиеся от расхожей черносотенной печати. Есть, например, журнал «Военный Мир»; в этом журнале в марте месяце была напечатана заметка «Ритуальное убийство», которая по решительности заключений, по литературности и по общему тону могла бы украсить страницы «Двуглавого Орла», издаваемого в Киеве известным «студентом» Голубевым. «Возмущенные горожане едва не произвели резни евреев. И только благодаря стараниям бургомистра эта справедливая месть не была приведена в исполнение»[122]. Это говорится по поводу одного из «исторических» эпизодов с ритуальными убийствами, и напечатано это не в уличном черносотенном листке, а в «Военном Мире». Таким образом, для этого военно-

го органа ничего не разбирающий погром не есть грубое проявление дикого самосуда; а убийство озверелой толпой женщин, стариков, детей является осуществлением «справедливой мести». Понятно, какими полемическими перлами украшают такие авторы свои статьи по адресу инакомыслящих и как мало поучительного можно найти в таких «выступлениях».

Наш собеседник находил, однако, что «Русский Инвалид» – не «Военный Мир» и что со статьями его по нашему адресу и обвинениями, которые он против нас выдвигает, ознакомиться не мешает.

Мы ознакомились, и отсюда эта несколько запоздалая заметка.

Речь в «Р. Инвалиде»[123] идет о статьях наших сотрудников: г-на Мстиславского («Помпонная идеология» и «Без евреев») и г-на О. Кр. («Армейская дидактика»). Статей г-на Мстиславского мы пока касаться не будем. Читателям известно, что по этому поводу мне, как официальному редактору «Русского Богатства», придется в более или менее близком будущем вести «полемику» в судебных

инстанциях. Еще недавно в русской печати всех направлений было принято в таких случаях приостанавливать полемику до судебного разбирательства. Но... не по одному только этому вопросу литературного поведения мы, вероятно, разошлись бы с нашими оппонентами из «Русского Инвалида». Да и вопрос по нынешним временам слишком уж «тонкий».

Есть кое-что и поглубже, в чем, по-видимому, договориться было бы легче. Касаясь «Помпонной идеологии», автор полемики говорит, между прочим, что г. Мстиславский «понадергал особенным остроумным, но не серьезным образом подлинные цитаты из статей «Русск. Инвалида», «Разведчика», «Вестника русской конницы», из коих «совершенно искусственно создает картину ничтожества военной среды». Мы были бы очень огорчены, если бы кто-нибудь доказал, что наш сотрудник неправильно распорядился с цитатами. К счастью, никто еще не попытался этого доказывать (и наш оппонент признает цитаты «подлинными»). Но нас радует, что, по-видимому, у нас с автором из «Русского Инвалида» есть хоть одна общая отправная



точка: очевидно, и военный орган признает, что с цитатами надо обращаться добросовестно и что «жонглирование фразой» есть вещь предосудительная...

Очень жаль только, что официозная газета не считает это правило обязательным на своей собственной территории. Вот, например, как ее автор передает своим читателям мысли противника: он (г. О. Кр., автор статьи «Армейская дидактика» в мартовской книжке «Р. Богатства») «становится в позу, извергает из себя фонтан фраз на тему о зависимости русского обывателя от «опричника-армейца» и т. д. Нам кажется, что если вместо того, чтобы привести точно слова противника, говорят об его позе и о фонтане, то это и есть «жонглирование фразой», в которой «Р. Инвалид» обвиняет других. Еще хуже, когда чужие якобы слова неправильно ставятся в кавычки. Кавычки всегда подчеркивают «дословность» цитируемого, и читатели «Инвалида», вероятно, удивятся, когда узнают, что во всей статье г. О. Кр. слова «опричники-армейцы» не встречаются ни разу, и никаких «фраз о зависимости обывателя» вообще нет. Автор

идет еще далее: он приписывает г-ну О. Кр. «возмутительную картину, наподобие той, которая представилась глазам кн. Серебряного, увидевшего опричников с песьими головами» и т. д. Итак, наш военный полемист сначала незаметным образом втискивает свое собственное выражение в чужие кавычки, а потом приписывает противнику картину, которой в разбираемой статье тоже нет. Есть даже как раз обратное: «Я имею основание думать, говорит г-н О. Кр., что далеко не вся армия проникнута такими представлениями о порядочности и чести, какие рекомендует г. Кульчицкий и некоторые военные воспитатели». И дальше он приводит мнения других военных, что «армия есть только часть целого, плоть от плоти, кость от костей своей нации» [124]... и т. п.

Как видите, автор не только не изображает всю данную среду опричиной с песьими головами, но, наоборот, старается защитить ее от огульного обвинения в тех взглядах, на которые нападает. Полагаю, мы вправе поэтому вернуть «Русскому Инвалиду» упрек в жонглировании фразами, с неприятным прибав-

лением, что даже и самые фразы, которыми «жонглируют» на его страницах, не подлинные.

Есть, увы! и другие, не более изящные черты этой официозно-военной полемики, на которых мы не станем останавливаться подробно. Вот, например, взятые наудачу фразы: «С ловкостью, какой позавидовал бы и всякий другой (?!) еврей». Удивительно «тонкий» и убийственный намек, что г. Мстиславский – еврей. Не значит ли это, однако, слишком развязно утверждать более того, чем знаешь? Правда, вопрос для нас довольно безразличен: участие евреев мы нимало не считаем предосудительным, хотя бы это были и не Гурлянды, оказывающие такие ценные услуги официозной «России». К сожалению, однако, «Русский Инвалид» позволяет себе говорить больше (и даже бесконечно больше) того, что знает, и не в столь безобидной области. Он говорит и говорит дважды (по поводу статей г-на Мстиславского) о каких-то таинственных «заказах» («хорошо исполненный заказ», «по тому же, вероятно, заказу»). Намек ясен: речь, очевидно, идет о «еврейских зака-

зах», иначе говоря о литературной подкупности. Писать по таким побуждениям есть величайшая гнусность.

.....

*Кто действительно способен этим возмущаться, тот прежде всего обращается с такими обвинениями осторожно и не позволит себе кидать грязные намеки вскользь, мимоходом, без оснований и доказательств... Кто делает это с таким легким сердцем, тот, очевидно, не способен чувствовать всю силу такого обвинения.*

.....

Сдержанность, пропорциональная серьезности обвинения, обязательна для всякого, кто хочет оставаться джентльменом в печати. Легкость, с которой перекидывается такими полемическими аргументами уличная пресса, едва ли приличествует тону официоза, и притом еще военного... Таково наше гражданское мнение по этому вопросу литературной этики. «Рус. Инвалид», по-видимому, думает иначе...

## II

Все это (вплоть до неподлинных кавычек)

довольно, как видит читатель, неоправданно. И если все-таки мы решаемся вернуться к статье «Русского Инвалида», то лишь потому, что нападение военного официоза ставит по существу некоторые вопросы из такой области, в которой «гражданская точка зрения» сильно расходится с точкой зрения военной (впрочем, только данного момента и при данных условиях).

Речь идет о книжке г-на В. М. Кульчицкого.

В. М. Кульчицкий, – человек, очевидно, военный, книга называется «Советы молодому офицеру». В предисловии ее сказано, что цель ее издания – избавить молодых офицеров от промахов и ошибок, как в частной жизни, так и на службе, что тут собраны старые, но вечно новые истины и т. д. Дальнейшую ее характеристику читатель может возобновить в памяти по статье г-на О. Кр. «Армейская дидактика» («Русское Богатство», март 1912 г.).

Книжка отчасти смешная. С этим как будто готов согласиться и защитник из «Русского Инвалида». Он допускает, что, «как всякие советы, сводящиеся иногда к несколько смешным «правилам хорошего тона», брошюрка

эта представила богатое поле для изощрения остроумия». Допускает даже, «что «Советы молодому офицеру» действительно заслужили, чтобы над ними посмеялись». Но затем автор спохватывается и заявляет, что это он допускает лишь на секунду (всякие советы этого рода несколько смешны... на секунду?). Есть в ней и сторона очень серьезная. «Наряду со смешными советами вроде указания, что в обществе не совсем прилично закладывать ногу на ногу, автор обличения армейской дидактики выуживает и «страшные» советы, как поступать в случаях, когда офицеру приходится пускать в ход оружие. Необходимость оговорить и такой случай из жизни непредубежденному сознанию должна быть понятной. Стоит вспомнить гибель несчастного Пиотух-Кублицкого, заплатившего жизнью именно за неумение решить этот вопрос, в результате чего драма оскорбленного, но не отомщенного в глазах современного общества (!) человека и самоубийство. Сознанию автора разбираемой статьи (говорится далее в статье «Русского Инвалида») такая простая логика вещей, по-видимому, не под силу».

Никогда не следует выставлять своих противников слишком глупыми. Откуда автор взял, что г. О. Кр. возражает против «необходимости говорить» о тех случаях, когда «офицеру приходится пускать в ход оружие» не против нападающего врага и даже не в случае открытого восстания, а против безоружных соотечественников, в личных столкновениях, где офицер является и спорящей стороной, и судьей в собственном деле, и исполнителем смертной казни. Нет, говорить об этом надо, и мы теперь не возвращались бы к книжке г. Кульчицкого, если бы военный официоз именно этого пункта не взял под свою «авторитетную» защиту.

Да, говорить нужно. Но как и что говорить, в этом именно заключается узел вопроса. Нашему сотруднику, г-ну О. Кр., показалось интересным, что об этом можно говорить печатно так, как говорит г. Кульчицкий, и что эта точка зрения рекомендуется некоторыми «педагогами» военной молодежи чуть ли не как катехизис. А мне теперь интересно, что официоз военного ведомства тоже приобщается к этим далеко не забавным советам «армейско-

го дидакта».

Да, на многое теперь точки зрения официально-военная и гражданская (порой тоже официальная) радикально расходятся. Упомянутая, например, о драме Пиотуха-Кублицкаго «Р. Инвалид» совершенно напрасно упоминает о взглядах «современного общества». Случай этот еще памятен многим. Пьяный хулиган оскорбил офицера. Офицер не убил его на месте и потом застрелился сам именно оттого, что не убил. Такова эта драма Пиотуха-Кублицкаго, по словам «Русского Инвалида» «оскорбленного, но не отомщенного в глазах современного общества». Нет, что касается «современного общества», то все оно целиком, с его культурой, с его взглядами на законность и право, наконец с его положительным законодательством, основано на отрицании самоуправной личной мести, особенно мести кровавой. Общество борется со всяким самоуправством. Все личные счеты между своими членами, служившие в седые времена предметом самосудов, оно взяло в свои руки, отдав их суду, действующему во имя верховной власти в той или другой ее форме. Это



аксиома, начертанная на первых страницах всякой современно-общественной организации. Загляните в наш «свод законов», и вы найдете там статьи, строго карающие те же самые поступки, которые г. Кульчицкий с таким легким сердцем рекомендует «молодым военным» среди правил хорошего тона.

Я помню из времен своего детства офицера, который, в царствование императора Николая II-го, был разжалован в солдаты лишь за то, что, разгорячившись в споре с обывателем, позволил себе до половины вынуть шашку из ножен. Вот как смотрела на эти дела военная юрисдикция сурового Николаевского времени. С тех пор в военной среде произошли большие перемены во взглядах на этот вопрос, но все остальное современное общество с его гражданским законодательством только развивало дальше основную аксиому права. И если несчастный, по-видимому глубоко-симпатичный юноша Пиотух-Кублицкий погиб трогательной жертвой, то эта жертва принесена не «взглядам современного общества», а только взглядам современной военной среды, вернее некоторой ее части.

Взгляды эти, чисто специфические, для нас, остальных членов общества, необязательны. Наоборот: и основные начала всякого общественного устройства, и даже прямые статьи обязательных для нас законов предписывают нам взгляд прямо противоположный: кровавый самосуд в личном деле есть деяние, караемое и мнением «современного общества», и его законами...

Было бы интересно увидеть юриста, – военного или штатского безразлично, – который взялся бы оспаривать это положение.

### III

Но... пусть. Мы знаем, что взгляды официально-военной этики давно отделились в этом вопросе от взглядов общегражданских. И, конечно, не нашим слабым перьям остановить это разделение. Нам кажется, однако, что и в этом должны же быть известные пределы и что даже многие из тех военных, которые не разделяют нашей гражданской точки зрения на вооруженный самосуд, отвернутся, может быть, даже с негодованием, от той постановки, какая придана вопросу нашим армейским дидактом г-м Кульчицким.

.....

*Бывают случаи, когда даже присяжные оправдывают прямое убийство. Это тогда, когда оно совершено под влиянием аффекта: человек не мог стерпеть внезапного оскорбления своей личной чести или чести семейной... Он забывает все: святость человеческой жизни и собственную судьбу.*

.....

Этот последний момент (самозабвение, жертва своим будущим) облагораживал в прежние времена поединки. Они карались строго, иной раз вплоть до разжалования. Но люди не считались с этими последствиями из соображений правильно или неправильно понятой чести. Человек рискует жизнью – естественно, что он не думает об испорченной карьере. В порыве гнева он убивает обидчика, но при этом он забывает и о своей разбитой жизни. Честь мундира! Предполагалось, что это – мотив, всегда вызывающий в военном аффект самозабвения. При оскорблении личной чести он еще может сдерживаться и регулировать свои поступки дуэльными правилами. Но при оскорблении мундира он испытывает такой внезапный прилив бурно-

го гнева, что забывает все: и ответственность, и то, что перед ним, вооруженным, стоит человек безоружный, не могущий защищаться. А ведь такая победа всегда бесславна...

Таковы были презумпции. Теперь... Уже поединок по предписанию, по обязанности, с разрешения начальства сильно изменяет психологическую картину дуэлей... Но все же там остается (хотя и весьма незначительный) риск собственной жизнью. В случае же убийства безоружного, убийства, требуемого новейшим «кодексом военной чести» и фактически почти безнаказанного, нет и этого мотива. Тут уже всякая фикция неудержимого аффекта исчезает... Но вот является еще г. Кульчицкий и печатно доводит эту фикцию до такого крайнего логического и нравственного абсурда, что защита его официальным органом военного ведомства является прямо чем-то совершенно уже изумительным и непонятным.

Припомним, в самом деле, соответствующий «совет молодому офицеру».

.....

*«Если, – говорит армейский дидакт, –*

обстоятельствами принужден прибегнуть к силе оружие – полумер не должно быть. Бей наповал и непременно с одного раза. Даже за одно обнажение оружие ответишь по суду. Бойся живого, а мертвый безвреден и на суде. Раненый и калека – ярмо. Он обвинит тебя на суде. Спасая себя от ответственности (!), оклеветает, а ты, не доказав его лжи, хотя и прав, погиб или принужден содержать его всю жизнь (не убитого тобою), вследствие решения экспертов и суда, как неспособного к труду после увечья».

.....

Можно ли более опошлить предмет, чем это сделал автор «дидактики»! Вместо доводящего до самозабвения неудержимого душевного порыва, заставляющего забывать о святости чужой жизни, о нарушении законов божеских и человеческих, вместо «самоотверженной» защиты чести мундира (допустим, что так), – одним словом, вместо правильно или неправильно понимаемых традиций старого рыцарства, г. Кульчицкий вводит низменно-мещанский, холодный, прозаический расчет. Расчет сутяжнический и торгаше-

ский. Бей своего штатского соотечественника непременно насмерть. Это тебе выгодно. Выгодно юридически: ты устраняешь опасного свидетеля на суде... Убив безоружного, постарайся еще обезоружить и его память... И кроме того... есть тут еще и прямо денежный расчет: не придется тратиться на содержание изувеченного тобой калеки!..

Вот к каким побуждениям сводит г. Кульчицкий вопросы рыцарства и чести! Вот какую мораль рекомендуют некоторые педагоги военной молодежи, вступающей в жизнь... И вот, наконец, что находит поддержку в официальном органе военного ведомства!..

Мне хотелось бы думать, вместе с г-м О. Кр., что далеко не вся армия проникнута такими взглядами и что во многих сердцах под военными мундирами шевельнется чувство возмущения и брезгливости от этих меркантильно практических расчетов «армейского дидакта».

Может быть, даже в недрах самого «Русского Инвалида» отыщутся люди, которые найдут, что защита таких «советов» на страницах военного органа должна быть названа по са-

мой меньшей мере прискорбным недоразумением?

Или это надежда слишком смелая?

#### IV

А пока «Инвалид», не довольствуясь защитой, переходит в нападение. И тотчас же опять маленькое «недоразумение». Автор уверяет, будто наш сотрудник г-н О. Кр. «доказывает благосклонному читателю «Русского Богатства», что все многочисленные столкновения офицера с толпой – результат вычитанных им дурных советов».

Но ведь это, в самом деле, удивительно – эта беспечная неряшливость, с какой на страницах официоза передаются чужие слова и мнения. Никогда подобной глупости о «всех столкновениях» наш сотрудник не говорил. Так позволяет себе наш оппонент передавать его фразу: «Неизвестно, читал ли поручик Кугатов “Советы молодому офицеру”». Значит, во-первых, речь идет не о всех случаях, а об одном, и в этом одном случае... «неизвестно»... Передача, можно сказать, более чем вольная, и даже не передача, а прямо переделка и извращение! И вслед за этим полеми-

ческим приемом наш оппонент продолжает с той же беспечностью:

«Но если бы сознание автора (т. е. г-на О. Кр.) прояснилось хоть на минуту (sic!), он немедленно понял бы, что, наоборот, именно в распространении статей, подобных «Армейской дидактике» или «Помпонной идеологии», лежит огромный заряд отрицательной энергии, которую авторы старательно заряжают своих читателей. Неискренним после этого кажется удивление этих господ, когда внушенное им разрядится в первом же уличном столкновении, где заранее все шансы на мирный исход убиты их же рассеивающей пропагандой отрицательного отношения к армии».

Обвинение тяжеловесное, и еще в недавние годы такого (хотя бы и столь же неосновательного) утверждения на страницах официоза было бы достаточно, чтобы немедленно вызвать торопливую административную репрессию. Теперь мы, кажется, имеем возможность со всей подобающей вежливостью спросить:

– Вы это утверждаете, господа? Хорошо. Го-



Товы ли вы доказать это?

Чтобы облегчить задачу, мы вам предлагаем следующий прием: мы процитируем неудачу оглашенные печатью случаи «прискорбных столкновений», а вы будете любезны указать: в чем именно тут усматривается влияние статей «Русского Богатства»?

Вот эпизоды, приводимые г-м О. Кр. Инцидент поручика Кугатова. Вы его помните: поручик Кугатов поселился несколько неосторожно в таком месте, куда прежде городская молодежь ходила довольно бесцеремонно. Его жена сидела на скамейке. Молодой приказчик Поляков подошел к ней с грязным предложением. Его арестовали.

Казалось бы, конец у мирового. Никакой чести мундира Поляков не оскорблял и даже не знал, к кому подходит. И однако поручик Кугатов явился в участок, приказал привести к себе арестованного, изрубил его шашкой и изрешетил пулями на глазах у полицейского караула...

Случай достаточно «прискорбный» даже с чисто военной точки зрения (стоит припомнить устав о караульной службе, не говоря о

прочем). Но... мы спросим авторов «Русского Инвалида», кто, собственно, здесь начитался статей «Русского Богатства» до такой степени, что «все шансы на мирный исход оказались заранее убитыми»?

Изрубленный Поляков?

Или изрубивший Кугатов?

Или городовые, почтительно созерцавшие незаконную расправу?..

Другой эпизод из той же области: в Тифлисе идет вагон трамвая. В вагоне между другими пассажирами – почтенный штатский старик, убеленный сединами, и два офицера. Офицеры курят. Штатский напоминает о правиле, воспрещающем курить в трамваях. Молодые люди зовут городского и... почтенного старца по их (совершенно незаконному) приказу тащат в участок «для выяснения личности». В участке оказывается, что неизвестный – член судебной палаты. Полиция получает выговор, «молодые люди» вынуждены на сей раз извиниться.

Не думает ли «Русский Инвалид», что этот финал последовал благодаря тому, что в Тифлисе не читают «Русского Богатства», а не

потому, что неизвестный оказался «особой»?

Далее: вот факты, оглашенные в последнее время газетной хроникой в различных местах нашего отечества.

Киев. Ночью на 1 мая в кафе-шантан «Аполло» явились две компании офицеров в сопровождении дам. Тут была не одна зеленая военная молодежь. Газеты называют фамилию одного генерала, одного полковника генерального штаба, и сам герой столкновения – подполковник (по другим известиям полковник) по фамилии Лилие. В отдельный кабинет был вызван хор и пианист Штрейнберг. Кутили до утра. В 4 часа полковник Лилие потребовал у пианиста, чтобы тот сыграл «Саратовский марш». К несчастью, пианист не умел играть Саратовского марша без нот. «Ответ этот, – эпически повествует газетная хроника, – почему-то возмутил полковника Лилие, и он, выхватив отточенную шашку, воткнул ее острием в голову пианиста, ниже правого уха. Клинок вышел через рот наружу, задев сонную артерию. Штрейнберг тут же скончался. После него осталась большая семья, без всяких средств существования»[125].

Это в Киеве, в блестящем ресторане. Теперь глухой Аткарск, убогая пивная мещанина Сидорова. В ней казачий офицер в компании с казаком. За прилавком жена Сидорова. Захмелев, казак и офицер потребовали, чтобы им привели женщин. Сидорова отказалась, пояснив, что она сводничеством не занимается. Офицер, при уплате денег, без всякого другого повода ударил ее по лицу. Поднялся крик. Прибежала невестка Сидоровой. Оба воина набросились на пришедшую и стали наносить ей побои кулаками и ногами. Сбежалась толпа пароду, но никто не рискнул заступиться за избиваемую. Казаки спокойно ушли в свои части, избитую увезли в больницу[126].

Оба случая в мае. А вот в Сретенске (Забайкальской области) 15 апреля случай еще более яркий. «Один из офицеров 16-го Восточно-Сибирского стрелкового полка с компанией отправился в публичные дома. Обойдя четыре «заведения», компания зашла в пятое, где офицер... обнажил шашку и замахнулся на одного из служащих, но был вовремя обезоружен. Тогда офицер вызвал дежурную роту

солдат и, отдав приказ заряжать ружья, приступил к осаде заведения... Далее корреспондент описывает картину осады и взятие своеобразной крепости, которую мы повторять не станем. Корреспондент уверяет (и до сих пор это не опровергнуто), что «солдаты гонялись за проститутками, ловили их и насиловали... с разрешения начальства... угрожая штыками»[127].

Я не стану продолжать. «Русский Инвалид» поверит мне, что, подвигаясь вглубь недавнего прошлого, я могу чуть не каждый месяц отметить двумя-тремя «хроническими» заметками такого же рода из разных мест: от столичных улиц, ресторанов и площадей до дальних городов и пивных Сибири. Воздерживаюсь также от толкований. Мы в данном случае не нападающая сторона, а только защищающаяся. Мы ждем, что «Русский Инвалид» укажет связь между статьями «Русского Богатства» и участием несчастного Штрейнберга или избитой Сидоровой.

Нелепость обвинения, с которым выступил против нас «Русский Инвалид», надеюсь, очевидна.

Теперь мы позволим себе остановить внимание официоза на одном очень громком эпизоде недавнего времени. Дело происходит в Уральске. На полицмейстера Ливкина поступает жалоба двух жителей, евреев, – полицмейстера Ливкина обвиняют во взяточничестве и вымогательстве. Положение, конечно, неприятное. Полицмейстер Ливкин служил до полиции на военной службе. Вымогательство, несомненно, марает мундир, но... служит ли мундир гарантией, что вымогательств не было? Иначе: можно ли сказать, что обвинение человека, носившего военный мундир, беспримерно и само по себе невероятно?

Конечно нет. Достаточно вспомнить многих интендантов, в том числе из настоящих военных. Почти параллельно с «делом» Ливкина шло несколько дел, где военные обвинялись в хищениях: командир 34-го казачьего полка С. приговорен за растрату к трехгодичному заключению в арестантское отделение с лишением прав[128]; командир миноносца капитан Гол-ин растратил 3,155 рублей и приговорен военно-окружным судом в Севастопо-

ле к исключению со службы и заключению в крепости на 16 месяцев. Там же поручик Ляшков; в Вильно поручик Носов; в Новочеркасске ген. – майор Тевяшев (присвоение казенных денег и подлоги); шт. – кап. Янченко в Харькове, казначей Усть-Двинской крепостной артиллерии г. Иванкович – все они доказали печальным опытом, что военной среде свойственны те же слабости, как и всякой другой. Не далее 7 марта нынешнего года особое присутствие Спб. судебной палаты признало капитана Задарновского, помощника пристава, виновным в деяниях, в каких пытались жалобщики обвинить уральского Ливкина.

Предстояло следствие, суд, может быть, арестантские роты. Был ли виновен капитан Ливкин в том, в чем его обвиняли? Теперь можно говорить лишь о вероятностях. Мы полагаем, что, если бы он не был виновен, то принял бы все меры, чтобы довести дело до суда, где постарался бы опровергнуть позорное обвинение. Он счел, однако, более выгодным поставить дело иначе. Он – военный. Значит, обвинение его задевает честь мунди-

ра. Он становится под защиту своего мундира, отправляется к одному из жалобщиков и... убивает его наповал. Потом едет к другому и тоже, «без полумер», кладет его на месте... Таким образом, обвинение в лихоимстве и вымогательстве он подменяет другим: убийством в запальчивости и раздражении, для... «защиты чести мундира». Расчет оказался, по-видимому, правильным, и теперь довольно трудно категорическое решение вопроса: г-н Ливкин защищал честь мундира или фикция мундирной чести прикрыла вымогателя и лихоимца?

.....

*Чрезвычайно интересно, что, когда одному свидетелю, военному, представитель гражданского иска задал вопрос: как следует военному человеку «реагировать» на такие официальные, подаваемые в законном порядке жалобы, то этот свидетель ответил, по-видимому, с глубочайшим убеждением:  
– Реагировать надо оружием...*

.....

Это последовательно: вымогательство – деяние бесчестное, позорящее и человека, и, до-



пустим, мундир. На оскорбление мундира надо «реагировать оружием». Вот два жалобщика и убиты...

Еще шаг на пути этой последовательности: показание свидетеля тоже может быть оскорбительно – убить надо и свидетеля. Но больше всего, конечно, позорит приговор суда. Значит... При дальнейшем развитии этих начал гг. Ливкиным приходится убивать и судей?.. И все это будет считаться защитой военной чести? А не защитой преступлений?

Берегитесь, господа... Посмотрите, кто еще за гг. Ливкиными тянется к этой очень «выгодной» аргументации.

В Каменец-Подольске в марте текущего года разбирался процесс полковника Мордвинова. Это фигура почти фантастически уголовная, что-то вроде Рокамболя в военном мундире. Он увлек молодую женщину и женился на ней, предварительно потребовав, чтобы она сделала завещание в его пользу. Ослепленная любовью женщина исполнила это, но, когда у нее родилась дочь, а муж предстал в настоящем его виде, она стала подумывать о перемене завещания. Тогда полковник

Мордвинов решил убить ее и шел к этой цели до такой степени откровенно, что местные власти сочли необходимым приставить к несчастной Мордвиновой особого полицейского пристава для охраны. Но пристав, по словам газет, «оказался трусом»: Мордвинов застрелил жену на его глазах, а он убежал при первом выстреле.

Не торопитесь, господа. Не говорите, что я ставлю этого корыстного убийцу на счет всей русской армии. Нет, наоборот: Мордвинова презирали и в военной среде. За некоторые бесчестные проделки офицеры его полка не подавали ему руки. Начальник штаба 12-й дивизии характеризовал его нахалом, лживым хвастуном и скандалистом. Но... было и другое к нему отношение из той же военной среды. На суде сторону Мордвинова держал, между прочим, отставной полковник Марков, одесский «союзник», сподвижник знаменитого ген. Каульбарса. Он рассказывает, что ген. Каульбарс считал Мордвинова истинным патриотом, подарил ему карточку с собственноручной надписью, а отрицательное к нему отношение офицерства объяснял «революци-

онным настроением»!

Генерал Каульбарс, конечно, не армия, и я привожу эти сведения, чтобы показать, как трудно охватить одним словом ее настроение. Интересен в этом эпизоде не ген. Каульбарс, а то обстоятельство, что и полк. Мордвинов, после совершения убийства жены с явно-корыстной целью, счел возможным, подобно Ливкину, потянуться под защиту «чести мундира». На суде, – писали в газетах, – он держится с бахвальством, кичится мундиром, говорит об оскорблении чести... Землевладелец Павликовский показал, что «все свои скандалы Мордвинов объяснял защитой чести носимого им мундира». Надежда на этот аргумент и при убийстве жены была в нем так сильна, что, по показанию полицейского стражника, уже арестованный, он обратился к народу со словами: «Не поминайте лихом. Я скоро возвращусь и всех вознагражу»[129].

Мордвинову не удалось: каменец-подольские присяжные, разбиравшие это дело, осудили его без всяких смягчений, и его шумная карьера по заслугам закончится на каторге. Но не страшно ли думать, что даже в таком

деле, направляя револьвер на незащищенную женщину, он мог надеяться, что его защитит «честь мундира»?

Вы скажете: надежда безумная? Почему же? Силу этого аргумента он уже отчасти испытал на безнаказанности прежней своей «наглости и скандалов», которые засвидетельствованы и начальником штаба 12-й дивизии, и землевладельцем Павликовским. Это во-первых, а во-вторых, полицмейстеру Ливкину удалось же заменить неприятное дело о вымогательстве (гражданский суд) гораздо более «выгодной» ответственностью перед судом кастовым за убийство двух человек во имя якобы чести мундира?..

Ливкин открыто стремился к этому и достиг. На суде жена его говорила прямо: муж объяснял ей убийство двух человек тем, что он предпочтет лучше судиться за убийство, чем за вымогательство.

Чрезвычайно приятное, в высшей степени удобное право выбора самим преступником предмета для судебного исследования!..

## V

Я хорошо понимаю, что всякому человеку,

носящему военный мундир, очень неприятно читать то и дело о таких «прискорбных явлениях», порой с комментариями, хотя бы и самыми корректными, но уже не с военной, а с гражданской точки зрения. Однако не можем же мы, «штатские», рукоплескать, когда обязательное для нас обращение к суду заменяется для господ военных неписанным правом и даже «обязанностью» стрелять или рубить нас без всякого суда и когда гг. Кульчицкие в руководствах хорошего военного советуют бить нас наповал, так как это гораздо «выгоднее» с разных точек зрения...

Ожидать этого было бы наивно. Но так же наивно объяснять возникающие отсюда чувства не самыми фактами, а их оглашением в печати, как это делают авторы «Русского Инвалида». Неужели семья человека, убитого при обстоятельствах, при каких убит городской офицером Вачнадзе, или семьи тех, кого переранили в инциденте братьев Коваленских... или их родственники, знакомые, соседи, сторонние свидетели, сбегаящиеся на выстрелы и крики, – будь это в столице или в отдаленном Аткарске, – неужели все они могут

сочувствовать такой несомненно незаконной расправе и русского обывателя приходится отучать от этого сочувствия какими бы то ни было статьями газет и журналов...

Наконец, ведь эта все растущая волна «прискорбных столкновений» насчитывает уже не одну «земскую давность». Началась она и все крепнет еще со времен министра Ванновскаго; ее развитие шло в те годы, когда подцензурная печать не имела возможности не только комментировать, но часто и оглашать такие факты. И, однако, при этом безмолвии то и дело вспыхивали столкновения, обнажались шашки, гремели выстрелы, лилась кровь, и собиралась толпа, которая не всегда вела себя так смирно, как в Аткарске... Порой на незаконный самосуд гг. офицеров она действительно отвечала своим столь же незаконным самосудом. Но собирали ее – тогда-то уж во всяком случае – не статьи газет и журналов, а стоны, крики и выстрелы...

Конечно, причина этих явлений лежит глубоко, и объяснять их все правилами г-на Кульчицкого было бы так же наивно, как наивно винить в этом гражданскую прессу. Для

меня несомненно, однако, что одним из условий, способствовавших развитию зла, является русская безгласность, то обстоятельство, что военная среда слишком уж долго оберегается от непрофессиональной критики, от очищающего и укрепляющего смеха русской сатиры.

Такое ограждение вредно для нравов оберегаемой среды, для ее самосознания и для ее внутренней силы...

.....

*«Россия – такая чудная земля, – сказал когда-то Гоголь, – что если скажешь что-нибудь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессора от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. То же разумеи и о всех званиях и чинах». Когда гениальный сатирик еще в сороковых годах поставил своего «Ревизора», среди бюрократии поднялось великое негодование и тревога. «Посягательство на основы общества». И, однако, «Ревизор» был поставлен в присутствии императора Николая, несмотря на то что этот государь чувствовал глубину и силу сатирического удара. Известна его исто-*

*рическая фраза при выходе с первого представления Гоголевской комедии: «Досталось всем, а больше всех мне».*

.....

Еще в те времена (правда, с колебаниями и возвратом репрессий) с бюрократического мира снято волшебное «табу». Чиновник стал доступен и критике, и сатире. Даже порой чиновник крупный, не только «коллежский ассессор», но и «действительный статский советник».

Среда военная до сих пор остается неприкосновенной: военный мундир не допускается на сцену, как священническая ряса. Это достигается соединенными усилиями драматической цензуры, администрации с ее чрезвычайными полномочиями и нередко прямыми выступлениями самих военных. Доходит это порой до курьеза. Совсем недавно, в гор. Гродно, на вечере в пользу Красного Креста, один из артистов показывал, как танцуют: «гимназист, студент, чиновник, старый штатский генерал... Все смеялись. Но вот дошла очередь до старого генерала военного звания. Может ли старый военный танцевать несколько



смешно? Задевает это честь мундиров тех полков, где он мог служить в своей молодости, когда, вероятно, танцевал гораздо лучше?.. По-видимому, нет. Но вот один из присутствующих генералов в негодовании вскакивает с места и командует: «занавес!», прибавляя разные ходячие словечки о жидах и о прочем. Возмущенная публика (все читатели «Русского Богатства»?) покидает зал, вечер испорчен, а на другой день корпусный командир выражает генералу Ю-чу благодарность за то, что он «не дал опорочить честь мундира»! [130] «Честь мундира» требует, значит, чтобы отставные генералы в 80 лет танцевали с резвостью и грацией молодых подпоручиков?

В данном случае речь идет о легком шарже на любительских подмостках. Но и серьезной современной комедии и драме приходится с чувством зависти вспоминать о тех старых временах, когда Александру Сергеевичу Грибоедову было дозволено вывести на сцену своего бравого полковника, Сергея Сергеевича Скалозуба. Можно ли отрицать, что это была злая сатира на некоторые стороны тогдаш-

ней армейской психологии? «Хрипун, удавленник, фагот, созвездие маневров и мазурки!»

Невольно приходит в голову: можно ли было бы в наши дважды пореформенные дни вывести эту фигуру, служившую, как известно, «в тридцатом егерском, а после в сорок пятом». А если бы гению Грибоедова и удалось преодолеть цензурные рогатки, то... не пришлось ли бы автору иметь дело с генералом Ю. или другими защитниками чести военного мундира? И еще, как поступила бы с ним военная молодежь, носящая мундиры 30-го егерского и 45-го полков?..

Наконец как отнесся бы к Грибоедову современный суд, перед которым то и дело приходится ответственность нам, русским писателям, дерзающим порой касаться в той или иной форме типов и нравов современной военной среды?

Но история литературы не говорит нам ни о чем подобном по поводу Скалозуба. Тогдашняя армия не боялась сатиры. Военные рукоплескали в партере актеру, произносившему комические речение Скалозуба, а ранее сами

списывали его характерные монологи... И это была александровская армия... Армия, недавно вернувшаяся из Парижа, покрытая все-светною славой... Она не требовала неприкосновенности, она не боялась признать, что в ее среде есть Скалозубы, что, как среда, она доступна человеческим слабостям и смешному, хотя бы даже связанному с военной профессией. И это всего лучше защищало ее от отождествления всей армии с Сергеем Сергеевичем Скалозубом...

Теперь современная нам армия, имеющая за собой ряд тяжких несчастий и поражений, требующих глубочайшей вдумчивости и все-сторонней критики, остается все так же забронированной и неприкосновенной. И, к сожалению, те элементы ее, которые особенно кидаются в глаза, быть может, закрывая своими шумными выступлениями и манифестациями более глубокие и серьезные течения, о которых говорит и г. О. Кр., и г-н Мстиславский, успешно отстаивают эту забронированность. И им не только удастся проникать со своими притязаниями и взглядами на страницы смешных «правил хорошего тона», но

они находят защиту и на столбцах официозов;

Это печально... И это зловеще... Стоит в самом деле припомнить, что эта неприкосновенность нашей армии длится много лет; начавшись задолго до наших времен, она сопровождала ее вплоть до мрачной трагедии Ляояна и Цусимы. И что же? прибавила ли она крепости стенам наших фортов, непроницаемости броне наших судов, дальности полету наших ядер, стойкости нашим батальонам, талантов и находчивости нашим полководцам?

И теперь печатные военные органы, которые должны бы призывать к критике и обновлению, вновь заводят ту же старую песню, поддерживают кастовые привилегии и предвзятости, защищают нарушение законов и права, легкомысленно обвиняя гражданскую печать в последствиях. Это, конечно, легче, чем бороться с предрассудками и очищать нравы. Но не значит ли это бить в сторону наименьшего сопротивления, отводя таким образом внимание от настоящих источников зла...

1912

# • Часть третья •

## В суде

### Мултанское жертвоприношение

Дело по обвинению удмуртских крестьян в человеческом жертвоприношении было начато в 1892 году. В этом же году суд вынес обвинительный приговор, по которому девять крестьян были приговорены к каторжным работам. В 1895 году на вторичном разбирательстве мултанского дела Короленко присутствовал в качестве корреспондента. Царский суд и в этом случае признал удмуртских крестьян виновными и приговорил их к длительным срокам каторжных работ. 18 января 1896 года в письме к Н. Н. Блинову Короленко писал:

*«Рассмотрев все обстоятельства дела, я до такой степени твердо уверен в полной невинности этих людей и в самой подлой фальсификации следствия и дознания, что у меня нет и тени сомнения. В обвинительном акте – подлоги, в свидетельских показаниях – вы-*

*нужденность и насилие, в плане, приложенном к делу, – заведомые искажения».*

Короленко добился пересмотра дела. На этот раз оно слушалось выездной сессией Казанского окружного суда в мае-июне 1896 года в городе Мамадыше, Казанской губернии. На этом суде Короленко выступил в качестве защитника. Благодаря деятельности Короленко фальсифицированное обвинение было разоблачено и крестьяне оправданы. В письме к брату от 16 июня 1896 года он писал:

*«Думаю, ты порадовался и за самое дело, и за меня! Для всех моих друзей повсюду это было огромное торжество. Между тем, пока еще тут не раскрыта и половина и даже 1/10 доля тех подлостей, которые проделывались над несчастными вотяками, чтобы склеить это якобы «жертвоприношение». Тут просто действовала шайка полицейских с товарищем прокурора во главе...»*

### **Письмо в редакцию**

**Д**ва раза в гор. Малмыже и в последнее вре-

мя (1 октября) в гор. Елабуге, в заседаниях отделения сарапульского окружного суда выносится обвинительный приговор мултанским вотякам, обвиняемым в приношении языческим богам человеческой жертвы. Если таким образом в данном случае истина является результатом судебного разбирательства, то мы должны признать следующее. До настоящего времени, то есть до начала XX столетия христианской эры, наше отечество одно только сохранило на европейском континенте человеческое жертвоприношение, соединенное с каннибализмом (принятие внутрь крови жертвы).

.....

*Каждые сорок лет в разных местах, в шалашах, в середине или на задах вотских селений, ограниченным числом лиц, исповедующих христианскую веру греко-российского вероисповедания, убивается, после продолжительных мучений, человек, из которого вынимаются сердце и легкие, отрезается голова, а труп, по возможности, с полным удостоверением его личности, и особенно вероисповедания, выносится*



*на дорогу, где его могут заметить и предать земле непременно по христианскому обряду.*

.....

Мы должны допустить все это, иначе мултанское убийство остается необъяснимым, загадочным, а приговор – несправедливым осуждением невинных людей. Мы должны допустить это, хотя при этом допущении оказывается, что приблизительно через каждые сорок лет, и особенно после каких-нибудь болезней, дороги вятского края должны быть усеяны обезглавленными трупами жертв, с опустошенной грудной полостью и страшными следами каннибализма.

Правда, исследователи вотского быта не могут указать ничего подобного, а в уголовной хронике подобную находку мы встречаем еще первый раз. Правда, представителю ученой экспертизы, допускавшему на суде возможность жертвоприношения, приходилось ссылаться не на факты, а на сказки и притом не вотского, а черемисского народа, который в каннибализме никем не обвинялся. Все это правда, но мы обязуемся допустить все это

как факт, иначе придется признать, что судом два раза осуждены совершенно невинные.

В частности, по отношению к этому делу нам придется мириться с еще более трудными допущениями. Село Мултан со всех сторон окружено русскими деревнями и является как бы островом среди чисто русского населения. Дома села Мултан, в свою очередь, окружают сельский храм, недалеко от которого расположена вот уж около тридцати лет действующая церковно-приходская школа. И нам приходится, однако, допустить, что в полутора десятках сажений от церкви и школы, в ночь с 4 на 5 мая 1892 года, в шалаше вотяка Моисея Дмитриева висел подвешенный за ноги человек, которого тыкали ножами, источая из него кровь (для принятия внутрь, как намекает обвинение?). И в этом принял якобы участие солдат Тимофей Гаврилов, три года служивший в крепостной артиллерии в Динабурге[131], и Вас. Кузнецов, церковный староста мултанского православного храма? И это было в ту самую ночь, когда, опять в нескольких саженьях от места этого каннибальского жертвоприношения, ночевал в

Мултане становой пристав Тимофеев. И затем труп, обернутый пологом, вывезен из села вслед за выехавшим приставом, в девять часов утра, то есть среди белого дня, в мае месяце, то есть в разгар полевых работ, провезен, опять-таки днем, среди работающего народа, по землям русских крестьян и положен на пешеходную тропу, без головы, но с клоком волос в грязи, с посохом, с крестом, с удостоверением личности. При этом его должны были, опять рискуя встретить кого-нибудь среди белого дня, нести на руках на расстояние около полуверсты до места, где его увидела спустя полчаса после этого проходившая мимо крестьянская девочка!

Мы должны допустить все это, иначе опять-таки придется признать, что два раза судом постановляется несправедливый приговор и что второй уже раз осуждаются в каторжные работы невинные.

Я сейчас только вернулся из Елабуги, где происходило судебное разбирательство. После суда я посетил Мултан, был на мрачной тропе, где нашли обезглавленный труп Матюнина, сделал снимки тех мест, где соверши-

лась таинственная и мрачная драма, входил в шалаш умершего Моисея Дмитриева, где будто бы Матюнин висел на перекладине и где из него источали кровь; я ходил по изрытому полу шалаша, где искали (напрасно) следов его крови, и на полке, в углу шалаша отыскал запыленный образок Николая Святителя, который, если верить обвинению, глядел с своего места на каннибальский обряд. Я еще весь охвачен впечатлением ужасной, таинственной, неразъяснимой драмы, я привез с собой (разделяемое, надеюсь, всеми присутствовавшими на суде интеллигентными зрителями) тяжелое чувство, с каким был выслушан обвинительный приговор, – и мне хочется крикнуть: нет, этого не было! Нет, наше отечество свободно от каннибализма накануне XX века, нет, рядом с христианскими храмами не совершаются уже человеческие жертвоприношения!..

Но я понимаю, что истерическими криками тут не поможешь, поэтому предлагаю вниманию читателей прежде всего сухой материал для суждения об этом деле. Как известно, первый приговор по этому делу кассирован

сенатом. Кассационная жалоба, поданная защитником, основывалась на чрезвычайно веских мотивах. Читая эту жалобу, изумляешься невероятно легкому отношению, которое сарапульские судебные власти проявили к этому делу. На убийство с целью жертвоприношения посмотрели, как на самое заурядное убийство. Труп дожидался вскрытия в течение целого месяца!

.....

*Акт вскрытия составлен самым удивительным образом. Так, например, одна из важнейших примет преступления – пятна на теле убитого, которые, по мнению обвинения, произошли от прижизненных уколов ножами, – описаны так: «по соскабливании кожицы обнаружено, что пятна проникают на 1 линию в толщу кожи».*

.....

Число их определяется от трех до десяти. И этот акт не возвращен руководившим следствием товарищем прокурора для дополнения, хотя бы только для счета колотых ран, нанесенных жертве, может быть, с целью принятия внутрь ее крови! И на этих пятнах,

на которых уже после смерти Матюнина на-  
росла «верхняя кожица», обвинение настаивает до конца, как на доказательствах при-  
жизненного мучения обескровленной жерт-  
вы (несмотря на то, что сам врач, производив-  
ший вскрытие, горячо протестовал против та-  
кого объяснения). Становой пристав сам дол-  
жен был признать на суде, что понятия-вотья-  
ки приносили ему вещественные доказатель-  
ства в виде щепок с подозрительными пятна-  
ми, найденные недалеко от места находже-  
ния трупа. Но он уничтожил эти веществен-  
ные доказательства, признав их не имеющи-  
ми значения, и об этом не упомянул в прото-  
коле!.. Подсудимые-вотьяки, не знающие тон-  
костей судопроизводства, были лишены воз-  
можности вызвать свидетелей. К защитнику  
они обратились лишь за десять дней до суда,  
и защите пришлось довольствоваться свиде-  
телями, забракованными обвинительной  
властью. Между тем само обвинение загро-  
моздило судебное следствие показаниями о  
слухах, неизвестно откуда исходящих. Это бы-  
ли даже не просто слухи, а слухи о слухах. Се-  
нат привел это прямое нарушение закона,

как мотив отмены первого приговора. Но что же? Слухи о слухах остались в обвинительном акте, и на этом основании товарищ прокурора воспроизвел в своей речи, например, показание свидетеля Львовского, который слышал данное обстоятельство от неизвестного ему вотяка, имени, отчества и места жительства которого не помнит. Но и этот таинственный вотяк рассказывал свидетелю не как очевидец, а тоже по слухам, которые донеслись неведомо как с чужой для него Учурской и Уваткулинской стороны, где будто бы есть обычай человеческих жертвоприношений. И на этом-то сведении основано, между прочим, объяснение одного из важнейших обстоятельств дела – появление обезглавленного трупа на дороге.

Можно было ожидать, что после первой кассации приговора сарапульский окружной суд поймет, что перед ним дело, в правильном исходе которого заинтересовано не одно обвинительное или защитительное честолюбие, но вся Россия! Что приговор по этому делу будет приговором не над обвиняемыми только вотяками, но и над школой с. Мулта-

на, и над священником, сорок лет уже проповедующим в этом храме (в вызове которого защите отказано), и над всей нашей культурной миссией среди инородцев! Но сарапульский суд не так взглянул на дело. Вместо того чтобы дать защите возможность сказать все, что она может сказать, просьбу защиты о вызове новых свидетелей рассматривает в распорядительном заседании тот же состав, который участвовал в приговоре, отмененном сенатом; заключение дает тот же тов. прокурора г. Раевский, и в вызове свидетелей защите отказано! И не только новых свидетелей, но и оправданных подсудимых, которых защита имеет право вызвать по закону. Из двух экспертов-этнографов, высказывавшихся по этому предмету в печати, суд вызывает проф. Смирнова и отказывает защите в вызове г. Богаевского, который держится противоположных мнений. Из двух священников села Мултана вызван о. Ергин, живущий в Мултане два года, а не другой священник, который сорок лет провел среди своей паствы!

Впрочем, я опять отвлекаюсь от прямой задачи этой заметки, которая должна служить



вступлением к сухому отчету о мултанском деле, – отчету, для которого «Русские ведомости» с нынешнего дня открывают свои страницы. История этого отчета следующая. По приглашению моих товарищей, работающих в провинциальной печати и хорошо знакомых с бытовой подкладкой этого дела, я приехал в Елабугу, намереваясь впоследствии изложить в печати свои впечатления. Здесь я застал еще двух корреспондентов: А. Н. Баранова и В. И. Суходоева. Вскоре же после начала заседания мы пришли к заключению, что отрывочных заметок недостаточно, что «впечатления» играют лишь второстепенную роль, что лучшая услуга, какую пресса может оказать в этом деле, – это дать по возможности полное и точное изображение хотя бы одной стадии этого таинственного, запутанного и радикально испорченного предварительным следствием дела. А так как стенографа не было, то мы решили записывать втроем все, что происходит на суде, по возможности не пропуская ни одной фразы. Одному это было бы, конечно, не под силу – втроем мы это исполнили. Неизбежные пропуски у каждого

дополнены по записям двух других, и таким образом явился отчет, близкий к стенографическому. В течение трех дней после суда мы сверяли фразу за фразой все судебное следствие – и теперь ручаемся за полную точность отчета.

В другом месте, в более полном виде я сообщу свои личные впечатления, вынесенные из суда и с места таинственной драмы. Здесь же, внося свою посильную лепту для освещения фактической стороны этого темного дела, мы, составители отчета, обращаемся за помощью ко всей русской прессе.

.....

*Пусть юристы оценят вероятность улик, пусть врачи и этнографы разберут изумительную экспертизу, послужившую к обвинению вотяков в каннибализме. Наконец мы не знаем, что нужно сделать с формально юридической точки зрения, – но мы всеми силами души взываем к расследованию этого дела от начала и до конца!*

.....

Еще недавно отделение казанской судебной палаты в гор. Вятке постановило обвини-

тельный приговор, которым установлено, что полицейские служители слободской команды производили тяжкие истязания над арестованным татаринном. Это происходило в той же Вятской губернии. Местная пресса с чрезвычайным сочувствием следит за борьбой, которую теперешнему вятскому губернатору г. Трепову приходится вести с нравами, долгие годы укоренявшимися в среде вятской полиции, имеющей дело с инородческим населением. Если не ошибаюсь, упомянутый судебный приговор есть лишь один из эпизодов этой борьбы. Между тем не только обвиняемые по этому делу, но и один из главных свидетелей обвинения два раза повторяли на суде, что показания у них вынуждались самыми незаконными средствами. Об этом даже председатель суда счел нужным сказать в своем заключении, отмечая, что главный свидетель обвинения мотивировал этим свой отказ от вынужденных показаний. И замечательно, что подробности, приводимые вотяками, довольно точно совпадают с приемами, за которые осуждены слободские полицейские[132]. Итак, это уж не слухи, неизвест-

но откуда исходящие, а серьезное обстоятельство, требующее самой тщательной проверки и бросающее особенный свет на материал, выдвинутый обвинением. Я знаю, что это подозрение очень тяжело и очень серьезно. Но и обвинение, которое теперь пало на всех вотяков и на все русское общество, тоже очень тяжело и очень серьезно, и мы можем, мы обязаны смиренно принять его лишь после того, как это будет всесторонне доказано.

Расследование, расследование! Пусть будут проверены все материалы этого дела, все способы, какими они собирались, пусть будут выслушаны до конца эти несчастные вотяки, которые фактически лишены были до сих пор свободы защиты против самого тяжелого из обвинений, какое только человек может предъявить против своего ближнего, пусть будут проверены их ссылки на то, что главные свидетели против них купили своими показаниями безнаказанность в уголовных деяниях, с одной стороны, и вынуждались к показаниям незаконными приемами – с другой.

.....

*Если бы после всего этого оказалось, что они говорили неправду, что у них нет свидетелей, способных доказать их правоту, что они только клеветают на свидетелей обвинения и на полицию... тогда, но только тогда, новый приговор суда можно было бы считать окончательным.*

.....

Только тогда истину в мрачном мултанском деле можно было бы счесть разысканной в вердикте присяжных. Только тогда обвиняемые понесли бы должную кару, и в летопись русского государства можно было бы занести тяжелую страницу. Только тогда можно будет признать, что на европейском континенте наше отечество донесло неприкосновенным обычай каннибальских жертвоприношений до конца XIX века и что в России еще теперь у стен христианских храмов возможно принесение людей в жертву языческим божествам.

Света, как можно больше света на это темное дело, иначе навсегда над ним нависнет страшное сомнение в том, где искать истинных жертв человеческого жертвоприноше-

ния! Матюнин ли это, погибший таинственной и загадочной смертью, или это сами несчастные мултанцы являются жертвами следственных порядков, черты которых так ясно проступают в этом выдающемся деле.

Нижний-Новгород. 11 октября 1895 года

## Мултанское жертвоприношение

1 октября 1895 года, в 4 часа 50 минут вечера в зале суда в Елабуге раздался звонок из комнаты присяжных заседателей. Это значило, что совещание присяжных кончилось. Через минуту публика наполнила зал, вышел суд, и старшина присяжных подал лист председателю.

Председатель посмотрел приговор и вернул его. Старшина взял лист в руки и прочел семь вопросов, составленных в одних и тех же выражениях.

.....

*«Виновен ли такой-то в том, что в ночь на 5 мая 1892 года в селе Старом Мултане, в шалаше при доме крестьянина Моисея Дмитриева, с обдуман-*

*ным заранее намерением и по предварительному соглашению с другими лицами лишил жизни крестьянина завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ., Конона Дмитриева Матюнина, вырезав у него голову с шеей и грудными внутренностями?»*

.....

На скамье подсудимых было семь человек, вотяков Старого Мултана, и семь раз старшина присяжных на приведенный выше вопрос ответил с заметным волнением:

– Да, виновен, но без заранее обдуманного намерения.

Относительно троих к этой формуле было прибавлено:

– И заслуживает снисхождения.

Несколько секунд в зале царствовала гробовая тишина, точно сейчас сообщили собравшимся, что кто-то внезапно умер. Потом коронные судьи удалились для постановления своего приговора. Семь обвиненных вотяков остались за решеткой, как будто еще не понимая вполне того, что сейчас с ними случилось.

Я сидел рядом с подсудимыми. Мне было

тяжело смотреть на них, и вместе с тем я не мог смотреть в другую сторону. Прямо на меня глядел Василий Кузнецов, молодой еще человек, с черными выразительными глазами, с тонкими и довольно интеллигентными чертами лица, церковный староста мултанской церкви. В его лице я прочитал выражение как будто вопроса и смертной тоски. Мне кажется, такое выражение должно быть у человека, попавшего под поезд, еще живого, но чувствующего себя уже мертвым. Вероятно, он заметил в моих глазах выражение сочувствия, и его побледневшие губы зашевелились.

– Крестос страдал... – прошептал он с усилием.

Казалось, эти два слова имели какую-то особенную силу для этих людей, придавленных внезапно обрушившейся тяжестью.

– Крестос страдал, – зашамкал восьмидесятилетний старик Акмар, со слезящимися глазами, с трясущейся жидкой бородой, седой, сторбленный и дряхлый.

– Крестос страдал, нам страдать надо... – шепотом, почти автоматически повторяли остальные, как будто стараясь ухватиться за



что-то, скрытое в этой фразе, как будто чувствуя, что без нее одно отчаяние и гибель.

Но Кузнецов первый оторвался от нее и закрыл лицо руками.

– Дети, дети! – вскрикнул он, и глухое рыдание прорвалось внезапно из-за этих бледных рук, закрывавших еще более бледное лицо.

Я не мог более вынести этого зрелища и быстро вышел из зала. Проходя, я видел троих или четверых присяжных, которые, держась за ручки скамьи, смотрели на обвиненных. Потом мне передавали, что двое из них плакали.

Публика двигалась взад и вперед как-то странно; почти никто не уходил совсем, и никто не мог долго оставаться в зале; входили и уходили, как в доме, в котором посередине комнаты, окруженной желтыми огнями свечей, лежит мертвец и кто-то бьется и рыдает о нем за дверью.

Я тоже не мог уйти и не мог оставаться, входил в зал и опять уходил. Обвиненные или тупо глядели вперед, или громко плакали, опустив головы на руки; дамы из публики

смотрели на них широко открытыми глазами, внезапно отворачивались и быстро уходили. В настроении этой публики ясно чувствовалась весьма понятная жалость.

Но, кроме жалости, тут было еще тяжелое, гнетущее сомнение.

Когда я, ожидая судебного приговора, в третий раз вошел в зал, публика столпилась в одном месте поближе к решетке. В углу этой решетки, рядом с караульным, вытянувшись у своего ружья и, как будто нарочно, принявшим вид совершенно глухого, ничего не слышащего и не видящего человека, стоял дед Акмар. Его старческая рука опиралась на барьер, голова тряслась, и губы шамкали что-то. Он обращался к публике с какой-то речью.

– Православной! – говорил он. – Бога ради, ради Христа... Коди кабак, коди кабак, сделай милость.

– Тронулся старик, – сказал кто-то с сожалением.

– Коди кабак, слушай! Может, кто калякать будет. Кто ее убивал, может, скажут. Христа ради... кабак коди, слушай...

– Уведите их в коридор, – распорядился

кто-то из судейских.

Обвиняемых вывели из зала.

## II

Описанным выше приговором во второй уже раз вотяки села Мултана признаны виновными в принесении языческим богам человеческой жертвы. Во второй уже раз судебным приговором устанавливается, что в европейской России, среди чисто земледельческого вотского населения, живущего бок о бок с русскими одною и тою же жизнью, в одинаковых избах, на одинаковых началах владеющего землей и исповедующего ту же христианскую религию, существует до настоящего времени живой, вполне сохранившийся, действующий культ каннибальских жертвоприношений!

.....

*Если вы представите себе, на основании сказанного выше, что Мултан – глухая деревушка, окруженная лесными дебрями, затерянная и одинокая, – то вы сильно ошибетесь. Это большое село, окруженное давно распаханными старыми полями, отстоящее лишь в пятидесяти верстах от большой при-*

*стани Вятские Поляны, на реке Вятке, и в полутора десятках верст от большого пермско-казанского тракта.*

.....

В Старом Мултане вот уже пятьдесят лет существует церковь, пятьдесят лет вотское село служит центром православного прихода; в нем живут постоянно два священника с причтом, и тридцать лет дети вотяков Старого Мултана учатся в церковно-приходской школе. Один из обвиненных в принесении человеческой жертвы, Василий Кузнецов – местный торговец, староста мултанской церкви.

Если вы подумаете далее, что один только Мултан обвиняется в сохранении, по какой-то несчастной случайности, ужасного переживания ужасного обычая, то вы опять ошибетесь. Обвинение мултанцев было бы невозможно, и странное убийство оставалось бы совершенно необъяснимым, если бы следствие не постаралось собрать множество слухов, по большей части неизвестно откуда исходящих, – слухов о том, что среди вотяков вообще сохранился обычай человеческих жертвоприноше-

ний. Эти слухи не касались непосредственно Мултана: они шли с дальних мест, со стороны «Учинской и Уваткулинской», из других местностей, из других уездов. Из отчета об этом деле, напечатанного в «Русских Ведомостях», видно, что обвинение ставилось не против данных только семи лиц. Они, по мнению обвинителя, явились лишь исполнителями. На вотском кенеше (мирском сходе) ставится решение: принести человеческую жертву. Нищий убит в родовом шалаше, но не для данного рода. Его кровь нужна будто бы для жертвы за всю деревню. Может быть, даже не за одну деревню, а за многие деревни «вавожского края»... Этого мало. Ученый эксперт, казанский профессор Смирнов, отстаивавший существование ужасного культа среди современного вотского населения, приводил общие «предания», не относившиеся специально к Мултану, слухи, исходившие из других уездов, даже сказки не вотские, а родственного вотякам черемисского народа. Вы видите, что ужасное обвинение ширится, растет, что данный судебный приговор есть приговор над целой народностью, состоящей из

нескольких сотен тысяч людей, живущих в вятском крае, бок о бок с русским народом и, повторяю, тою же земледельческой жизнью. Постарайтесь представить себя по возможности ясно в роли вотняка-крестьянина, соседа русской деревни, в роли вотняка-учителя, наконец, в роли священника из вятского края, — и вы сразу почувствуете все ужасное значение этого приговора.

Предполагаю, что у читателя является возражение: не следует, конечно, преувеличивать значение и силу нашей культуры в темной среде деревенской Руси. И в христианской деревне много тьмы и невежества: у нас есть лешие и ведьмы, в наши глухие деревушки залетают огненные змеи, у нас приколачивают мертвых колдунов осиновыми колами к земле, у нас убивают ведьм. В Сибири еще недавно убили мимо идущую холеру, в виде какого-то неизвестного странника. «Холера» умерла, как умирает обыкновенный человек, пришибленный ударом кола, а убийцы суждены и осуждены судом. «Что же мудреного, — спрашивает у меня один корреспондент, — что вотяки, полуязычники, которые,

вдобавок, несомненно сохранили обычай кровной жертвы, могли принести и человеческую жертву? И что нового открыло нам в этом отношении мултанское дело?»

Мне кажется, что здесь есть крупное смешение понятий. Да, суеверия очень сильны, — и убийство ведьмы произошло еще лет пятнадцать-двадцать назад даже в бельгийской деревне. Что же?

.....

*Вы не удивитесь поэтому, если бы в бельгийской деревне было доказано существование каннибальского культа? В наши деревни летают огненные змеи. Слыхали ли вы, однако, чтобы целое общество, хотя бы подлиповцев, решило на общественном сходе принести огненному змею торжественную каннибальскую жертву? У нас приколачивают колдунов осиновыми колами! Значит ли это, что наша культура равна культуре антропофагов и каннибалов?*

.....

Нет, не значит. Оставим формальную принадлежность к той или другой религии, оста-

вим также и церковно-приходскую или иную школу. Я полагаю, что даже между полным язычником, живущим общию жизнью с земледельческим христианским населением, и язычником-каннибалом – расстояние огромное. Язычник, ограничивающийся принесением в жертву гуся, и язычник-каннибал – это представители двух совершенно различных антропологических или, по крайней мере, культурных напластований, отделенных целыми столетиями. Выражаясь символически, между ними приблизительно такое же расстояние, как между жертвоприношением Авраама (отмечающим воспрещение человеческой жертвы в ветхом завете) и принесением двух голубей в иерусалимский храм иудеями первых годов христианской эры.

Далее, я полагаю, что между язычником, сохранившим где-нибудь в глубине лесов или в пустынной тундре всю чистоту своего языческого культа, и язычником-земледельцем, вкрапленным в течение столетий в самую среду русского народа, опять должна быть значительная разница. Дело тут даже не в культурной миссии официальных миссионе-



ров, а в простом вековом близком общении на почве общего труда и общих интересов с земледельческим и христианским народом. Я приведу ниже молитву, которая произносилась в начале настоящего столетия на огромном жертвоприношении черемис их картами (жрецами), и вы увидите, какому богу она приносилась и как сама она далека уже от каннибальских заклинаний. Наконец, между этим последним язычником и инородцем-христианином, более столетия уже обращенным, является еще одна, еще новая градация.

Как ни плоха была его школа, как ни слаба обращенная к нему проповедь, – все-таки они не могли не отдалить инородца еще на одну ступень от его первобытных верований. Правда, он внес в новую веру значительную долю суеверий; правда, в его среде еще живут старые обряды – но, принижая новую веру, он все-таки подымает до нее старую, и то новое, что из этой смеси возникло в его душе, – уже есть именно новое; это смесь, неравная ни одной из своих составных частей.

Это не настоящее христианство, но это и

не язычество в том виде, в каком оно существовало до обращения. Обряд еще держится. Обряд и прививается ранее, и уходит позже выражаемых им понятий. Но старые боги умирают в темной душе, и понемногу из-за новых формул проглядывает все больше и больше новое содержание. «Христос страдал, нам страдать надо» – одна эта формула в устах обвиненных в каннибализме способна потрясти слушателя глубоким сомнением: неужели люди, знающие это, прибегающие к этому в минуту страшного удара, разбивающего жизнь, способны целым обществом, спокойно, сознательно убить человека во имя бога!

И, однако, кто-то убил нищего и взял у него голову и сердце! Значит, во всяком случае, это убийство суеверное?

Я не знаю. Но если и так, то в нем участвовали один или двое. Бывают вспышки паники, страсти, когда в толпе сразу просыпаются, оживают инстинкты пещерных предков, даже зверей. Тогда-то и убивают проходящую мимо холеру. Здесь не то. Здесь необходимо допустить существование культа, при кото-

ром молитвенное настроение души в целом сельском обществе, нет, в целом крае, спокойно, сознательно, постоянно или, по крайней мере, периодически направляется в сторону человеческих жертвоприношений. Каннибализм здесь является постоянно действующим, живым культом, охватывающим еще в наше время огромную площадь, живущим в сотнях тысяч умов, исповедующих по наружности христианскую веру.

.....

*Нет, нельзя закрывать глаза на весь ужас этого явления, если оно существует, нельзя сравнивать его ни с какими суевериями! Суеверия вы найдете еще во всех слоях общества; каннибализм отодвинулся от нас на тысячулетия.*

.....

Так, по крайней мере, мы думали до сих пор. Теперь оказывается, что он жив, что это не частная вспышка случайного переживания, а хроническое явление по всей площади, занимаемой вотским племенем.

Но если это так, то нужно понять размеры и значение этого явления. Нет, это не равно-

сильно обычным суевериям, к которым мы уже пригляделись и привыкли. Это шире всех вопросов о силе или слабости официальной миссии. Повторяю: перенесите мыслью в положение вотяка, сколько-нибудь сознательно относящегося к этому обвинению, – и вы почувствуете всю его тяжесть. Вы почувствуете также и то, что это обвинение против самого культурного типа не одних вотяков, но и их соседей, неспособных вековым общением облагородить соседа-инородца, хотя бы до степени невозможности каннибализма в культурной атмосфере, которой они дышат сообща!

Я полагаю, что мысль моя ясна: как существуют геологические напластования и формы, только этим напластованиям сродные, так же есть напластования культурные, отделенные друг от друга столетиями и разными наслоениями пережитого прошлого. Каннибализм есть форма, свойственная давно погребенным, самым низким слоям культуры, потонувшая на расстоянии столетий, и население, в котором она была жива, представляло собой низшую ступень в развитии челове-

ческого типа. Существование языческих обрядов не может еще служить доказательством человеческого жертвоприношения. Нужны доказательства более прямые.

Вот почему я полагаю, что мултанское дело есть дело «особой важности», на которое следует обратить самое пристальное внимание. Не закрывать глаза, конечно, не отстранять неприятные выводы – но присмотреться серьезно и строго, с чем в действительности мы имеем дело. Недостаточно приговорить несколько человек – нужно узнать, что тут было, какому богу приносятся эти жертвы, как широк его культ... Но прежде всего: действительно ли этот культ существует. Нужно, чтобы рассеялся этот густой туман, эта туча недоумения, нависшая над мрачной драмой, нужно, чтобы настоящее зло, если оно есть, не скрывалось ни за какими сомнениями.

### III

В настоящей статье я, разумеется, не рассчитываю исчерпать данный вопрос. Читателям «Русского Богатства» отчасти уже известна и обстановка, и обстоятельства дела, о котором дважды уже говорилось в нашем жур-

нале[133]. Они знают также, что первый приговор кассирован сенатом, который признал, что:

Во-первых, не доказано самое существование среди вотяков обычая человеческих жертвоприношений, что, во-вторых, предварительным следствием сделано много упущений, не исправленных также и следствием судебным, и что, наконец, в деле была существенно нарушена равноправность сторон. В настоящее время защитником мултанских вотяков опять подана кассационная жалоба, и юридическая сторона дела будет еще раз предметом компетентного обсуждения. Здесь, поэтому, я пока совершенно оставляю в стороне вопрос, насколько убедительны доказательства виновности семи обвиненных мултанцев. Я останавливаюсь только на общем вопросе: можно ли и теперь признать доказанным самое существование человеческого жертвоприношения среди вотского населения, и главным образом, какому богу могла быть принесена эта ужасная жертва.

Вот фактическая сторона этого дела:

*В понедельник, после Фоминой недели,*

т. е. 20 апреля 1892 года, нищий Конон Дмитриев Матюнин отправился из родного села (завода Ныртов, Мамадышского уезда, Казанской губ.) в малмыжскую сторону за сбором подаяния. Это был человек нестарый, очень крепкий, здоровый на вид, смирный и непьющий, но страдающий падучей болезнью и проявлявший, по некоторым указаниям, признаки ненормальности. От завода Ныртов до Старого Мултана, если не ошибаюсь, более ста верст. Нищий шел, побираясь Христовым именем, заходя по сторонам и ночуя, где доведется. 4 мая в середине дня он встретил мултанского псаломщика Богоспасаева в дер. Капках, по пути к Кузнерке или Аныку, или, может быть, к Мултану. Они обменялись жалобами на скупость народа. Псаломщик набрал очень мало овса на семена, а нищему не верили, что он болен. Между тем, несмотря на здоровый вид, у него падучая, от которой он напрасно лечился в Ныртах. Доктор советовал ехать в Казань, «там ему сколют череп и выпустят воду...»

Но нищий побоялся. Так поговорив, они

расстались, и псаломщик более его не видал.

Накануне, в ночь с 3-го на 4 мая, нищий из Ныртов, страдающий падучею болезнью, в азяме с синей заплатой, ночевал в деревне Кузнерке, у старика (русского) Тимофея Санникова. На следующий вечер 4 мая к сыну этого Санникова, Николаю, опять приводят на ночлег нищего. Он тоже из Ныртов, тоже страдает падучей болезнью, тоже здоров на вид и вдобавок говорит, что ночевал у Тимофея Санникова прошлую ночь. Все эти признаки точно соответствуют приметам Матюнина, но впоследствии Николай Санников вспоминает, что на азяме этого нищего как будто не было заплаты, из чего обвинение решительно заключает, что это был другой нищий, хотя тоже из Ныртов, тоже страдающий падучей и... тоже ночевавший накануне у Тимофея Санникова?

В то же время, т. е. 4 мая, псаломщик Богоспасаев, вернувшийся со своим скудным сбором овса, видит в Мултане еще другого нищего с корзиной и пьяного. Этого же нищего видят и другие свидетели, в том числе урядник. Он отличается от Матюнина, во-первых, кор-



зиной, во-вторых, у него нет посоха, в-третьих, он пьян (Матюнин, по уверению его вдовы, в рот не брал водки). Вотяки говорят, что этот нищий был родом с Ижевского завода и действительно ночевал в Мултане...

С приближением вечера рокового 4 мая признаки этих двух личностей как-то перемешиваются взаимно. Три свидетеля видят какого-то нищего идущим по улице в Мултане и сидящим на бревнах. Он красен и пьян, что-то бормочет, а по одному показанию – закури-вает папиросу (Матюнин не курил). Все это черты ижевского нищего с корзиной. Но на нем надеты будто бы азам с заплатой и рубаха с прорехой, принадлежащие нищему из Ныртов и найденные впоследствии на убитом. Его перед вечером (около 4 мая) ведут по переулку, к дому суточного, у которого должны ночевать все нищие, застигнутые приближением ночи в Мултане.

Как видите, в сумерках рокового вечера личность нищего двойится: при одном из двойников, ночующем в Кузнерке, остается вечером 4 мая происхождение (из Ныртов), паду-чая болезнь и рыжая борода Матюнина; при

другом, которого видели на бревнах в Мултане, – азам с заплатой и одежда того же Матюнина, с прибавлением, впрочем, пьянства.

Затем нищий с корзиной, родом из Ижевского завода и любящий выпить, продолжает еще шататься по Мултану более недели, а нищего из Ныртов те, кто его видел, видели в последний раз.

5 мая, часов в девять утра, крестьянская девочка Марфа Головизнина шла пешеходной тропой, пролегающей по лесу, между деревнями Чульей и Аныком. Я был на этой тропе после описанного выше приговора над вотяками. Трудно представить себе место, более утрюмое и мрачное. Кругом ржавая болотина, чахлый и унылый лесок. Узкая тропа, шириной менее человеческого роста, вьется по заросли и болоту. С половины ее настлан короткий бревенник вроде гати, между бревнами нога сразу уходит в топь по колено; кой-где между ними проступают лужи, черные, как деготь, местами ржавые, как кровь. Несколько досок, остатки валежника и козлы из жердей обозначают место, где нашли труп Матюнина и где его караулили соседние крестьяне.

Он лежал поперек, т. е. занял всю тропу, по которой шла Головизнина. Я был на этой тропе, и мне очень трудно представить, чтобы кто бы то ни было, идущий по ней и видящий на своей дороге это ужасное препятствие, мог не заметить среди белого дня, что у лежащего в таком необычном месте человека нет головы. Но девочка этого «не заметила», как она говорит, потому что человек был прикрыт азымом. У нее развязался вдобавок лапоть. Она «подобулась, обошла труп по-за-ногам» и пошла дальше. Пройдя мимо толчеи, постукивающей шагах в двухстах на такой же унылой полянке, она пришла в починок и сказала там о лежащем на тропе человеке.

Назад она пошла опять одна той же тропой, на следующий день, 6 мая. Человек лежал там же, но азым, как говорится в обвинительном акте, был кем-то снят. Кто это подошел к трупу в эти сутки и кто снял азым, осталось неизвестным, но теперь девочка рассказала в деревне Чулье о том, что у лежащего на тропе человека нет головы. Пришли крестьяне двух деревень и совершенно затоптали следы, так что оказалось невозможным

определить, откуда подтащен труп. 7 мая прибыл урядник, который нашел, что на убитом надета котомка, за лямки которой заделан сложенный азам. Итак, безвестная рука, то прикрывавшая, то снимавшая азам, продолжала над мертвым свою работу, даже по прибытии полиции.

9-го прибыл пристав, который записывает новую перемену: уже после урядника кто-то вынул азам из-за котомки, надел его на труп в рукава и опять надел котомку за плечи. При этом и лапти оказались завязаны плохо, как будто их надевали уже на мертвого. Вотяков в это время еще не было. Азам, который девочка видела на трупе, а урядник – заделанным за лямки, опять надет в рукава, очевидно, уже на мертвого и притом не вотяками. К сожалению, цель этого многократного переодевания найденного на тропе безголового человека совершенно не интересует ни пристава, ни следственные власти, которые обращают исключительное внимание на лапти. На основании одних этих данных, да еще темных слухов о вотяках вообще, составляется предположение, что убитый принесен в жертву вот-

ским богам. Впоследствии, ровно через месяц, оказалось при вскрытии, что из грудной полости вынуты сердце и легкие, для чего у шеи и спины разрублены основания ребер. Но в то время пристав не заметил и не описал этих повреждений, хотя, впрочем, сам раздевал труп... В его протоколе есть даже следующее странное место: «есть ли сердце и легкие, заметить невозможно из-за большого количества запекшейся крови».

При трупе оказались: азам с заплатой и синепестрядинная рубаха с прорехой под мышкой, виденные некоторыми свидетелями будто бы на нищем в Мултане; затем рыжая борода и свидетельство о том, что убитый родом из Ныртов, а также, что он страдает падучей болезнью, – черты нищего, ночевавшего в Кузнерке. Таким образом, двойственная личность убитого остается такою же и после смерти. Если это тот, что ночевал в Кузнерке, значит, выйдя утром после восхода солнца 5 мая, он пошел куда-нибудь к Аныку, свернул на лесную тропу и где-то здесь встретил свою горькую участь. Свидетельства о личности и болезни дают основание для этого предполо-

жения.

Но признаки одежды (азям и прореха на рубахе) направляют розыски к Мултану, и с этих пор дело принимает свой окончательный характер: вотяки обвиняются в человеческом жертвоприношении.

Обвинение рисует дело в следующем виде.

*«В Мултане сохранились еще следы родового быта и языческого культа. Родовое деление сказалось расслоением Мултана на два рода: учурский и будлуцкий. К первому принадлежит четырнадцать семей, ко второму остальные (56). У каждого рода есть свой шалаш, род амбара, с полками вдоль стен без окон, в котором родовичи совершают «моления», хотя и перед иконой, но по старому языческому обряду. Они здесь «молят», то есть приносят в жертву гусей и уток. Раз был принесен даже бычок. Для этого у каждого рода при шалаше есть выборные, вроде жрецов: тыр-восяси, покчи-восяси и бодзимь-восяси, которые совершают обряды. Порой оба рода соединяются на поляне для общедеревенской молитвы. Одна-*

жды молодой священник Ергин, назначенный в Мултан, проезжая по дороге, заметил дымок в стороне и, догадавшись, в чем дело, направился туда. Это было уже после начала дела, когда вотяки уже были привлечены к следствию. Тем не менее вотяки, по-видимому, свободно продолжали обряд: они закололи бычка перед двумя огнищами, на которых в котлах варили его мясо. Тут были также хлебы с яичницей, сосуды с кумышкой или пивом. Один из стоявших впереди трех вотяков произносил какие-то слова и наклонял голову, а за ним наклоняли головы и остальные. В числе присутствующих была мать обвиняемого Кузнецова, которая молилась, стоя на коленях. На вопрос, кому они молятся, вотяки ответили, что они молятся «тому же богу, а если в лесу, то потому, что так делали отцы и деды».

Итак, существование кровной жертвы в православном Мултани нужно считать вполне доказанным. Оставляя пока вопрос о том, кому приносились эти жертвы, я дорисую со слов обвинения предполагаемую картину

убийства. Дом Василия Кондратьева, куда привели нищего вечером 4 мая, находится недалеко от шалаша Моисея Дмитриева, в котором совершаются моления учурского племени. Здесь, если обвинение верно, Матюнин пьяный был подвешен, и из него добыты внутренности и кровь для общей жертвы в другом месте, может быть для общей жертвы всего вавожского края и может быть «для принятия этой крови внутрь».

#### IV

Кому же могла быть принесена эта жертва, кому вообще приносились жертвы и в шалашах, и на полянах села Старого Мултана, недалеко от его церкви и от церковно-приходской школы?

На это пытаются нам ответить, во-первых, обвинительный акт и, во-вторых, ученая экспертиза. Нужно сказать, однако, что обвинитель остался недоволен экспертизой, хотя профессор Смирнов и ранее, в печати и на суде, допускал возможность жертвоприношения у современных вотяков. «Экспертиза ничего не дала нам, – сказал тов. прокурора в своей речи. – Наоборот, наука много почерп-



нет из настоящего дела».

Проф. Смирнов держится иного мнения, а другой представитель науки, г-н Богаевский, написавший обстоятельный анализ в «Русских Ведомостях», повторяет в этом отношении то же мнение. Считаю необходимым заметить, – пишет он, – что, «несмотря на вторичное осуждение обвиняемых, на страницы работ по этнографии России не может быть занесено утверждение факта существования в настоящее время у вотяков человеческих жертвоприношений»[134]. Проф. Смирнов также говорил мне после суда, что он не почерпнул из данного дела ни одной черты, которая бы утверждала его в заранее уже сложившемся общем мнении, противоположном мнению г-на Богаевского.

Оба ученых утверждают единогласно, что в данном деле они натываются только на ряд противоречий. Если вотяки еще приносят даже человеческие жертвы, то это значит, конечно, что у них сильны древние языческие верования и понятия, которых они не решатся нарушить. Между тем, настоящее дело представляет именно ряд таких нарушений.

Прежде всего обвиняемые принадлежат к разным родам. Между тем, по согласному показанию всех экспертов и проф. Богаевского, «в родовом шалаше может быть принесена жертва лишь божееству, в нем обитающему», и «чужеродцы не пользуются милостями божеества, обитающего в родовом шалаше»; «даже самое присутствие в шалаше чужеродца оскорбляет божеество, обитающее в святилище данного рода». Между тем, оскорбление божеества, обитающего в родовом шалаше, является наиболее страшным преступлением для вотяка, уничтожает все благие последствия жертвы и «даже лишает человека счастья».

Далее, один из подсудимых, Кузьма Самсонов, мясник, обвиняется в том, что он – не жрец и не помощник жреца – совершил самое убийство, будучи для этого нанят за деньги. Между тем, «приносить жертвы могут лишь специально на этот предмет избранные жрецы».

Наконец, добывание крови в одном месте для жертвы, приносимой в другом, все ученые единогласно признают невозможным.

Все эти черты приобретают особенную важность ввиду того соображения, что при-  
верженность к букве, к обряду характеризуют  
главным образом малокультурного человека.  
«Вспомним», говорит проф. Богаевский, что  
«опущение лишь одного слова в молитве, на-  
пример, в Древнем Египте уничтожало значе-  
ние всего священнодействия; как часто при-  
сутствие чужеродца оскорбляло божество, ко-  
торому молились древние римляне». Между  
тем, здесь «отступления от ритуала так вели-  
ки, что противоречат всем основным требова-  
ниям религиозных представлений вотяков и  
сознанию их обязанности перед богами».

.....

*Итак, наука останавливается в пол-  
ном недоумении перед обстоятель-  
ствами, которыми обвинение обстав-  
ляет жертву в данном случае. Теперь  
посмотрим, что дают нам следствие  
и экспертиза по вопросу о том, каким  
же богам или какому богу приноси-  
лись мултанцами жертвы.*

.....

Обвинение отвечает категорично. У всех  
вотяков существует «злой бог Курбон», кото-

рый требует себе в жертву жеребенка, а по временам, лет через сорок, и человека. Никто, правда, не слыхал об этом Курбоне в Мултане, но о нем сообщил Михайло Савостьянов Кобылин. Он получил это сведение от неизвестного ему кучугурского вотяка, который при том, по его словам, «умом был не совсем»: дурачок и блаженненький. Впрочем, председатель на том основании, что Кобылин не мог указать точнее источника этих слухов о Курбоне, воспретил ему (несколько, правда, поздно) дальнейшую характеристику этого сердитого бога. Нужно сказать, однако, что вслед за Кобылиным о том же боге рассказал присяжным урядник Соковиков. Он сообщил еще, что, кроме злого Курбона, есть Аптас и Чупкан, боги веселые и добродушные. Эти довольствуются гусем или уткой и большей жертвы не просят.

– От кого вы это слышали? – спрашивает председатель.

Оказывается, что урядник может указать точно, откуда он это слышал. Ему рассказывал тот же Кобылин!

Третий свидетель, знакомый с Курбоном, –

земский начальник Кронид Васильевич Львовский. Правда, в отношении этого свидетельства мы встречаемся с некоторой странностью. В его показании следователю этот бог называется не Курбоном, а Киреметом, и только, очевидно, по ошибке (?) это имя переносится в обвинительный акт в виде «Курбона». Впрочем, и Львовскому председатель воспрещает рассказ об этом или другом боге, так как он слышал о них от «одного» неизвестного старого вотяка, и сам называет все это лишь слухами, на которых, в свою очередь, «не счел бы возможным основаться».

Таковы все сведения о злом боге, которые до очевидности ясно истекают из одного лишь источника: этнографических познаний Кобылина. После судебного следствия и показаний Кобылина выясняется окончательно и бесповоротно, что бога Курбона совсем не существует и самое слово означает только «моление» или жертву. Таким образом, грозный бог исчезает из дела, оставляя на своем месте лишь неразрешенный вопрос: кому же тогда могла быть принесена жертва?

Обращаемся к экспертизе.

Профессор Смирнов, написавший книгу о вотяках, дал нам в этой книге и в своей речи на суде изложение вотской мифологии.

.....

*По его словам, вотская религия пережила фетишизм, затем перешла к антропоморфическому анимизму, который оставил на ней очень ясные следы, и подверглась спиритуалистическому влиянию со стороны тюркских племен. Вотяк стремится оживить все явления природы: лес для него населен палее и нулес-муртами (наши лешие), в воде живет водяной (ву-мурт), в доме – домовой (бустурган), солнце, земля-мать, древесные ветви, все это одушевляется, все это наделяется человеческими свойствами...*

.....

Но если вотяк приносит яйца и кумышку на могилу предка – то ведь и мы сохранили радуницу и поминки с водкой даже на Волковом кладбище, в Петербурге. Если у вотяка есть сказочная кукри-баба – то и у нас есть ее родная сестра, Баба-Яга, которая, по свидетельству г-на Смирнова, с нею тождественна

даже и по виду. Как бы то ни было, самое существование всей этой низшей лесной, домовой и болотной братии еще не доказательство возможности человеческой жертвы, ибо тогда мы должны признать ее возможной и у нас, в любой русской деревне.

Профессор Смирнов много раз отмечает в своей книге, что современный вотяк стал очень скуп на жертвы: отделяваясь пустяками, гусем или уткой, он вдобавок сам же съедает ее почти всю. Да это, по отношению ко всякой мифологической мелкоте, пожалуй, и совершенно понятно. В приводимых г. Смирновым сказках один вотяк стреляет в воршуда, другой сжигает целый выводок нулес-муртенят, пришедших в лесу на его огонек. Два вотяка попали в избушку леших, из них двух нулес-муртов изжарили в печи, третьего убили. Застреливают из ружья также и ву-мурта (водяного). Впрочем, ву-мурты и вообще народ довольно добродушный, а один из них (в сказке) даже открыл в одном городе торговлю рыбой.

Г-н Смирнов приводит сказки, из которых видно, что некоторые из этой братии «охочи

до человеческой крови». Мало ли кто до чего охоч! Очевидно, однако, что не этой мелкой нечисти, которою кишат также и наши леса, станут приносить человеческие жертвы!.. Но тогда кому же?

У вотяков есть еще Ин-Мар, могущественный бог, олицетворяющий небо. Г-н Смирнов производит его имя от Ин-Мурта, небесного человека, но сам признает, что понемногу это понятие очищалось и шелуха антропоморфизма от него отваливалась, а самое понятие все больше и больше проникалось спиритуалистическим содержанием. И вот теперь другой эксперт, г-н Верецагин, перевел это название так: ин – небо, мар – что. «Что на небе», «Тот, кто на небе», «Господь». Г-н Смирнов признает, что теперь действительно это слово выражает понятие духа, оживотворяющего природу... Иначе: Ин-Маром вотяк зовет того же, кого француз называет Dieu, немец Gott, а мы Богом.

Каков этот Ин-Мар у вотяков-язычников? Он велик и духовен. Он могуществен и светел. Он, кроме того, враждебен богам анимизма; по крайней мере на стр. 208 своей книги г-



н Смирнов утверждает, что, стоит помянуть Ин-Мара, и могущество воршудов и палес-муртов обращается сразу в ничто. Кроме того, это бог общий, власть которого распространяется на землю и небо, который простирает свое могущество над всем народом. Этому богу только и может быть приносима общенародная молитва.

Я позволю себе сделать здесь выписку из «Столетия Вятской губернии» – статьи А. А. Андриевского, на которую ссылался г-н тов. прокурора в своей обвинительной речи. Но я вижу в ней несколько иные черты, чем те, которыми пользовался обвинитель. Г-н Андриевский рассказывает следующий, чрезвычайно колоритный и характерный эпизод.

В 1828 году среди инородцев-черемис Вятской и соседних губерний обнаружилось какое-то необычное и странное движение. В своем донесении об этом уржумский земский исправник и другие следователи объясняли это снами, которые видели черемисины Иван Токметов и Семен Васильев.

*«В сентябре месяце, а которого числа не знаю, – показывал исправнику Ток-*

метов, – ночью видел я во сне, что будто я, шедши со множеством черемисского народа по ровному месту, вдруг все мы обрушились в преужасную пропасть и, от того испугавшись, обещались, по избавлении, принести богу моление, от каковой мысли вдруг стали подыматься в гору, где увидели необыкновенный свет, плодородие и в наилучшем виде разные деревья». Другой черемис видел, «что будто бы явился к нему некто, в виде знатного человека, и советовал всему черемисскому народу принести господу богу моление с обыкновенным, по обряду черемисскому, жертвоприношением».

Разумеется, одних снов едва ли достаточно для объяснения того широкого движения, которое охватило инородцев и встревожило властей. Как бы то ни было, мы видим здесь, как происходит и кому приносится важная жертва: третьего декабря сошлось в Сернурской волости до трех тысяч человек у ключа, появившегося недавно в сухом месте, что тоже сочтено было за особую милость Божию. На другой день здесь найдено было 134 огни-

ща после жертвоприношений, на которых варились мясо животных. Было произведено исследование при депутате от духовенства, которое показало, что «все богомолье совершенно было спокойно, после чего и разъехались себе, не показав и виду к нарушению общего спокойствия или возмущения, чего и впоследствии не открылось...» И даже «молитвы их, какие произносили при сем случае жрецы, – прибавляет исправник, – доказывают простоту нравов и сообразную с верноподданностью... заботливость о платеже податей».

Самая молитва звучала (в переводе) так: «Великий, древний бог! Тебе народ поусердствовал ныне молением, привел скота, принес хлеба, свеч, пиев и меду, собравшись пред сим деревом: возлюби это и милостиво прими!»

Боже! дай помощь в жизни народу, дай скота, после сего дай хлеба, после хлеба дай пчел, после пчел просим денег на оплачивание подати (черта, так восхитившая исправника), после денег просим лесной ловли, после лесной ловли просим водяной ловли на выручку денег. Милостиво прими!

Боже! дай в веке сем хорошего житья белому царю и всем молящимся здесь людям, которые привели скота, принесли свечи, принесли хлеба, поставили пиво и кто дал денег. Милостиво прими, аминь!»

Этому «великому древнему богу» молились одинаково новокрещенные и язычники. Г-н Смирнов приводит черемисскую сказку, в которой какой-то мелкий водяной хочет съесть девочку, – и делает из этого вывод, что родственные черемисским боги вотского эпоса тоже требуют человеческой жертвы. Но ведь и в наших сказках есть Баба-Яга, которая «не прочь полакомиться человечиною», а водяной в сборнике Афанасьева хватает проезжего купца за бороду и требует в выкуп того, чего купец дома не знает (новорожденную дочь) – точь-в-точь, как в черемисской и вотской сказке.

И мне кажется, что я с большим правом могу перенести в вотский эпос «Великого древнего бога», называемого Ин-Маром, Квазем, Кылдысином и еще несколькими именами. Г-н Смирнов все эти имена производит от разных стадий религии – фетишизма, ани-

мизма, антропоморфизма, спиритуализма. Пусть так. Но и бог ветхого завета носил шесть имен, и каждое имя означало также какую-нибудь стадию на пути от идолопоклонства к великой отвлеченной духовной идее. Вправе ли мы сказать, основываясь на этом, что есей, взывавший к Адонаи и уже предчувствовавший христианство, является, например, «типическим» огнепоклонником. «Ветхому деньми» тоже приносились в древние времена кровные жертвы. Но мы знаем, что между жертвоприношением Исаака и принесением двух голубей в Иерусалимский храм лежит целая огромная история.

Одна из двух черемисских сказок, приводимых г-м Смирновым в доказательство возможности человеческого жертвоприношения у вотяков, показалась нам особенно интересной, и я очень сожалею, что почтенный профессор не досказал ее на суде до конца, ограничившись лишь поверхностным изложением.

Это сказка о черемисской злой мачехе.

.....

*Злая мачеха прикидывается больной,*

злая мачеха зовет своего мужа. «Поди в лес, к колдунье, она скажет тебе, что нужно сделать, чтобы я стала здорова». Муж отправляется в лес. А злая мачеха в это время переодевается колдуньей, бежит сама в назначенное место и говорит от имени колдуньи, что для выздоровления жены нужно убить ее пасынка (вероятно, в жертву какому-нибудь злomu боже-ству). Отец возвращается грустный и не решается исполнить это требова-ние. Тогда злая мачеха захварывает еще сильнее, опять посылает мужа к колдунье, опять переодевается, опять бежит в лес и этим обманом наконец добивается своего!

.....

Из этого, – опять заключает г. Смирнов, – мы видим, что божества черемисского эпоса не прочь полакомиться человечиною. Правда, в эпосе вотском даже и такой сказки нет, но в науке существует «сравнительный метод», который позволяет г. Смирнову пополнить черемисской сказкой недостающее ему доказа-тельство. И это приводится в подтвержде-ние того, что сидевшие перед судом мултан-

цы могли совершить человеческое жертвоприношение! Эксперт забыл, к сожалению, про «злую мачеху» из наших русских народных сказок, тетка которой тоже ест детей. Это во-первых. А во-вторых, он упустил из виду, что эта сказка представляет прямое отрицание того, что хотел доказать профессор. Правда, бедный черемис поверил и убил сына. Но народ, создавший эту сказку, уже явно не верит умиловительной силе человеческой жертвы. Разве тот, кто додумался до этой сказки, не говорит так ясно глупому человеку: тебя обманули. Ты думаешь, что крови сына требует божество, а между тем, тебе, глупому, говорила это злая и хитрая женщина!

Да, если эта сказка доказывает что-либо, то разве то, что даже в сказке умерла уже вера в необходимость человеческой жертвы! Умерла, как умерли те периоды, через которые последовательно проходила языческая вера черемис и вотяков. «Большая часть этих явлений (верований, обрядов и созданий творчества) говорит о прошлых, пережитых эпохах духовного развития; они держатся в силу традиции, не имея подчас корней в сознании на-

рода. Исследователь должен ими пользоваться прежде всего как материалом для истории духовного развития народа».

Кто это говорит? Это тоже говорит проф. Смирнов, и это не мешает ему, однако, делать скачок из периода черемисской сказки в «духовную жизнь» современного вотяка. На вопрос защиты – много ли перенимают вотяки у соседей – г. Смирнов ответил, что вотяки народ переимчивый. Это же подтверждается и в книге профессора: тюрки-магометане одним своим соседством и общением, даже без школ, даже без храмов, даже без книг, ввели в антропоморфическую религию вотяка духовное начало и дали ему вместо небесного человека Ин-Мурта небесного духа Ин-Мара. Но дальше на вопрос защиты, можно ли думать, что современный вотяк остался тем же, каким был лет двести назад, ученый эксперт ответил: «Мы считаем, что современный вотяк еще типичнее, чем во времена Палласа и Миллера».

Мне кажется, что это мнение почтенного исследователя очень напоминает отзыв о портрете, который более похож, чем сам ори-



гинал. Более похож – значит уже не похож, и я думаю, что «более типичный» вотяк г. Смирнова есть лишь вотяк его кафедры и его книги. Но его, может быть, и не было среди живых вотяков из Мултана, судьба которых решалась в той самой зале, где ученый профессор рассказывал черемисские сказки...

Да, современные этнографы узнали более чем знали Паллас и Миллер. Поэтому этнографический образ теперь полнее. Но г. Смирнов забыл, что речь идет не об этнографическом образе, собранном по кусочкам из Сосновского края, с Вавожской и Уваткулинской стороны, из Бирского, Глазовского, Елабужского и Малмыжского уездов, и дополненного историческими исследованиями седой старины. Этот вотяк верит в Ин-Мурта-человека, и в фе-тишей, и в мудоров, и в воршудов, как и русский объект историко-этнографических исследований. Но возьмите любого живого вотяка в отдельности, и он уже не знает многого, что знает г. Смирнов. В нем уже многое умерло и многое народилось вновь. Что такое мудор-воршуд? – спрашивает, например, этнограф и получает целый ряд разнообразней-

ших ответов. По словам одного, мудор есть родовое имя, «тогда как всем известно, что это слово есть синоним воршуда», – говорит г. Смирнов в своей книге («Вотяки», стр. 295). Далее оказывается, что воршудные имена – это имена давно забытых богинь. Еще дальше г-н Верещагин тоже смешивает воршуда, как божество, с воршудным именем (стр. 304), еще дальше «воршуд есть слово, означающее род и относящееся исключительно к лицам женского пола» (219). «Воршуд – это идол, помещающийся в переднем углу квалы». «Воршуд – бог счастья семейной жизни», воршуд – коробка с монетой или оловянной и свинцовой бляшкой, ложкой, хвостиком белки, золой (213). Воршуд (в одной сказке) – человек в белой одежде, которого вотьяк прогоняет выстрелом из ружья (214). Воршуд – христианский ангел-хранитель (240).

Наконец для елабужского и сарапульского вотяка воршуд – синоним Ин-Мара (стр. 210), т. е. название, обозначающее также и единого бога. Что касается Мудора – то и он тоже претерпел сильные превращения: «мудор – дерево-покровитель и его части – ветви; на мудро-

ре (ветках) стоит воршуд (коробка), мудор – просто жертва перед иконой, мудор – икона, образ» – в словаре Зеленова. Наконец, эксперт г-н Верещагин тоже самым решительным образом заявил на суде: «г-н Смирнов говорит: мудор – бог. Но мудор не бог, мудор – икона».

Я понимаю, конечно, что г. Смирнов вправе расположить все эти предметы в логическую цепь и протягивать ее вглубь минувшего, к давно забытым богам или богиням, дополняя своими изысканиями черты легенд и сказок. Но неученый вотяк просто читает перед иконой (мудором) христианскую молитву или переносит, свой кусочек сухой ветви или беличий хвостик из старого дома в новый, совершенно не задаваясь вопросом о том, что думали об этом его «типичные» предки, как мы не задаемся этими вопросами, прибывая подкову на пороге...

Я тоже получил свою долю сведений о воршуде. Это было в Мултане, куда я приехал после суда. Сын одного из оправданных в Малмыже вотяков, грамотный и развитой сын расторопного отставного солдата, водил меня в шалаш, где якобы совершенно было челове-

ческое жертвоприношение. Шалаш этот произвел на меня своеобразное и очень сильное впечатление. Это просто большой амбар с двускатною крышей. Крыша и теперь раскрыта, как и тогда, когда в нем производили обыски и (напрасно) искали следов крови. Земляной пол весь изрыт, густая пыль лежит на полках, расположенных вдоль стен. На одной из полок стоял образ (мудор) Николая Чудотворца. Хозяин этого шалаша давно умер напрасною жертвой «ритуального дела» в тюрьме и хозяйка тоже. Из ближайшего дома со страхом смотрели на нас испуганные детские лица. Это семья одного из осужденных, «одно малое племя», т. е. малолетки, как сказал мне мой провожатый. Выйдя оттуда, я разговорился с солдатом о мифологии.

– Есть у вас мудоры?

– Есть мудор. Мудор – икона, – ответил он.

– А воршуд?

– Есть и воршуд.

– Что же это такое? – спросил я, радуясь, что наконец на место Курбона и Чупкана я могу поймать в Мултане хоть одного живого языческого бога.

– Воршуд, видите что... Видели вы в шалаше полки?

– Видел.

– Хлебы кладем мы на полки, молимся. Вот воршуд.

Итак, вместо бога Мудора – икона, вместо Воршуда – обряд освящения хлебов. Что мой собеседник говорил правду, это косвенно доказывает ссылка г. Смирнова на указание г. Богаевского («Воршуду или Мудору запрещается приносить кровавые жертвы» – хлеб не кровавая жертва). Наконец, если бы оказалось даже, что в Мултане есть «бог воршуд», то и тогда еще сарапульские и елабужские вотяки слово «Воршуд» иногда употребляют как синоним «Ин-Мара», т. е. благого духовного бога!

На суде защитник спросил у тыр-восяся Михаила Титова:

– Ин-Мар кто такой?

Свидетель:

– Вот! – поднимает глаза и крестится.

– Значит, наш бог?

– Бог, все равно... конечно, бог... Господь.

Затем, по требованию председателя, чита-

ет молитву Ин-Мару: «Инь-Мар-нянь-чесь, нылпи десьми уось» (записано, быть может, не совсем точно). В переводе, по его словам, это значит: «Бог хлеб давал бы, здоровья давал бы».

Вот это действительно совпадает с черемисской молитвой: «Великий древний бог» и т. д. Но это же совпадает в значительной степени и с нашей молитвой: «Иже еси на небесех, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

На вопрос председателя, обращенный к священнику Ергину, очевидцу жертвоприношения, – какие это боги, кому они поклонялись на своем мольбище, – о. Ергин ответил:

– Они так говорили: тому же богу кланяемся, как и вы, а если в лесу, так потому, что отцы и деды так поклонялись.

На суде этому не поверили. А между тем, этому следовало поверить, и мы все стояли в эту минуту очень близко к истине в вопросе о том, кому приносят вотяки кровавые жертвы. Это истина грустная, но все же далеко не в такой степени, как пытался доказать г. Смирнов своими двумя черемисскими сказками. Да,

обряд остался, но его содержание изменилось. Правда, наше понятие о боге оскорбляется тем, что эти люди приносят ему кровную жертву. Но самая жертва уже не так ужасна, как жертва какому-то несуществующему людоеду Курбону. Мы видели, что черемисы приносили ее «Древнему богу», Михаилу Титов режет быка в честь Ин-Мара, того самого, в честь которого осеняет себя крестным знаменем, а старуха, мать обвиняемого Кузнецова, стоит при этом даже на коленях, как в церкви. И, может быть, старческими губами молит Ин-Мара, древнего бога, к которому стремится из мрака времен мысль всех народов, чтобы он отвел от ее сына тяжелое обвинение в каннибальской жертве забытым давно божествам.

Очень может быть, что тут примешиваются еще какие-нибудь черты язычества, – но мы видим, однако, что между ничтожными нулес-муртенятами, которых можно изжарить в костре, и между мудорами-воршудами, которые выродились у одних в кусочки сухих древесных ветвей, а у христиан обратились в иконы или в одно из наименований «Того,

что на небе», ни экспертиза, ни мифология Кобылина не сумели поставить того бога, которому могла быть принесена человеческая жертва: воршуду и лешим – уже не стоит, а тот, кого зовут Ин-Маром, уже ее не примет.

Что это наше предположение верно, – это доказывает и сам г. Смирнов: Ин-Мар, Кылдысин и Квазь, – говорит он (стр. 240), – слились с христианским богом Отцом, Сыном и Духом Святым; воршуды – с ангелами-хранителями, а отдельные святые – с духами явлений природы.

Слились, но старый обряд еще остался.

*«В селах вазовского уезда, – пишет г. Смирнов (на стр. 241), – распространены так называемые напольные молебны, – в Панинском приходе около Троицы, в озимом поле перед началом пашни. Молебен пригоняется обыкновенно к воскресению; накануне, в субботу совершается языческое моление. В поле устраивается скамейка для иконы и обставляется срубленными березками. Перед иконой служат молебен и приносят жертву. В поле приводится жертвенный бык, купленный на обще-*



ственные деньги, и здесь его колют. Жрец берет в руки березовую ветку и читает вотскую молитву, а в это время с мясом жертвенного животного варится каша для всей деревни. По окончании языческого моления приезжает православный священник, служит молебен и освящает жертвенные яства; по окончании молебна священнику подносят на блюде голову жертвенного животного, священник кропит ее водой и делает на ней крест. Голова и внутренности поступают на угощение духовенства; остальное съедают молящиеся; кожа идет на церковь»[135].

«При некоторых церквях Вятской губернии, – продолжает г. Смирнов, – как нам передавали, устраиваются специально жертвенники, напоминающие своим расположением вотские дзек-квалы; это палатки, в которых по краям расставлены скамьи, в середине – столы, уставляемые жертвоприношениями, которые после благословения священника тут же и доедаются с возлиянием кумышки. В Малмыжском уезде также весной в озимом

поле закаляется бык, над которым сначала читается вотская молитва, а затем христианское благословение».

Ну, так вот и Мултан находится в Малмыжском уезде. А ученый профессор, сам написавший все это, ищет мудоров и воршудов, которым мултанцы приносили свои жертвы. И таких даже, которым, на основании сказок, приносятся будто бы жертвы человеческие! Г-н Смирнов забыл, что сказка может представлять простую окаменелость совсем другой антропологической формации, нахождение которой не доказывает, что соответствующая ей форма живет и теперь!..

Бог простит, вероятно, присяжным, слушавшим в первый раз в жизни слова ученого профессора, утверждавшего «с положительностью», на основании черемисских сказок, возможность человеческого жертвоприношения у современных вотяков-христиан. А пока очевидно, что Курбон Кобылина и урядника Соковикова, от которого отказался даже обвинитель на суде, не заменен никаким другим божеством, требующим человеческой жертвы. Мы вправе также совершенно отвергнуть

сказочную теорию почтенного профессора и присоединиться к мнению г-на Богаевского и г-на Верещагина, который категорически заявил на суде:

– Вотское божество человеческой жертвы не требует.

По крайней мере до тех пор, пока на место кобылинского Курбона, который означает «моление», на место мудоров и воршудов, которые обратились или в иконы, или в сухие ветки, на место нулес-муртов, которых вотяк сам может изжарить на костре, на место сказочных ву-муртов, которые открыли на базарах скромную торговлю рыбой, нам не покажут какого-нибудь языческого бога, достаточно злого для того, чтобы потребовать человеческой жертвы, достаточно могущественного для того, чтобы ему ее дали! Бога, которого бы признавал весь вотский народ, потому что обвинение мултанцев истекает из признания «обычая» у всех вотяков, основывается на слухах, собираемых не в Мултани, предполагает не переживание только, а настоящий культ, еще живой и общий всей вотской народности...

А между тем, общего культа у вотской народности уже давно нет. «Типичный вотяк» профессорских лекций может становиться еще «более типичным» на страницах научных исследований; он, может быть, вспомнит даже тех «богатых и славных богинь», которые дали ему некогда воршудные имена. Но с живым инородцем происходит как раз обратное. Уже теперь есть местности, в которых умерла не только старая вера, но и старый обряд. Есть другие, где, быть может, жив не только обряд, но и самая вера. Вся остальная масса вотского населения располагается между этими крайними полосами, живая, изменчивая, пестрая. Старое в ней угасает, хотя, быть может, не вполне угасло, новое уже народилось, но еще не окрепло. Найти место Мултана в этом потоке, на пути от язычества к христианству, отыскать то, что еще живо от старых богов, или приурочить старый обряд к новой вере – вот какова была задача ученой экспертизы. К сожалению, она даже не попыталась ее исполнить.

Это осталось открытым вопросом в деле, переполненном сомнениями, наряду с други-

ми, тоже неразрешенными вопросами: где же ночевал действительно Матюнин: в Мултане или в Кузнерке? Кем у него отнята голова: мултанцами или теми, кто с неизвестною целью надевал и снимал с него одежду уже в то время, когда убитый лежал на тропе? И не могла ли та же рука, которая все это делала неизвестно зачем, вынуть также и внутренности из убитого в первые дни или даже в длинный промежуток времени между нахождением трупа (когда никто еще не знал, что у него нет сердца и легких) и вскрытием, которое сделано через месяц?

.....

*Зачем это могло бы быть сделано? – спросит, конечно, читатель.*

*Здесь я старался лишь показать, что в деле и ныне осталось недоказанным самое существование у вотяков человеческих жертвоприношений. В другом месте и на основании других данных, в настоящей статье не затронутых, я буду доказывать, что это могло быть сделано с целью симуляции жертвоприношения, которая и достигнута тем, что все дознание, следствие и са-*

мый суд направлены по ложному следу.

*А в результате опасность страшной и уже окончательной судебной ошибки.*

1895

.....

## **Приносятся ли вотяками человеческие жертвы?**

***(Письмо в редакцию «Нов. времени»)***

**В** иллюстрированном приложении к № 7146 «Нового Времени» помещена заметка г. Дьяконова, пытающегося ответить положительно на поставленный выше вопрос. Она не дает ничего нового: что вотяки приносят еще до сих пор в жертву животных – этот печальный факт общеизвестен и только повторен многократно и в печатных отчетах по мултанскому делу, и в многочисленных корреспонденциях. Вопрос состоит лишь в том, можно ли сказать, что «от бычка недалеко и до человека», как говорил обвинитель в Малмыже и как, по-видимому, думает г. Дьяконов. Я полагаю, что для такого заключения нужны какие-нибудь данные, более точные и достоверные, чем «слухи, неизвестно откуда исходящие» (ибо слухи есть также о ведьмах,

русалках и присухе), и установленные более беспристрастно, чем данные суда, дважды отменяемого сенатом. Жертвоприношение Исаака символически отмечает собою конец человеческой жертвы в Ветхом Завете – но еще при рождении Христа приносили в храме двух голубей или козленка для кровной жертвы. А между этими двумя фактами легли тысячелетия, в течение которых кровная жертва существовала без жертвы человеческой. Между тем память о последней, как видите, сохранилась в виде символа, который мы заучиваем в школах.

Странно поэтому читать «ученые соображения» г. Дьяконова, глубокомысленно приводящего пример, как няня вполне просвещенных супругов забавляет их юное детище напеванием: «Ладо-ладошки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку...» А кто из самых образованных людей, – продолжает г. Дьяконов, – не едал оладьев – этих вкусных штучек, но ведь и песня няни, и оладьи певались и говорились в глубокую старину в честь языческого бога «Ладо». Из этого явствует, что и у вотяка должны быть переживания. Конечно!

И они указаны с несомненностью в виде кровной жертвы. Нужно доказать только, что есть переживания и жертвы человеческой, а уж этого-то никакими оладьями доказать невозможно.

Если бы г. Дьяконов ограничился помещением рисунков вотского мольбища и легенд об его происхождении, то его можно бы только поблагодарить, хотя он и не дал бы ничего нового для решения вопроса. Если бы он прибавил к рисункам только «ученую» справку об оладьях – тогда можно бы, пожалуй, улыбнуться и пройти мимо. Но г. Дьяконов этим всем не ограничился: он пытается подкрепить мнение о виновности мултанцев справками из печатного отчета – и вот это-то заставило меня взяться за перо, чтобы показать, какие «сплетни» распространяют по этому поводу люди, дерзающие порой с невежественным легкомыслием проникать с ними в прессу.

*«Утверждать, что Матюнин убит не вотяками, а кем-то другим, – пишет г. Дьяконов, – конечно, можно, и это волен делать всякий. Но кем же?.. Где*



голова убитого? Где его внутренние органы, вынутые через шейный отрез? Ради какой цели на груди трупа оказался ряд симметрических уколов? Наконец, почему труп оказался обескровленным, чистеньким таким, вымытым, одетым и обутым во все новое?» Редакция, напечатавшая статью г. Дьяконова, позволяющего себе обвинять меня в искажениях отчета и в сознательной лжи, вероятно, удивится, когда я скажу, что ничего подобного в моем отчете нет и что г. Дьяконов выдумал все, мною приведенное в цитате. Никаких симметрических уколов на груди трупа не было. Было «до десяти буроватых пятен на животе», вовсе не симметричных, которые все врачи (и вскрывавший, и эксперты) признали не следами уколов. Да и мудро было бы признать уколами пятна, с которых врачу пришлось соскабливать «верхнюю кожицу» (см. протокол вскрытия в отчете), так как всем известно, что на трупах уколы заживать не могут. Откуда г. Дьяконов взял свой «симметрический ряд уколов» – я объяснять не берусь. Такой же

выдумкой является и другое утверждение г. Дьяконова, будто труп оказался чистеньким, вымытым, обутым и одетым во все новое. Если бы г. Дьяконов потрудовался хотя бы один раз заглянуть в отчет о деле, хотя бы только в один обвинительный акт, он убедился бы, что ни о чем подобном не было и речи. Совершенно наоборот: труп был одет во все старое и сильно поношенное: в старую синепестрядинную рубаху и штаны и в старый азым с заплатой. Рубаху Матюнина свидетельница Шушакова узнала на суде по прорехе, азым узнали по синей заплате, в общем же все свидетели только и признавали убитого по одежде, которую видели на нем раньше! Что касается обескровления, то от него отказался на суде сам врач, производивший вскрытие, а эксперт, г. Крылов, допускаявший его, вынужден был признать, что это «прижизненное» обескровление могло произойти лишь после отнятия головы «одним ровным, гладким, круговым обрезом».

Надеюсь, после всего сказанного я мог бы оставить совершенно без ответа обвинения в

искажении отчета, исходящие от человека, который позволяет себе такое обращение с «печатным материалом». Только важность вопроса, связанного с судьбой живых людей, заставляет меня говорить на эту тему. «Один из моих знакомых, – пишет г. Дьяконов, – бывший в суде, в качестве присяжного, хотя и не участвовавшего в деле, говорил мне, что процесс изложен с большими неточностями. По этому изложению решительно невозможно сделать правильного заключения ни о показаниях врачей-экспертов, ни об образцовой речи прокурора, которая совершенно изуродована. Затем, после произнесения приговора, слов „коди кабак, кристос“ и т. п. ни один вотяк не говорил, хотя лицо, передавшее мне это, сидело очень близко к скамейкам подсудимых».

На этом основании г. Дьяконов считает возможным обвинить меня в «прибавлениях для красоты слога». Я работаю в печати уже более десяти лет и еще ни разу никто не позволял себе заподозреть мою литературную честность. Редко я видел также, чтобы это делалось с таким поразительным легкомысли-

ем, как это сделано в данном случае. Я не знаю, конечно, насколько грамотен присяжный, передававший г. Дьяконову свои впечатления. Но он-то, сам г. Дьяконов, берущийся за перо для печати, обязан был хотя бы прочитать то, за что кидает обвинения. А если бы он прочитал все это, то увидел бы, что фразы «коди кабак и пр.» нет в отчете; она помещена в моей статье в «Русском Богатстве», и притом не тотчас «после произнесения приговора», а в длинном промежутке между вердиктом присяжных и приговором суда. В моей статье сказано между прочим, что в это время бóльшая часть публики уже удалилась, присяжные, истомленные трехдневным процессом, ушли еще ранее, – и таким образом то обстоятельство, что знакомый г. Дьяконова не слышал эту фразу, еще никоим образом не доказывает, что ее не могли слышать другие.

Надеюсь, на этом я могу покончить с г. Дьяконовым. «Среди обитателей вятского края, – пишет он, между прочим, – существует прочное убеждение в несомненности факта (человеческих жертвоприношений). На чем же оно основано? Неужели только на сплет-

нях и неосновательных слухах?» Да, именно на сплетнях и неосновательных слухах, лучший образчик которых и дает статья г. Дьяконова. Если человек, пишущий для печати на основании печатного материала, так легкомысленно вносит в статью несуществующие факты и совершенно выдуманные улики, то чего же мы должны ждать от устной молвы, смутной, невежественной и неопределенной? И не ясно ли, что первая задача суда была оградить присяжных от этих слухов, первая задача печати – внести в эту тучу слухов освещение, точность и критику?

Раз уже зашла речь об искажениях, я попрошу еще позволения сказать несколько слов по поводу «образцовой речи» и не менее образцовой работы г. обвинителя по мултанскому делу, сказавшейся в обвинительном акте. И то, что я скажу, не будет голословным, подобно обвинениям г. Дьяконова.

В отчете речь г. Раевского мною передана в сокращении, о чем сделана и оговорка. Восстанавливая ее для отдельного издания в целом виде, я наткнулся в своей записи на одно место, которое повергло меня в большое смущение.

ние. Перечисляя улики, относящиеся до каждого из подсудимых, г. обвинитель сослался на очень важное показание каторжника Голова, которому умерший вотяк Моисей Дмитриев сознавался будто бы в том, что убили нищего вотяки, и назвал при этом участников. Это показание, вообще довольно сомнительное, служит уликой против трех подсудимых: Дмитрия Степанова, Кузьмы Семенова и Василия Кузнецова. Г-н обвинитель в своей речи к этим именам прибавил четвертое – Василья Кондратьева, относительно которого остальные улики были совершенно ничтожны. Хотя я и не могу поспорить с г. Раевским в знании мултанского дела, однако все же знаю его настолько, чтобы припомнить, что в показании Голова имя Василия Кондратьева упомянуто не было. Поэтому, дойдя до этого места обвинительной речи, я усомнился в правильности своей записи, – до такой степени казался мне невероятным факт подобного обращения со следственным материалом. А так как я знал, что будет очень много охотников оспаривать правильность нашего отчета, то уже занес карандаш, чтобы сделать оговорку и покаяться

в этой непонятной для меня ошибке в черновых записях моих и моих товарищей. К счастью, мне пришла в голову мысль предварительно заглянуть в обвинительный акт. Представьте же себе мое изумление, когда и здесь я прочитал следующее: «Относительно участников, Моисей Дмитриев называл только себя и Дмитрия Степанова, затем, тогда в тюремный замок были заключены Василий Кондратьев (!) и Василий Кузьмин, Кузнецов высказался, что первый из них участвовал в убийстве, а второй стоял на карауле». Между тем, в показании Голова говорилось о «Кузьме Самсонове и Василье Кузнецове». Таким образом, г. обвинитель совершенно произвольно заменил имя Кузьмы Самсонова, относительно которого были все-таки и другие улики, именем Василия Кондратьева, против которого улики гораздо слабее. Кажется, комментарии к этому факту излишни. Следует разве прибавить, что это не единственная «ошибка» обвинения по мултанскому делу. В том же показании Голова есть место, где говорится: «Моисей не сказал мне, в чей шалаш» (завели нищего), и это место в обвинитель-

ном акте цитируется так: «Моисей передавал, что убийство совершено в собственном шалаше». Или еще: «По исследованию, в корыте оказались волосы, сходные с волосами людей». Это якобы цитата отзыва, который в подлиннике однако заканчивается так: «... но отличаются от них большим развитием клеточных элементов кожицы. Такие волосы встречаются у домашних животных».

Если сказать, что это еще далеко не все «ошибки» обвинения по отношению к письменному материалу следствия, хотя, конечно, все остальное меркнет перед эпизодом со злополучным Василием Кондратьевым, то станет совершенно понятно, что речь, основанная на таких приемах, может произвести минутное, даже очень сильное впечатление, если сказать это все бойко и с одушевлением. Но то же самое на холодном печатном листе, да еще снабженное комментариями, неминуемо производит совершенно обратное впечатление. Таково уже основное свойство прессы, и в этом, смею думать, ее лучшая сторона в подобных случаях.

Я кончил это письмо, когда с почты мне



принесли номер «Вятского Края», в котором «из источника, заслуживающего доверия», сообщается, что будто мултанское дело будет слушаться в будущем феврале месяце, но не в Казани, а в г. Мамадыше, во время сессии казанского окружного суда. Трудно поверить этому известию, так как это значило бы, что все усилия вывести процесс из сферы влияния «местных толков и слухов» и привлечь к суждению о нем людей интеллигентных, — что было бы возможно в Казани, — остаются тщетными. А мы видели (хотя бы и на заметке г. Дьяконова), как эти «толки и сплетни» влияют на суждения о деле, заставляя даже людей, пишущих для прессы, читать в печатном материале совсем не то, что в нем написано.

Будем надеяться, что хоть на этот раз дело предстанет на суде в том виде, какой единственно достоин просвещенного суда в конце XIX века. Что хоть на этот раз не останется в нем ни тени тех порядков, которые заставили сенат два раза отменять решение присяжных. Вспомним, что опасность этого дела двусторонняя, что, кроме тьмы язычества, есть и

тьма других предрассудков, что «слухами, неизвестно откуда исходящими», полны инквизиционные хроники средних веков, когда тоже жгли язычников и иноверцев за колдовство и чары, когда в атмосфере темных предрассудков бродили мрачные призраки. Разве тогда не было стариков Иванцовых (96 лет!), видевших своими глазами, как ведьмы летают в ступах на Брокен! Да, были и тогда очевидцы невероятного, как и теперь:

*Это видели два стража,  
Баба, шедшая на рынок,  
Да причетник кафедральный,  
Возвращавшийся с поминок.*

СПб,  
20 января 1896 г.

### **Толки печати о мултанском деле**

Эту часть текущей нашей хроники мы начинаем под впечатлением известия об оправдательном вердикте по мултанскому делу.

История эта с внешней стороны в значительной степени известна нашим читателям. В Малмыже и Елабуге подсудимые вотяки были обвинены в принесении человеческой

жертвы языческим богам. Сенат дважды кассировал дело, находя в нем такие существенные нарушения судопроизводства, которые внушали сильное сомнение в правильности самого приговора, поставленного на основании слишком одностороннего следственного и судебного материала. После второй кассации дело было изъято из Сарапульского округа и передано в Казанский. В печати появился отчет о заседаниях елабужского суда, послуживший материалом для суждений прессы и специалистов. Сомнение в виновности вотяков все крепло в обществе, а заключения специалистов отчасти приподымали завесу, опущенную над этой таинственной драмой вопиюще небрежным и односторонним следствием.

Тем не менее в газетах уже весной настоящего года появились известия, сначала показавшиеся весьма сомнительными, но впоследствии получившие полное подтверждение. Оказалось, что Казанский суд назначил разбирательство в уездном городе Мамадыше, хотя и Казанской губернии, но расположенном на самой границе Малмыжского уез-

да, т. е. в сфере тех же «слухов и толков», ареной которых является этот последний уезд в течение вот уже четырех лет. Затем газеты принесли известие, что во всех ходатайствах защиты о вызове новых экспертов и свидетелей Казанским судом отказано и что, таким образом, дело предстанет перед присяжными совершенно в том виде, в каком оно являлось уже два раза: в Малмыже и Елабуге.

Затем из телеграммы «Русских Ведомостей» мы узнали, что 28 мая открылось в Мамадыше заседание выездной сессии под председательством г. Завадского. Обвинителем явился прикомандированный специально для этого дела тов. прокурора г. Раевский (обвинявший вотяков в Малмыже и Елабуге и руководивший предварительным следствием) и прок. Казанского суда г. Симонов. Защита состояла из гг. Дрягина, Карабчевского, Короленко и Красникова. Это усиление состава защиты и являлось, если не ошибаемся, единственной чертой, отличавшей новое заседание от прежних: обвинение же усилило число ранее вызванных свидетелей одиннадцатью новыми.

Из той же телеграммы мы узнали, что защита предъявила вновь ходатайство о вызове с своей стороны свидетелей, в опровержение новых показаний, но ей в этом было отказано. В зале присутствовали профессора судебной медицины Казанского университета г. Леонтьев и Харьковского – г. Патенко, явившиеся сюда с научными целями, ввиду огромного интереса, возбужденного этим делом. С этой же целью приехал из Томска ученый этнограф С. К. Кузнецов. Защита просила суд воспользоваться этим благоприятным обстоятельством и дополнить экспертизу уездных врачей заключением признанных ученых специалистов.

Судом и в этом ходатайстве отказано.

Затем известия смолкли, и в течение восьми дней в далеком Мамадыше, в тесной и душной зале, едва вмещающей несколько десятков посторонних зрителей, разыгрывался третий (надеемся, последний) акт судебной драмы, которой предстоит надолго остаться в летописях нашего суда «конца XIX века». 4 июня телеграфная проволока разнесла из Мамадыша во все концы России известие о

приговоре: все подсудимые оправданы, и кошмар «человеческого жертвоприношения» рассеян.

Судьбе угодно было, таким образом, обставить этот вердикт такой комбинацией обстоятельств, при которой он получает особенные, совершенно исключительные силу и значение.

Мы видели, что и в этот раз защита была обезоружена в то время, когда обвинение усилило кадры своих свидетелей на целую треть. Работы специалистов, вызванные появлением отчета, были совершенно устранены, и, наконец, двери суда были широко открыты для всевозможных слухов, «неизвестно откуда исходящих». И если, даже при этих условиях, суд присяжных наконец разобрался в тумане, окутавшем это таинственное дело, и вынес свой вердикт, освободивший несчастных мултанцев от четырехлетнего заключения, а вотскую народность – от обвинения в существовании ужасного культа, – то это, полагаем, говорит ясно, где в этом деле правда!

Мы ждем полного отчета, который, надо надеяться, не замедлит появиться, и нам еще

придется вернуться к «мултанскому моле- нию». Да, это дело ставит еще целый ряд во- просов, на которые отрицательное решение присяжных, формулированное в этих красно- речивых словах: «нет, не виновен», еще не да- ет нам ответа. Мы не говорим уже о полной бытового интереса и своеобразных красок эт- нографической стороне этого замечательного дела, не говорим и о специальных юридиче- ских вопросах, возникающих в изобилии на всем протяжении мрачной и трогательной драмы. Но нас, но все общество, но высшие юридические сферы, наконец, не может не интересовать глубоко тревожный вопрос о том, каким образом в течение четырех лет со- здавалось это обвинение, которое нельзя бы- ло доказать даже при таких исключитель- ных, при таких односторонне-благоприятных обстоятельствах?

Уже из газетных отчетов, пока еще весьма неполных и отрывочных, выясняются некото- рые черты предварительного следствия, кото- рым, казалось бы, не должно быть места в на- шем суде. Однако мы не имеем пока в виду подробно касаться и этой стороны дела. Не со-

мневаемся, что Казанский суд обратит на них свое внимание. Нам дает право надеяться на это и отмечаемое газетами образцовое беспристрастие, сказавшееся в резюме председателя Казанского суда г. Завадского. А пока мы только отмечаем факт оправдания и остановимся на некоторых замечаниях прессы, вызванных этим фактом.

В этом отношении отзывы печати единодушны. Сомневаться в правильности приговора, вынесенного при таких обстоятельствах, разумеется, трудно, а нарушение прав защиты, конечно, не может служить поводом для ослабления значения оправдательного вердикта. Если, таким образом, есть какая-нибудь почва для разногласий и споров, то она лежит в области не частного факта, а в сфере общих вопросов о значении его для оценки нашего суда вообще и института присяжных в частности.

Казалось бы, и в этом отношении дело довольно ясно.

.....

*Закон не даром обставляет собрание и предъявление следственного мате-*



*риала известными гарантиями, без которых, по удачному выражению А. Ф. Кони, «мнение» двенадцати человек, сидящих на судейской скамье, не может приобрести значение и силу «приговора».*

.....

Если эти гарантии нарушались – вина не присяжных. Читатели, вероятно, заметили, что в нашем журнале нет ни одной строки, ни одного слова горечи и упрека по адресу присяжных. И это не результат доктринерского предубеждения, закрывающего глаза на значение живого факта, – это глубокое убеждение в том, что сами присяжные стали два раза жертвой изумительных следственных, а также и судебных порядков, практиковавшихся, скажем так, в Сарапульском судебном округе. Лица, бывшие на последнем разбирательстве дела, отзываются с глубоким уважением о том неослабевавшем внимании, с каким в течение семи с половиной дней «десять мужиков, мещанин и дворянин» следили за всеми изгибами запутанного дела, за всеми тонкостями этнографической экспертизы, за всеми аргументами обвинения и защиты. И

если бы, при одностороннем материале, предоставленном их вниманию, они еще раз вынесли обвинительный вердикт, кто, по совести, мог бы поставить им это в вину, кто отнес бы на их счет грехи односторонне-обвинительного следствия и судебной процедуры, стеснившей в такой степени голос защиты?

Но присяжные вышли с честью из тяжелого испытания. Живым чутьем они различили, наконец, истину под грудой односторонне набросанных деталей. Таким образом, мултанское дело прибавляет лишь новое доказательство благотворности и жизненности суда присяжных. Суд людской – не божий. Присяжные – тоже люди и, конечно, способны поддаваться и молве, и предрассудку, и заблуждению. Тем важнее соблюдение всех законных гарантий, обеспечивающих достоверность судебного материала. Но разве не страшно подумать, что было бы, если бы вердикт был предоставлен тому самому составу сарапульского суда, который умел так обставить двукратное заседание. Нет, в данном деле вина двукратной судебной ошибки лежит, очевидно, не в институте присяжных.

Она не может быть также отнесена за счет действующих судебных установлений в целом, как это пытаются сделать «Московские Ведомости». Указав на двукратную отмену приговора и на то, что для этого понадобились, между прочим, экстраординарные усилия печати, газета делает вывод: «Нет надобности входить в обсуждение вопроса, кто виноват в подобных ошибках: следствие, суд или сами присяжные, но во всяком случае, ясно, что при существующем порядке вещей гарантии правосудия оказываются весьма шаткими».

Что порядки, уже отчасти вскрывшиеся в мултанском процессе и ожидающие еще дальнейшего освещения, весьма плохо гарантируют правосудие, с этим, конечно, согласится всякий, кому дороги интересы справедливости и правосудия в нашем отечестве! Но если так, то тем более есть надобность отыскать источники этой шаткости, тем необходимее найти больное место нашего правосудия... К сожалению, все эти нападки на суд присяжных и на «дух судебных уставов» только мешают выяснению истинной причины

зла, и в этом отношении заметка почтенной газеты представляется особенно типичной. И перед нею мултанское дело ставит «тревожные вопросы»: «допуская, что третий вердикт окажется последним и что он вполне согласен с требованиями справедливости», автор невольно задается вопросом: чем вознаградить несчастных мултанцев за четырехлетние мучения? Далее: «что, если бы дважды судебное решение не дало сенату кассационных поводов или поводы эти прошли незамеченными?» Наконец, газета делает допущение, что «если бы не В. Г. Короленко, никакого отношения к суду не имеющий, то дело могло бы остановиться на первом или втором вердикте и обвиняемые были бы невинно осуждены».

В этих пессимистических рассуждениях есть несколько очень крупных недоразумений и одна не менее крупная наивность. Первое из этих недоразумений касается роли В. Г. Короленко в этом деле. Как ни лестно для нас допущение, будто без влияния статей нашего сотрудника дело могло остановиться в первом или втором вердикте, но мы, быть мо-

жет, с некоторым невольным сожалением, должны отказаться от этой иллюзии. Дело в том, что первая кассация мултанского дела в сенате последовала тогда, когда В. Г. Короленко не написал о деле ни одной строчки и когда огромное большинство прессы было далеко от каких бы то ни было сомнений в наличии печального факта. А так как второе заседание того же Сарапульского суда (в Елабуге) лишь усилило отмеченные сенатом нарушения, то вторая кассация была просто логической необходимостью, и, очевидно, ни о какой связи ее с теми или другими статьями прессы тут не может быть и речи.

Что же касается вопроса газеты: «что было бы, если бы суд не подал поводов для кассации?» – то ответ так прост и ясен, что мы склонны считать наивностью самую его постановку. Поводы для кассации так примитивно внушительны, нарушения прав защиты так осязательны, так существенны и важны, что, если бы их не было, то не было бы и надобности в кассации; если бы свидетели защиты были выслушаны на первом суде, то истина предстала бы и ранее, и полнее, чем она

предстала теперь, и мултанцы были бы оправданы еще в Малмыже.

Нет, к счастью, как ни темно еще теперь мултанское дело, но один вывод из него совершенно ясен: не суд присяжных и не судебные уставы повинны в таких ошибках. Причина их в системе предварительного следствия и собирания доказательств, а отчасти и в том, что в магистратуру проникла в последнее время излишняя терпимость к таким приемам «подготовительных к суду действий», какие вскрылись, хотя, быть может, еще не вполне, во время мултанского процесса. В заключение этой заметки мы приводим самое «свежее» известие, относящееся к области «косвенных влияний» мултанского дела и достоверность которого гарантируется уже самым источником, откуда мы его заимствуем.

.....

*В одном из последних номеров «Вятских Губ. Ведомостей» сообщают, что в селе Кизнере, соседнем с Мултаном, повесился вотяк-десятский. Это было в то время, когда, перед судом, все еще «дополнялось следствие» и местный*

*урядник употреблял десятского для каких-то действий по мултанскому делу. Несчастный повесился, чтобы избежать, как сказано в «Губ. Ведомостях», «посредничества между вотяками и начальством».*

.....

Не правда ли, какая печальная, но и какая знаменательная заключительная нота в этом глубоко мрачном аккорде... И неужели мы не узнаем, что это за «посредничество», которого требовали гг. урядники по мултанскому делу и от которого люди ищут спасения в смерти?!

1896

### **«Они судили мултанцев...»**

**О**ни судили мултанцев. Два интеллигентных человека и десять мужиков. Помню особенно деревенского мельника, внушительную славянскую фигуру, с белокурыми волосами, по-славянски подстриженными на лбу, и с голубыми глазами. Облик этого богатыря закрыл для меня все остальные лица. Помню, что я смотрел на него с большим сомнением и даже опасением. Крепкая, почти каменная фигура, с очевидно готовым мнением, с суро-

вым взглядом на защитников, с глубоким предубеждением против вотяков.

Раз взглянув в эти голубые, холодные глаза, я в качестве защитника инстинктивно обращался со всеми заявлениями уже только к нему. Мне казалось, что, если мне удастся сдвинуть эту каменную фигуру – с нею вместе сдвинется и вся остальная деревня.

Долго, первые пять-шесть дней процесса, он сидел, уперши руки в колени, разостлав по груди русую волнистую бороду, неподвижный, непоколебимый и враждебный.

Наконец, на шестой день, при некоторых эпизодах судебного следствия, в его глазах мелькнул луч недоумения.

Потом он взглянул на меня, и в первый раз я заметил, что его настроение дрогнуло.

Когда мултанцев оправдали, я с Н. П. Карбачевским стоял у окна домика, где поселились все защитники, и увидел на другой стороне того же присяжного. Он имел вид человека, только что вырвавшегося из заключения: шел развалистой походкой и был, очевидно, слегка выпивши.

Увидев меня, он круто остановился, как



будто в нерешимости. Я ему поклонился. Он опять оглянулся вдоль улицы захолустного городка и спросил:

– А к вам теперь можно?

– Можно, можно, – ответили мы. – Теперь вы уже человек свободный.

Он крепкой походкой медведя перевалился через немощеную улицу и подошел к нашему окну. Сняв шапку и отвесив глубокий поклон, он подал затем в окно свою широкую руку и сказал:

– Ну, спасибо, господа. Вот я поеду к себе в деревню, расскажу. Ведь я, признаться сказать, ехал сюда, чтобы осудить вотяков. О-осудить, и кончено. Из деревни наши провожали. Ну, выпили, конечно. Соседи и говорят: «Смотри, брат, не упусти вотских. Пусть не пьют кровь».

Он широким размашистым жестом провел по груди в расстегнутом кафтане и закончил:

– Теперь сердце у меня легкое...

## Сорочинская трагедия

Впервые очерк о Сорочинской трагедии был опубликован в журнале «Русское богатство» за 1907 год. Газета «Правда» дала такое пояснение в предисловии к очерку:

*«Экзекуция над крестьянами Полтавской губернии на почве земельных “недоразумений” заставляет его (Короленко. – Прим. ред.) выступить в печати с протестом против действий руководителя этой экзекуции – советника Филонова. Эта кампания влечет за собой привлечение Короленко к ответственности по обвинению в подстрекательстве к убийству Филонова».*

Протест Короленко против массовых расправ над крестьянами Миргородского уезда имел большой общественный резонанс. Как отмечал сам Короленко, его выступление против Филонова «производило огромное впечатление: чиновничество всполошилось, как муравейник, общество (за исключением правого порядка) и крестьянство ободрялось».

## Предисловие

В декабре 1905 года в местечке Сорочинцах Ви Уставши (Полтавской губ.) произошли события, вызвавшие известную «карательную экспедицию» ст. сов. Филонова.

12 января 1906 года я поместил в газете «Полтавщина» открытое письмо, в котором, рассказав о незаконных жестокостях и массовых истязаниях, допущенных этим чиновником, взывал к суду – над ним или над мною.

18 января, вернувшись из другой подобной же экспедиции, Филонов был убит в гор. Полтаве. Убийца скрылся.

В самый день похорон Филонова местная полуофициозная газета «Полтавский вестник» поместила от имени покойного «посмертное письмо писателю Короленко». Письмо это, уже и тогда внушавшее большие сомнения в своей подлинности, открыло обширную и ожесточенную газетную кампанию, целью которой было, во-первых, подорвать доверие к правдивости сообщенных мною фактов, а во-вторых, возбудить в читателях сомнение в прямоте и искренности мо-

его призыва к правосудию, который выстав-  
лялся как сознательное подстрекательство к  
террористическому убийству.

В газете «Полтавщина», а затем в «Русском  
Богатстве» (январь 1906 г.) я ответил на эти  
инсинуации кратким заявлением[136]. Глубо-  
ко сожалея о том, что начатая мною гласная  
тяжба с бесчеловечными по форме и разме-  
рам административными репрессиями пре-  
рвана вмешательством, которого я не мог ни  
предвидеть, ни тем более желать, я выражал  
надежду, что и теперь ничто не помешает  
полтавской администрации потребовать у  
меня на суде доказательств правдивости все-  
го, мною сказанного, к чему я совершенно го-  
тов.

Вскоре стало известно, что против писате-  
ля Короленко и редактора «Полтавщины»  
Д. О. Ярошевича возбуждается преследование  
по п. 6 гл. 5 отдела III временных правил о пе-  
чати. Тогда, со своей стороны, я прекратил  
всякую полемику по этому предмету, в ожи-  
дании компетентной проверки фактов, в ре-  
зультатах которой я не имел оснований со-  
мневаться.

Это соображение не остановило начатой против меня кампании. Быть может, именно потому, что результаты судебного расследования легко было предвидеть, — газеты известного лагеря постарались широко использовать время до решения суда. Поток инсинуаций разливался все шире. Клевета проникла, наконец, на столбцы министерского органа «Россия» и была повторена г-м Шульгиным с высоты депутатской трибуны.

Теперь следствие закончено, и самое дело прекращено, так как изложенные мною факты подтвердились. С этим проверенным материалом в руках я имею теперь возможность ответить на клевету.

Впрочем, если бы дело шло только обо мне лично, то, вероятно, я пригласил бы моих противников поддержать их обвинения против меня тем же судебным порядком, каким я поддерживал свои по отношению к «филоновской экспедиции». При этом мне представлялся широкий выбор противников, начиная с министерского органа и кончая «Полтавским вестником», открывшим кампанию заведомо подложным письмом.

.....

*Но я считаю, что значение «сорочинской трагедии» гораздо шире личного вопроса и даже вопросов местных. Это типичная «карательная экспедиция», освещенная теперь с начала и до конца, со всеми характерными чертами этого явления наших «конституционных дней». Роль администрации, суда, официальной и независимой печати в этом эпизоде до такой степени поучительны, что ими совершенно поглощаются частные вопросы личного порядка.*

.....

Поэтому я и решил развернуть перед обществом всю эту картину, как она рисуется теперь на основании официально проверенного материала.

При этом читатели могут судить попутно и о том, имели ли писатель Короленко и независимая полтавская печать право и даже обязанность напечатать «открытое письмо» с призывом к суду, и на чьей стороне были не только право и правда, но и самая строгая «законность».

## **Глава I**

### **Сорочинцы и Устивица**

**В**се это случилось через месяц после манифеста 17 октября 1905 г.

В России долго будут помнить это время.

.....

*В разгар общей забастовки, среди волнений, закипавших по всей стране, манифест провозглашал новые начала жизни и во имя их призывал страну к успокоению. В записке гр. Витте, приложенной к манифесту по высочайшему повелению, говорилось, между прочим, что «волнение, охватившее разнообразные слои русского общества, не может быть рассматриваемо... только как результат организованных действий крайних партий. Корни этого волнения, несомненно, глубже». Они в том, что «Россия переросла формы существующего строя».*

.....

Дальше говорилось о необходимости полной искренности в проведении новых начал, а властям предстояло сообразовать с ними свои действия.

Отсюда вытекали, разумеется, неизбежные последствия: так как вина в волнениях, происходящих в обществе, «переросшем формы

существующего строя», признавалась по меньшей мере двусторонней, то и меры успокоения должны быть тоже двусторонни. Перед властью лежала сложная и ответственная задача: с одной стороны, она не могла, конечно, допустить насилий, погромов и захватов, но с другой – должна была показать, что сила власти направлена только на поддержание закона и регулируется законом. Старые приемы произвола, административных усмотрений и безответственности должны были отойти в прошлое. Только из приемов самой власти общество и народ могли увидеть, что обещания манифеста не одни слова, что они входят в жизнь как действующая уже и живая сила.

Этих простых и общепризнанных положений, заштемпелеванных и даже высочайше утвержденных, совершенно достаточно для освещения описываемых мною событий. Местная независимая печать стояла в филоновском деле именно на этой точке зрения.

К сожалению, те, для которых она, по-видимому, являлась наиболее обязательной, были совершенно не подготовлены к ее понима-



нию. Отсюда сорочинская трагедия. Отсюда и много других трагедий, которые переживала и еще переживет наша страна, «переросшая формы своего существования», которые, однако, продолжают давить ее с прежнею силой.

23 декабря 1905 года я вернулся из Петербурга в Полтаву.

В городе в это время рассказывали ужасы о мрачной драме, разыгравшейся в мест. Сорочинцах (прославленных некогда веселыми рассказами Гоголя) и в соседней Устивице.

В местной газете были помещены известия об этих событиях[137]. В первой корреспонденции сообщалось, что в ночь на воскресенье, 18 декабря, в Сорочинцах был арестован (в административном порядке) местный житель Григорий Безвиконный. «В ответ на это, – продолжает корреспондент, – 19 декабря, с общего согласия крестьян, был арестован при волостном правлении сорочинский пристав. Крестьяне думали таким образом ускорить освобождение Безвиконного». Вслед за приставом арестовали и урядника Котляревского.

В Полтавской губернии подобные вспыш-

ки были уже в других уездах, причем, по-видимому, толпа была особенно чутка к арестам в административном порядке лиц, читавших и объяснявших манифест народу. Так, в гор. Зенькове, после ареста такого толкователя Никольского, толпа около двух тысяч человек двинулась к тюрьме. Стражники стреляли, но это не помогло. Толпа росла, увеличиваясь пришельцами из деревень. На следующий день прибыл освобожденный Никольский и успокоил народ, «обнадежив его милостью высшего начальства», которое (по его словам) не оставит безнаказанным опрометчивый поступок исправника, повлекший за собой кровавые жертвы. Толпа разошлась, причем ни грабежей, ни других беспорядков больше не было, и столкновение разрешилось на этот раз без дальнейших несчастий[138].

14 декабря такое же волнение было вызвано в Лохвице административным арестом местного жителя И. П. Бедро. Толпа арестовала помощника исправника и повела его к волости. Отряд драгун освободил его, и в толпу было дано три залпа. Оказались раненые, в том числе трое тяжело[139].

В местечке Ковалевке (Пирятинского уезда) такое же впечатление произвел арест крестьянина Оправхата...

Очевидно, народ «слишком непосредственно» принимал обещания манифеста о «неприкосновенности личности» и «ответственности лишь по суду», считая эти обещания уже вошедшими в силу. Между тем администрация, особенно уездная, не желала отказаться от привычных способов действий. Понятно, что всякая возбуждающая агитация на этой почве встречала в народе восприимчивое и отзывчивое настроение.

Какое значение имел арест Безвиконного для дальнейших событий, лучше всего можно судить из показаний полицейских, которых в этом случае нельзя заподозрить в тенденциозности. Пристав Якубович в своем показании, воспроизведенном в газете «Полтавский вестник» [140], говорит, что ему кричали: «Мы знаем теперь, зачем существует полиция. Чтобы красть людей». Еще определеннее свидетельство другого полицейского, урядника Котляревского, претерпевшего плен вместе с приставом.

.....

*«Обсуждая события 19 декабря, – простодушно и метко говорит этот очевидец, – я должен сказать, что в местечке Сорочинцы сравнительно все было спокойно, и начались волнения с введения усиленной охраны, когда появились слухи о производившихся арестах». Сам Безвиконый, по словам Котляревского, не пользовался особенной популярностью. Но его арест послужил все-таки «предлогом для начала смуты».*

.....

Народным настроением воспользовался неведомый заезжий «оратор Николай». Уже 16 числа он появился в Сорочинцах и говорил речи перед толпой. Все это, однако, держалось в известных пределах, довольно обычных для того времени. С арестом Безвиконого настроение толпы резко поднялось. Арестовали пристава, звонили в набат, собирались с дрекольем. «Оратор» указывал на примеры, когда народу удавалось добиться освобождения административно арестованных.

19 декабря, то есть на следующий день после ареста пристава, часов в одиннадцать

утра в местечко прискакал из Миргорода помощник исправника Барабаш с сотней казаков. Население собралось по набату на площадь; многие были вооружены вилами, косами, дрючками и т. д. «Оратор Николай» был тут же. Барабаш просил крестьян пропустить его к приставу. Крестьяне согласились на это и проводили Барабаша к «пленнику», но на требование освободить пристава ответили отказом, требуя в свою очередь предварительного освобождения Безвиконного. Барабаш в этих трудных обстоятельствах сделал самое худшее, что только мог сделать: после переговоров он сначала уехал с своим отрядом, а потом вернулся к торжествующей и ободренной этим отступлением толпе. Здесь во время новых переговоров произошел, между прочим, следующий инцидент. Какая-то женщина ткнула длинной палкой в морду коня начальника отряда, полковника Бородина. Ее застрелил казачий урядник К[141]. Можно предполагать с большой вероятностью, что именно этот выстрел, раздавшийся среди страшного напряжения еще до сигнального рожка (когда полк. Бородин «уговаривал толпу») и убив-

ший женщину, послужил сигналом для последовавшей за ним свалки, которая разразилась стихийно и ужасно. На месте остались смертельно раненный Барабаш и восемь человек сорочинских жителей; двенадцать других были тяжело ранены и убиты в разных местах, на дворах и улицах местечка.

На другой день (то есть 20 декабря), – по словам того же урядника Котляревского, – «все уже было спокойно». В переполненной больнице подавали помощь раненым. Барабаш и несколько сорочинских жителей умерли. Возбуждение предшествующих дней сразу упало. Наступила полная реакция.

Это был критический момент всего дела, мертвая точка, с которой оно могло направиться по новому пути, намеченному манифестом, или ринуться по старому, в глубину административного произвола. За дни возбуждения и волнений, корни которых тоже ведь надо было искать «глубже организованных действий крайних партий», местечко заплатило уже тяжелой, кровавой ценой. Теперь только суд мог с достаточным авторитетом разобраться в первом действии этой траге-

дии, от которой погиб Барабаш, но погибло также двадцать сорочинских жителей, не говоря о раненых.

Если бы обещания манифеста искренно признавались не отвлеченными рассуждениями, а живой и действующей силой, с которой «администрация должна сообразовать свои действия», то, конечно, суд вступил бы со своим вмешательством тотчас после «усмирения».

Вышло не так. Полтавская администрация еще раз взяла на себя старую роль судьи в деле, в котором, по самым элементарным представлениям, она с момента усмирения должна была явиться уже только стороной, обвиняющей и, может быть, защищающейся против обвинений.

От старых привычек отказываться трудно, особенно когда нет к тому и особого желания.

Наступало роковым образом второе действие сорочинской драмы.

В местечко был командирован Ф. В. Филонов, старший советник губернского правления, в распоряжение которого дан отряд казаков, с двумя пушками. Отряд вступил в Соро-

чинцы 21 декабря, и уже в ночь на 22-е были беспрепятственно произведены аресты так называемых «зачинщиков».

Тем не менее 22-го, по приказанию Филонова, казаки согнали без разбора на площадь перед волостью причастных и не причастных к событиям жителей. Здесь Филонов поставил всю тысячную толпу на колени в снег. Толпа покорно встала, что уже само по себе дает яркое доказательство отсутствия всякого бунта. Тем не менее Филонов продержал ее в этом положении по самым умеренным наказаниям (казачьих есаулов и полицейских) не менее трех часов – что уже само по себе составляет истязание. На этом фоне производились и другие действия, подробно описанные в моем «Открытом письме».

На следующий день, 23-го, отряд выступил в Устивицу, куда перенес ту же грозу, несмотря на то, что там не было никаких насилий, никого не арестовали и не убивали, а только самовольно закрыли винную лавку.

Все происшедшее было оглашено в газете «Полтавщина», в номерах, вышедших 23 и 30 декабря.

.....



Таковы были события, – чудовищные и, как всегда, еще преувеличенные рассказы о которых я застал, вернувшись в Полтаву перед самым Рождеством 1905 года. По этому поводу ко мне, как к одному из заметных работников печати, присылали письма, являлись лично возмущенные, взволнованные, негодующие люди с требованиями более энергичного вмешательства независимой прессы.

.....

Упрекаю себя в том, что я некоторое время медлил. У меня была своя спешная работа. Я считал, что многое в этих рассказах преувеличено, и не мог взяться за это дело без тщательной проверки. Наконец в печати были уже оглашены все факты. Земский начальник (Данилевский) официально докладывал о них губернатору (кн. Урусову). Почетный мировой судья Лукьянович, имение которого находится по соседству с Устивицей, 31 декабря послал подробное официальное сообщение прокурору полтавского окружного суда. Трудно было думать, что и после этого никто, ни администрация, ни судебная власть, не удер-

жит дальнейших бесцельных жестокостей.

Никто не удержал их, и вскоре из уездов стали приходить известия самого тревожного свойства. В селе Кривая Руда, в котором не было уже никаких беспорядков, Филонов произвел погром, показывавший, что военный отряд отдан, по-видимому, в распоряжение человека, одержимого какими-то болезненными приступами непонятной жестокости.

## Глава II

### Кривая Руда. Эпидемия насилий

**Н**а этот раз погром был вызван забастовкой на хуторе земского начальника Надервеля. Отправляясь туда, Филонов распорядился, чтобы староста села Кривой Руды, через которую только лежал путь на хутор земского начальника, заготовил (бесплатно) обед для казачьего отряда и созвал полный сход. Жители Кривой Руды, не допуская в своем селе никаких беззаконий, считали и себя, в свою очередь, состоящими под охраной законов и потому отказали старшине в бесплатной выдаче припасов, а сход, собравшись в полном составе, ждал с утра до восьми часов вечера. Видя, что отряда нет, старшина счел себя

вправе распустить усталых и озябших людей по домам.

Этого для Филонова было достаточно, чтобы повторить в мирном селе все то, что он произвел в Сорочинцах, где все-таки было ранее вооруженное столкновение. Приехав вечером, он прежде всего потребовал к себе старшину, сорвал с него знак, избил палкой по лицу, затем принялся за писарей, которых таскал за бороды из одного конца комнаты в другой. Среди холода и темноты наскоро был согнан сход из двухсот-трехсот человек, ничего не понимавших и ни к каким забастовкам непричастных («многие из попавших на этот сход сами имеют годовых рабочих», – прибавляет корреспондент). Выйдя на крыльцо, Филонов закричал: «Шапки долой, на колени, мерзавцы! Выдавай виновных!» Толпе не было объяснено даже, кто виновен, и в чем виновен, и кого следует выдавать. В это время казаки привели к крыльцу отставного земского фельдшера Багно. Увидав его, Филонов закричал: «Долой шубу!» С больного старика сорвали шубу, закатили пиджак, два казака нагнули за волосы и за бороду, а два начали

бить, пока он не свалился на землю. После этого его заперли в арестантскую и принялись за толпу по очереди. «Выбирать не выбирали, а просто били по порядку, кто ближе стоял на коленях».

.....

*Тогда под влиянием ужаса (все это, напомним, происходило в темноте и среди полного недоумения о причинах нападения) кто-то в толпе поднялся, чтобы бежать. Толпа последовала этому примеру. Люди побежали в беспорядке. Казачий есаул крикнул: «Руби!» «Никто не успел опомниться – все смешалось. Каждый видел перед собою только смерть. Ночь безлунная, хотя и звездная, наводила еще больший ужас на души суеверных, беззащитных крестьян... Бежали прямо под шашки, топча и давя друг друга...»[142]*

.....

К этой картине, которой мне приходится дополнить свое «Письмо», прилагаемое ниже, считаю необходимым прибавить здесь же следующую оговорку: она заимствована мною из корреспонденции газеты «Полтавщина», напечатанной долго спустя[143], так

как редакция подвергла ее предварительно самой тщательной проверке. По этому поводу губернатор, князь Урусов (к сожалению слишком поздно), командировал чиновника г-на Устимовича. для проверки газетных сведений о деяниях своего «старшего советника», а, вероятно, также на предмет возбуждения нового дела против газеты. Но г. Устимович счел своей обязанностью сделать правдивый доклад, подтвердивший сведения, сообщенные корреспондентом. В приобщении к моему делу этого доклада мне было отказано, но самый факт командировки и ее результатов установлен показанием старшего советника губернского правления г. Ахшарумова, который, – правда в очень смягченной форме, – признал в своем показании по моему делу, что дознание Устимовича действительно было и что Филонов «при исполнении служебных обязанностей применял по отношению к некоторым лицам репрессивные меры, граничащие с физическим воздействием, почему судебного преследования против газеты за означенную корреспонденцию возбуждено не было...»[144]

«Меры, граничащие с физическим воздействием», – это, конечно, выражение очень изящное, в чисто канцелярском стиле, но зато окончание изящной фразы вполне определено: газета не была привлечена к ответственности, несмотря на всю готовность администрации, потому что ее сведения подтвердились. А она говорила не о мерах, «граничащих с воздействием», а о таких мерах, которые далеко перешли границу, отделяющую простые «воздействия» от истязаний, и применялись к мирным жителям, ничем, со своей стороны, не нарушившим существующих законов.

Была еще причина, побудившая меня взяться за перо: жестокость Филонова заражала подчиненных и переходила в какую-то эпидемию.

Еще Петр Великий на своем образном языке указывал последствия того, «когда начальствующий сойдет с фарватера» правды и закона. «Первое всего станет тщиться всю коллегия в свой фарватер сводить... А видя то, подчиненные в какой роспуск впадут».

Этот «роспуск» уже ширился по губернии.

Почетный мировой судья Лукьянович сообщал прокурору о появлении в его усадьбе какой-то пьяной банды, которая без всяких законных полномочий начинала рыскать по хуторам, чтобы хватать неблагонадежных, а вернее, конечно, сводить свои счета. Из Хорольского уезда газете «Полтавщина» сообщали, что после «усмирения» на хуторе Дубовом исправник для производства дознания собрал жителей и крикнул: «На колени, крамольники!» «Крамольники» стояли в луже, но, окруженные казаками, стали на колени в ледяную воду и простояли два часа. «Крамолу изгнали, – прибавляет корреспондент, – а ревматизмов приобретено немало»[145].

Такие известия приходили из разных мест. Одни слухи о приближении филоновского отряда вызывали панику, которую ярко рисуют некоторые свидетели по моему делу.

.....

*«Я наблюдала картину настоящей паники, – говорит, например, устивицкая учительница Крапивина[146]. – Люди куда-то шли из центра местечка и вели с собой детей. Шли оторванные от предпраздничной работы женщины,*

*запачканные в меле, так как они маза-  
ли хаты».*

.....  
Другой свидетель, случайно гостивший в Устивице, дает картину первых моментов после занятия отрядом села: «Один ожидаемый приезд отряда нагнал на народ панику. Многие с уезда (приезжие?) принялись убежать даже с детьми, куда глаза глядят. Были такие, что прятались в лесу или в соседних селениях». На улице ему попались два казака, которые гнали какого-то старика (на сход), подгоняя его нагайками. Взобравшись (вероятно, для безопасности) на колокольню, он «хорошо видел, что казаки (несколько человек) бегают по улицам, по дворам и гоняются за какими-то людьми, не то мужчинами, не то женщинами».

«Одна местная жительница, красивая, молодая женщина, еле отделалась от любезностей гонявшихся за нею и так перепугалась, что нервно заболела»[147].

Вот во что, под влиянием «старшего советника», «уклонившегося с фарватера закона», превращались отряды, назначенные для вос-



становления закона и «спокойного доверия к власти». И не было видно такой закономерной власти, которая бы пожелала и смогла положить этому предел и напомнить об ответственности «не одних обывателей, но и должностных лиц».

Администрация, по-видимому, не желала.

Суд, вероятно, не мог.

Оставалась печать, и я чувствовал угрызения совести, что не сделал ничего тотчас же по получении известий о сорочинской катастрофе. Я надеялся на последствия фактических газетных корреспонденций и на официальные сообщения почетного мирового судьи. Но за ними последовали только истязания ни в чем неповинных криворудских жителей. Очевидно, нужно было сказать что-нибудь более яркое и более сильное, чем фактические корреспонденции провинциальной газеты.

При данных обстоятельствах эта задача явно ложилась именно на меня, и после известий о Кривой Руде я уже не мог думать ни о каких других работах.

Разумеется, наиболее благодарным мате-

риалом для ее исполнения являлся криворудский эпизод, не осложненный никакими «беспорядками», где явное беззаконие, с начала и до конца, было на одной только стороне. Но это требовало, разумеется, новой тщательной проверки, а дни уходили, разнося ужас и панику, подавляя всякие надежды на законный исход, принося, быть может, новые экспедиции и новые жестокости.

В это именно время в Полтаву приехали двенадцать человек сорочинских жителей, которые сами пожелали дать для печати сведения о происшествиях в их селе, принимая ответственность за правильность сообщения. Я по очереди опросил их, записал их показания, сопоставил их друг с другом и исключил все, что возбуждало хоть в ком-нибудь из них сомнение и не подтверждалось двумя-тремя человеками.

Так был получен материал для нижеследующего письма, которое я привожу целиком и без всяких изменений. Читатель увидит, надеюсь, что картина, в нем изображенная, бледнее той, которая рисуется следственным материалом. И если при этом мне приходится

повторять о мертвом то, что я писал, призывая к суду живого; если мне придется дополнить картину его действий новыми подробностями, доставленными запоздалым официальным расследованием, то пусть вина в этом падет на тех, кто в течение целого года, пользуясь моей сдержанностью в ожидании суда, продолжал извращать факты, известные целому краю, не останавливаясь при этом даже перед подлогами от имени покойного Филонова.

Истина имеет свои права, и теперь пусть общество судит не только о действиях Филонова, но и о том, какими средствами защищали этот образ действий его живые единомышленники.

### Глава III

#### Открытое письмо статскому советнику Филонову[148]

**Г.** статский советник Филонов!

Лично я вас совсем не знаю и вы меня также. Но вы чиновник, стяжавший широкую известность в нашем крае походами против соотечественников. А я писатель, предлагающий вам оглянуться на краткую летопись ва-

ШИХ ПОДВИГОВ.

Несколько предварительных замечаний.

.....

*В Сорочинцах происходили собрания и говорились речи. Жители, очевидно, полагали, что манифест 17 октября дал им право собраний и слова. Да оно, пожалуй, так и было: манифест действительно дал эти права и прибавил к этому, что никто из русских граждан не может подлежать ответственности иначе как по суду. Он провозгласил еще участие народа в законодательстве и управлении страной и назвал все это «незыблемыми основами» нового строя русской жизни.*

.....

Итак, в этом отношении жители Сорочинец не ошибались. Они не знали только, что, наряду с новыми началами, оставлены старые «временные правила» и «усиленные охраны», которые во всякую данную минуту представляют администрации возможность опутать новые права русского народа целою сетью разрешений и запрещений, свести их к нулю и даже объявить беспорядком и бунтом,

требующим вмешательства военной силы. Правда, администрация приглашалась сообразовать свои действия с духом нового основного закона, но у нее были и старые циркуляры, и новые внушения в духе прежнего произвола.

В течение двух месяцев высшая полтавская администрация колебалась между этими противоположными началами. В городе и в губернии происходили собрания, и народ жадно ловил разъяснения происходящих событий. Конечно, были при этом и резкости, быть может излишние, среди разных мнений и заявлений были и неосновательные. Но мы привыкли оценивать явления по широким результатам. Факт состоит в том, что в самые бурные дни, когда отовсюду неслись вести о погромах, убийствах, усмирениях, в Полтаве ничего подобного не было. Не было также тех резких форм аграрного движения, которые вспыхивали в других местах. Многие, и не без основания, приписывали это, между прочим, и сравнительной терпимости, которую проявила высшая полтавская администрация к свободе собраний и слова. Под их влиянием

стихийные страсти народа умерялись, сознание росло, ожидания вводились в закономерное русло, надежды обращались к будущим свободным учреждениям страны. Казалось, еще немного, и народное мнение сложится и прояснится, как проясняется вино после шумного и мутного брожения. А затем ему предстояла окончательная переработка в высшем законодательном учреждении страны.

Теперь это уже только прошлое. С 13 декабря полтавской администрации угодно было переменить свой образ действий. Результаты тоже налицо: в городе – дикий казачий погром, в деревне – потоки крови. Вера в значение манифеста подорвана, сознательные стремления сбиты, стихийные страсти рвутся наружу, или, что гораздо хуже, временно вгоняются внутрь в виде подавленной злобы и мести.

Зачем я говорю вам все это, г. статский советник Филонов? Я, конечно, хорошо знаю, что все великие начала, провозглашенные (к сожалению, лишь на словах) манифестом 17 октября 1905 года, вам и непонятны, и органически враждебны. Тем не менее это уже

основной закон русского государства, его «незыблемые основы». Понимаете ли вы, в каком чудовищно-преступном виде представили бы все ваши деяния перед судом этих начал?

Но я буду «умерен». Я буду более чем умерен, я буду до излишества уступчив. Поэтому, г. статский советник Филонов, я применю к вам лишь обычные нормы старых русских законов, действовавших до 17 октября.

### **Факты**

*В Сорочинцах и соседней Устивице происходили собрания без формального разрешения. На них говорились речи, принимались резолюции. Между прочим, постановлено закрыть винные монополии. Составлены приговоры, и, не ожидая официального разрешения, монополии закрыли, на дверях повесили замки.*

*18 декабря, на основании усиленной охраны, то есть в порядке внесудебном, арестован один из сорочинских жителей, Безвиконный. Односельцы потребовали, чтобы его предали суду, а до суда отдали им на поруки. Такие*

требования о судебном расследовании, вместо ненавистного административного усмотрения, становятся общими, имели место в разных селах и местечках нашей губернии и сопровождались кое-где успехом. Сорочинцам было отказано. Тогда они, в свою очередь, арестовали урядника и пристава.

19 декабря помощник исправника Барабаш приехал в Сорочинцы во главе сотни казаков. Он виделся с арестованными и, как говорят, уступая их убеждениям, обещал ходатайствовать об освобождении Безвиконного и отошел с отрядом. Но затем, к несчастью, он остановился на окраине, разделил свой отряд, сделал обходное движение и опять подъехал к толпе. Произошло роковое столкновение, подробности которого установит суд. В результате смертельно ранен помощник исправника, смертельно ранено и убито до двадцати сорочинских жителей.

Известно ли вам, г. статский советник Филонов, при каких обстоятельствах погибли эти двадцать человек? Все они убивали ис-



правника? Нападали? Сопротивлялись? Защищали убийц?

Нет. Казаки не удовольствовались рассеянием толпы и освобождением пристава. Они кинулись за убежавшими, догоняли и убивали их. Этого мало: они бросились в местечко и стали охотиться за жителями, случайно попадавшимися на пути.

Так именно около дома г-на Малинки был убит сторож Отрешко, мирно обметавший снег около хозяйского крыльца[149]. Так Евстафий Гарковенко «смыкал» для скота сено из стога в своем дворе, за версту от волостного правления. Казак прицелился с улицы, и раненый Гарковенко упал прежде, чем мог заметить злодея. Так старик-аптекарь Фабиан Перевозский возвращался с сыном из почтового отделения. Около дома Орлова их настиг убийца-казак, который застрелил сына на глазах у отца. Так Сергей Ив. Ковтун убит в шести сажнях от своих ворот. Так женщина, жена крестьянина Маковецкого, убита в самых воротах. Так у девушки Келеповой прострелены пулей обе щеки[150]. Я мог бы вам перечислить, при каких условиях и где имен-

но убиты все погибшие в Сорочинцах. Но я считаю достаточным сказать, что восемь человек убиты у волостного правления и в непосредственной близости, двенадцать же пали на улицах, у своих домов и в глубине дворов[151].

Теперь, г. статский советник Филонов, я позволю себе спросить: одно ли преступление совершено в Сорочинцах 19 декабря или их совершено много? Думаете ли вы, что драгоценна только кровь людей в мундирах, а кровь людей в свитках и сермягах, кровь Отрешко, Гарковенко, Ковтуна, Маковецкой, Келеповой и им подобных можно лить безнаказанно, как воду? Не кажется ли вам, что если необходимо исследовать, кто и при каких обстоятельствах убил несчастного Барабаша, то не менее необходимо, чтобы правосудие занялось и тем, кто, вооруженный, убивал на улицах, на дворах, в огородах безоружных простых людей, не нападавших, не сопротивлявшихся, не бывших на месте рокового происшествия, не знавших о нем и умерших в этом незнании.

О да! Мне нет никакой надобности приме-

нять к этой трагедии великие начала нового основного закона... Для этого достаточно любого закона любой страны, имеющей хоть самые несовершенные понятия о законе писаном или обычном. Отправьтесь, г. статский советник Филонов, в страну полудиких курдов, на родину башибузуков. И там любой судья ответит вам: «У нас, – скажет он без сомнения, – тоже много вооруженного разбоя, опозорившего нашу страну перед целым светом. Но и наши несовершенные законы признают, что кровь людей в простой одежде так же взывает к правосудию, как и кровь убитого чиновника».

Решитесь ли вы открыто и гласно отрицать это, г. статский советник Филонов?

Наверное, нет! И значит, мы оба согласны, что представителю власти и закона, отправлявшемуся в Сорочинцы впервые после трагедии 19 декабря, предстояла суровая, но и почетная и торжественная роль. В это место, уже охваченное смятением, печалью и ужасом, он должен был внести напоминание о законе, суровом, но беспристрастном, справедливом, стоящем выше увлечений и страсти

данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы, но также (заметьте это, г. статский советник Филонов) не допускающем и мысли о кастовой мести со стороны чиновничества всему населению.

Ему предстояло еще показать народу, что законы в России не перестали действовать, но что и гарантии правосудия, торжественно обещанные царским манифестом, – тоже не мертвая буква и не нарушенное обещание. Но об этом мы уже условились не говорить с вами, г. статский советник Филонов. При том же, если бы эта последняя задача имелась в виду, то, конечно, ее возложили бы не на вас.

Между тем, к удивлению многих в Полтаве, именно на вас возложена тяжелая, трудная и почетная роль представителя «законной» власти в местечке Сорочинцы после 19 декабря.

Как вы ее поняли? И как выполнили?

## **Факты**

*21 декабря из Сорочинцев увезли тело несчастного Барабаша, умершего в больнице. Еще не стих печальный перезвон церковных колоколов, как вы, г.*

*статский советник Филонов, въехали в Сорочинцы во главе сотни казаков[152]*

Были ли в то время какие-нибудь признаки возмущения? Было ли вам оказано сопротивление? Построили вам навстречу баррикады? Собрались с оружием? Мешали вашим следственным действиям?

Нет, в местечке Сорочинцы не было уже никаких признаков, которые бы говорили о сопротивлении и противодействии. Жители были подавлены страшным несчастьем 19 декабря, разразившимся над ними неожиданно, стихийно и так ужасно[153]. Они понимали, что теперь неизбежно вмешательство правосудия, и если бы в село прибыл судебный следователь, вооруженный только законом, то и он не встретил бы ни малейшего сопротивления. А если бы с ним и были казаки, то они знали бы, что их роль – только охрана должностного лица и его законных действий, а не наказание еще не обвиненных людей, не буйство, не истязания, не насилия, которые, в свою очередь, караются законом.

Да, это, несомненно, было бы так, тем бо-

лее что от судебной власти жители ждали бы правосудия и для себя, за кровь своих близких...

Но в Сорочинцы был послан не судебный следователь, а вы, г. статский советник Филонов (старший советник губернского правления), и на вас падает вина в том, что вооруженный отряд, отданный в ваше распоряжение, из охранителей силы закона превратился в его нарушителей и насильников.

Вы сразу стали поступать в Сорочинцах, как в завоеванной стране. Вы велели «согнать сход» и объявили, что, если сход не соберется, то вы разгромите все село, «не оставив от него и праха»[154]. Мудрено ли, что после такого приказа и в такой форме казаки принялись выгонять жителей по-своему. Мудрено ли, что теперь в селе, называя имена, говорят о целом ряде вымогательств и даже изнасилований, произведенных отрядом, состоявшим в вашем распоряжении[155].

Для чего же вам понадобился этот сход и какие законные следственные действия производили вы в его присутствии?

Прежде всего вы поставили их всех на ко-

лени, окружив казаками с обнаженными шашками и выставив два орудия. Все покорились, все стали на колени, без шапок и на снегу. Только часа через два вы спохватились, что в этой коленопреклоненной толпе есть два георгиевских кавалера. Вы их отпустили. Потом отпустили новобранцев и малолетних. Остальных, под угрозой смерти, вы держали таким образом в течение четырех с половиной часов, даже не подумав о том, что в этой незаконно истязуемой вами толпе могут быть лица, еще не похоронившие невинно убитых 19 декабря братьев, отцов, дочерей, перед которыми другие должны бы стоять на коленях, вымаливая прощение – в убийстве [156].

.....

*Эта толпа нужна вам была как фон, как доказательство вашего советнического всемогущества и величия и презрения к законам, ограждающим личность и права русских граждан от безрассудного произвола. Дальнейшее «дознание» состояло в том, что вы вызывали отдельных лиц по заранее составленному списку.*

*Для чего? Для допроса? Для установления степени вины и ответственности?*

.....

Нет, едва вызванный раскрывал рот, что бы ответить на вопрос, объясниться, быть может, доказать полную свою непричастность к случившемуся, как вы собственной советницкой рукой с размаха ударяли его по физиономии и передавали казакам, которые, по вашему приказу, продолжали начатое вами преступное истязание: валили в снег, били нагайками по голове и лицу, пока жертва не теряла голоса, сознания и человеческого подобия.

Так именно поступили вы, например, с Семеном Грищенко, у которого, как вам донесли, ночевал один из «ораторов». Укажите мне, г. статский советник Филонов, такой закон, по которому человек, приютивший другого на ночь, отвечал бы за все его слова и действия, самая преступность которых тоже еще не доказана? И, однако, едва Грищенко открыл рот для объяснений, как вы принялись бить его по лицу, а затем передали для



побоев казакам. Избитого раз, его посадили в холодную, вам этого показалось мало: вы опять его вызвали, опять не дали говорить, опять били сами и передали казакам для второго истязания. Так же поступили вы еще с Герасимом Мухой, у которого хранился ключ от закрытой обществом «монополии», только этого вы еще ударили ногою в живот. Так же (два раза) били вы Василия Покрова, потом истязали Авраама Готлиба, Семена Сорокина, Семена Коверко. Я не стану перечислять здесь всех двадцать человек, которых вы били собственными руками, лягали ногами и приказывали бить нагайками[157]. Упомяну еще только студента Романовского.

Студент Романовский лицо «привилегированное», и потому вы не посмели бить его собственноручно. Вы даже не сразу приказали бить его и казакам; вы только отправили его в холодную. Тогда кто-то из казаков сказал: «почему же не под нагайки?»

Вы нашли, что спросивший прав. Все равны перед законом. Вы здесь творили вопиющие беззакония, почему же не уравниять всех перед беззаконием? Студента вызвали из хо-

лодной. Едва он вышел на крыльцо – его толкнули на снег и избили... К счастью, какой-то сердобольный человек посоветовал ему предварительно обернуть голову и лицо башлыком[158].

Но и этого всего вам показалось недостаточно, и потому, оглядев толпу, стоявшую в снегу на коленях перед вашим советническим величием, вы вдохновились на новый акт изысканной жестокости. Вы велели евреям отделиться от православных, поставили их на колени отдельно и приказали казакам бить их всех, без разбора. Вы объяснили это тем, что «евреи умны и что они враги России». Казаки ходили среди коленопреклоненной толпы и хлестали направо и налево мужчин, подростков, седых стариков. «Як вівчар вівці» – по картинному выражению очевидцев[159]. А вы, г. статский советник Филонов, глядели на это избиение и поощряли бить сильнее.

Г. статский советник Филонов! Поверьте мне: я устал, я тяжело устал, излагая только на бумаге все незаконные истязания и зверства, которым вы, под видом якобы законных след-

ственных действий, подвергали без разбора жителей Сорочинец, не стараясь даже уяснить себе, причастны они или не причастны к трагедии 19 декабря. А между тем, вы производили все это над живыми людьми, и мне предстоит еще рассказать, как вы отправились на следующий день для новых подвигов в Устивицу. А за вами, как за триумфатором, избитые, истерзанные, исстрадавшиеся, тащились ваши сорочинские пленники, которым место было только в больнице.

Так ехали вы в Устивицу восстанавливать силу закона.

В дальнейшем я буду краток.

Что было в Устивице до вашего появления? Там не было ни бунта, ни ареста пристава, ни убийства исправника, ни столкновений. Там только жители постановили приговор о закрытии монополии и привели его в исполнение ранее получения официального разрешения. Замок на дверях монополии один только свидетельствовал о том, что жители села решили самовольно прекратить у себя пьянство[160].

Они сделали это с нарушением законных

форм. Да, это правда. Ну а вы, г. статский советник Филонов, вы – чиновник и слуга закона! Сами вы соблюдали «законные формы» при совершении вашего злого дела?

Впрочем, я, вдобавок, ошибся: еще накануне, по вашему приказу, посланному из Сорочинец, жители сняли замок, и, таким образом, к вашему приезду не было уже и этого следа закононарушения. Казенная монополия была открыта, вино продавалось пьяницам свободно и невозбранно. Это не воздержало вас, однако, от новых буйств и истязаний, которых я не стану описывать подробно, представляя более точное изложение суду, если таковой когда-нибудь состоится.

Здесь я скажу только, что, мстя на этот раз лишь за права казенной винной продажи, вы, прежде всего, избili старосту, с которого сорвали знак и бросили в снег. Затем вы поколотили писаря, которого били не только руками, но изломали на нем счеты, после чего писарь не мог уже составлять протоколы и писать приговоры. Тут же избит вами Дионисий Ив. Бокало, пришедший в правление за справками, которого вы колотили по голове

«исходящей книгой»[161]. Жителей Устивиц вы так же поставили в снег на колени, так же казаки били их нагайками и так же суду, если таковой состоится, предстоит решить, правильны ли ужасающие рассказы жителей об изнасилованиях, которым подвергали устивицких женщин казаки, находившиеся в вашем распоряжении...[162] Вы поймете, конечно, что имена жертв в этих случаях не так легко поддаются оглашению.

Толпу вы держали и здесь на коленях два часа, вымогая у нее, как и в Сорочинцах, имена «зачинщиков» и требуя приговора о ссылке неприятных администрации лиц. Вы забыли при этом, статский советник Филонов, что пытка отменена еще Александром I, что истязания тяжело караются законом, что телесное наказание, даже по суду, отменено для всех манифестом от 11 августа 1904 года, а приговоры, добытые подобными, явно преступными приемами, не имеют ни малейшей законной силы.

Я кончил. Теперь, г. статский советник Филонов, я буду ждать.

.....

*Я буду ждать, что если есть еще в нашей стране хоть тень правосудия, если у вас, у ваших сослуживцев и у вашего начальства есть сознание профессиональной чести и долга, если есть у нас обвинительные камеры, суды и судьи, помнящие, что такое закон или судейская совесть, то кто-нибудь из нас должен сесть на скамью подсудимых и понести судебную кару: вы или я.*

.....

Вы – так как вам гласно кинута обвинение в деяниях, противных служебному долгу, достоинству и чести, в том, что вы, под видом следственных действий, внесли в Сорочинцы и Устивицу не идею правосудия и законной власти, а только свирепую и незаконную месть чиновничества за чиновника и за слушание чиновникам. Месть даже невиновным, – для их установления нужно было расследование. Нет, вы принесли слепую и дикую грозу истязания и насилия над людьми без разбора, в том числе и заведомо невинными.

А если вы можете отрицать это, то я охот-

но займу ваше место на скамье подсудимых и буду доказывать, что вы совершили больше, чем я здесь мог изобразить моим слабым пером. Я докажу, что, называя вас истязателем, насильником и беззаконником, я говорю лишь то, что непосредственно вытекает из совершенных вами деяний. Потому что вы, несомненно, производили истязания, насилия и беззакония. Вы попирали все законы, старые и новые, вы подрывали в народе не только уже веру в искренность и значение манифеста, но и самую идею о законе и власти. А это значит, что вы и подобные вам толкаете народ на путь отчаяния, насилия и смерти.

Я знаю: вы можете сослаться на то, что вы не один, что деяния, подобные вашим, может быть, превосходившие ваши, остаются у нас безнаказанными. Это, г. статский советник Филонов, – пока печальная истина.

И это не оправдание для вас. К вам же я обращаюсь потому, что живу в Полтаве, что она полна живыми образами ваших насилий, что до меня доносятся стоны и жалобы ваших жертв.

А если и вы, как другие, вам подобные, останетесь безнаказанным, если, избегнув всякого суда по снисходительности начальства и бессилию закона, вы вместе с кокардой предпочтете беспечно носить клеймо этих тяжелых публичных обвинений, то и тогда я верю, что это мое обращение не пройдет бесследно.

Пусть страна видит, к какому порядку, к какой силе законов, к какой ответственности должностных лиц, к какому ограждению прав русских граждан зовут ее два месяца спустя после манифеста 17 октября.

За всем сказанным вы поймете, почему, даже условно, в конце этого письма я не могу, г. статский советник Филонов, засвидетельствовать вам своего уважения.

Вл. Короленко  
9 января 1906 г.

## **Глава IV**

### **Чего я добивался своим открытым письмом**

.....

*Прежде всего и всего важнее: правильно или неправильно я изложил факты?*



*Я нарочно воспроизвел выше текст своего письма, снабдив его подстрочными примечаниями из «дела», которое по справедливости можно было бы назвать «делом о сообщении заведомо правильных сведений». Всякий, кто дал себе труд сличить текст с примечаниями, может видеть, в какой степени свидетельские показания колеблют или подтверждают фактическую часть моего письма, и много ли выигрывает память Филонова от этих дополнений.*

.....

**У**же одних показаний казачьих офицеров и урядников достаточно, чтобы установить, что тысячная толпа, без разбора виновных и невинных, в том числе старики и подростки, была поставлена на колени в снег, в декабре месяце. На три часа (!), как говорят свидетели-казаки, на четыре или пять часов, как утверждают полицейский урядник, сельские власти, священники, частные лица. В этой толпе огулом били людей, стоящих на коленях, но не всех, а только евреев, поставленных отдельно и позволивших себе роптать на это истязание. Арестованных ранее избивали

до неузнаваемости. Филонов, по показанию казаков, расправлялся собственноручно, вытаскивал из толпы, наделял тумаками, по словам священника, ударами ноги он поднимал тех, кто сам не мог подняться (так как на снегу коченели ноги!). По показанию старосты, священника, других свидетелей, тотчас по приезде в Устивицу он достал откуда-то «простую палку» и кинулся бить ею людей, стоявших у входа в правление. Он кричал, чтобы ему подали «эту бабу», с которой он намерен расправиться. Речь шла об учительнице, которая, счастливо избегнув зверской расправы иступленного чиновника, ни к какому даже дознанию не привлекалась.

Таковы, между прочим, «маленькие дополнения», которые внесло следствие, тянувшееся около года. Неточности, которые теперь мне приходится признать, состоят в том, что у меня сказано, будто Маковецкая убита, а у Келеповой прострелены щеки, тогда как в действительности убита Келепова, а ранена Маковецкая. Есть указания на то, что Гарковенко ранен не во дворе, а на площади. Били не всех, стоявших на коленях, а только евре-

ев, но зато «били поголовно» (показание Кияшко). «Если кто падал, то били и лежащего», – как простодушно свидетельствует один из исполнителей, бомбардир Кожевников [163].

И подумать, что все это делалось после того, как «зачинщики» были арестованы уже накануне, без малейшего с чьей бы то ни было стороны сопротивления. Все это было известно в первые же дни высшей администрации края из доклада земского начальника (г-на Данилевского), от священников, нарочно приезжавших для этого к губернатору, из газет. А суду – от почетного мирового судьи Лукьяновича, а затем из дознания, произведенного товарищем прокурора на месте.

И несмотря на все это, ст. советнику Филоннову было дозволено продолжать свои походы, последствием чего явилось новое кровавое избиение уже совершенно неповинных жителей Кривой Руды!

*«Обращаясь к тем частям письма Короленко, – говорится в утвержденном окружным судом заключении прокурора, – где изложена чисто фактическая*

сторона событий с момента столкновения толпы с казаками (а только это, замечу от себя, и лежало в компетенции суда), нельзя не признать ее в общем соответствующей действительности. Несомненно, есть и в этой части „ошибки и неточности“, по выражению свидетелей, но это всегда возможно при полной правдивости автора, когда приходится излагать события, передаваемые со слов других, да еще потерпевших людей. Как выяснилось на предварительном следствии, некоторые лица были убиты в м. Сорочинцах далеко от волости[164], а сторож г. Малинки, Отрешко, ни в чем не повинный, был убит действительно во дворе. Что касается „корреспонденции из Устивицы“, все изложенные в ней факты нашли себе полное подтверждение на предварительном следствии. Не подтвердилось лишь сообщение о грабежах и насилиях казаков над жителями, хотя по этому поводу в м. Устивицы, как и в мест. Сорочинцах, ходили упорные слухи»[165].

Итак, даже по признанию суда, факты изложены правильно. Отсюда ясна первая цель,

которую я преследовал, печатая свое письмо:

Она состояла в оглашении правды.

Далее. Автор «заключения», утвержденного судом, как и авторы некоторых газетных статей, находят, что писатель Короленко недостаточно ярко оттенил события, предшествовавшие столкновению 19 декабря, и что даже стиль писателя Короленко, в первой части его письма тусклый и бледный, резко отличается от слишком яркого стиля, которым он изображает действия Филонова. Правда, и г. прокурор, и члены окружного суда, утверждавшие его заключение, высказывают справедливое соображение, что, во-первых, «освещение событий ненаказуемо» (иначе сказать, не подлежит и судебной квалификации) и, во-вторых, что оно «может быть результатом просто точки зрения автора».

Это последнее соображение совершенно верно. У меня есть на все эти события своя точка зрения, отчасти, пожалуй, совпадающая с заявлениями, приложенными к манифесту 17 октября. С этой точки зрения «корни волнений, охвативших русский народ», лежат очень глубоко, и, чтобы говорить о них с

достаточной полнотой, пришлось бы, пожалуй, подняться к событиям гораздо более ранним, чем 17–18 декабря 1905 года. Но и помимо всяких «точек зрения», суду не угодно было обратить внимание, что «разница стилей» и настроений писателя в данном случае отражала только вопиющую разницу положений.

Сорочинские жители за то, что произошло 19 декабря, понесли уже тяжкую кару, для очень многих далеко не соразмерную с виной: двадцать человек из них было убито, причем некоторые, по признанию самого суда, убиты далеко от волости и совершенно безвинно. Другие изранены и подверглись истязаниям, потому что стоять на коленях в снегу, для иных еще под ударами нагаек, хотя бы и три часа, – есть жестокое истязание. Наконец третьи и теперь, когда я пишу эти строки, ждут еще судебного воздаяния.

А ст. советник Филонов в то время, когда я, взволнованный рассказами об его действиях, писал открытое письмо, оставался на своем посту и отправился в новые экспедиции, на новые жестокости и насилия.

Полагаю, что критики, более компетент-

ные в вопросах стиля и настроения, увидят в моем письме естественное негодование против безнаказанности официального лица, допустившего массовые истязания, тогда как жители Сорочинец понесли наказание свыше всякой законной меры и готовы нести прибавочную кару уже по закону.

.....

*Отсюда другая цель, которую я ясно выразил в конце своего письма:*

*Я добивался суда и для другой стороны.*

*Была и третья. Она диктовалась надеждой, что громко сказанная правда способна еще остановить разливающую все шире эпидемию жестокости.*

.....

Наконец, в то время, когда я писал свое письмо, в моем воображении неотступно стояло представление об этой серой толпе, так резко пережившей такие противоположные настроения. Еще недавно она была охвачена эпидемическим волнением, загипнотизированная сильной волей одного, почти неведомого ей человека. Через два дня те же люди стояли на коленях перед другим человеком,

окружившим их войском и пушками, загнипнотизировавшим их ужасом незаконных насилиий.

Я хотел рассеять этот гипноз, вызвать новое настроение, достойное будущих граждан обновляющейся страны. Голос печати, независимый и смелый, должен был поднять этих людей с колен и напомнить, что и у них есть право, скрепленное обещаниями равенства перед законом, которого они должны добиваться сознательно и открыто.

Сдавленные чувства людей, покорно стоящих на коленях в снегу, под ударами нагаек и жерлами пушек, – плохая почва для «общественного спокойствия», не говоря уже о «новых началах» и их гарантиях. Гораздо надежнее со всех точек зрения напоминание «о законе, суровом, но беспристрастном и справедливом, стоящем выше увлечений и страстей данной минуты, строго осуждающем самосуд толпы»[166], но также устанавливающим равновесие между виной и наказанием и не допускающим мысли о безграничном произволе... одним словом, о законе, каким он должен быть, к которому необходимо стремиться-



ся.

И если бы дружным усилиям независимой печати, лиц из общества, подобных мировому судье Лукьяновичу, священникам, приезжавшим к губернатору, и, наконец, самим потерпевшим удалось вывести самонадеянного чиновника из-за окопов «служебной гарантии», если бы состоялся суд и приговор, который сказал бы свое внушительное «Quos ego!» не одному Филонову, но и его многочисленным подражателям, то это было бы законным выходом из трагического положения, первой еще фактической победой новых начал на местах, одним словом, это создавало бы в деле «карательных экспедиций» то, что называют «прецедентом».

Вот для чего я решился заменить безличные корреспонденции своим «открытым письмом», начинавшим планомерную кампанию. Как бы ни были слабы шансы успеха, возможный все-таки результат был тем дороже, что он был бы достигнут на почве борьбы вполне закономерной, к которой призывалось также и само население.

И если бы это действительно удалось, если

бы мы имели возможность огласить первые решительные и твердые шаги в этом направлении администрации и суда – с той самой поры та же независимая печать стремилась бы только укрепить доверие к суду и вызывать ему всякое содействие. И тогда стиль писателя Короленко своим спокойствием и равномерностью удовлетворил бы, я уверен, самых взыскательных критиков из среды господ полтавских судей.

## **Глава V**

### **Слабые проблески**

**Б**ыла ли какая-нибудь надежда на то, что эта прямая и ясная цель моего письма будет достигнута?

Я знаю, какие улыбки вызовет мой ответ после всего, что произошло, и после того, как сам я целый год состоял под следствием и в подозрении за сообщение заведомо правильных сведений. И тем не менее я все-таки отвечу, что эта надежда не была лишена некоторых оснований.

Мое письмо было воспроизведено частью целиком, частью в значительных выдержках на страницах многих столичных и провинци-

альных газет. Затем переводы и выдержки появились в заграничной прессе. Я получал из-за границы письма с просьбой о сообщении дальнейших судеб этого дела. Население, в свою очередь, шло навстречу усилиям печати, и мне предлагали сотни свидетельских показаний на случай суда. Две женщины, потерпевшие тяжкие оскорбления, соглашались даже рассказать о своем несчастье, если действительно состоится суд над Филоновым или надо мною.

Тяжба между независимой печатью и произволом была поставлена широко и всенародно. На глазах у всей страны были указаны факты вопиющего беззакония в то самое время, когда она призывалась к законности, и характер репрессии явно не соответствовал обстоятельствам: уже в Сорочинцах толпа стояла на коленях; в Устивице картина еще менее осложнялась незначительными волнениями и закрытием винной лавки. Криворудский погром не осложнялся уже ничем, и вопиющие стороны «карательных приемов» Филонова выступали, неприкрытые и незащищенные, перед самым элементарным правосуди-

ем.

К тому же я оставался на месте, готовый поддерживать свое обвинение или отвечать за него. Таким образом, типичная картина усмирений была поставлена точно под стекляннным колпаком, на виду у русской и заграничной печати. Оставалось довести ее до конца, освещая весь ход этого дела и каждый шаг правосудия.

Есть некоторые, косвенные, правда, указания на то, что положение полтавской администрации в эти дни было очень затруднительно и что в ее среде существовали колебания, пошатнувшие служебную неприкосновенность ст. сов. Филонова. Это я заключаю, между прочим, из той позиции, которую после моего открытого письма занял официозный орган местного чиновничества «Полтавский вестник» (редактор его, г. Иваненко, чиновник, совмещавший с редактированием «Вестника» также и должность редактора «Губернских ведомостей»).

И вот в одной из статей, появившейся спустя три дня после моего письма, эта газета не решается прямо опровергать, а только подо-

зревает правильность фактов (которые, конечно, официозу были отлично известны). Далее газета указывает на «наше время», когда «разные агитаторы заставляют толпу ходить с красными флагами, петь бессмысленные песни, зверски мучить животных (sic!), пускают по миру ни в чем не повинных людей», причем «заревое пожаров освещает путь озверелой толпы». Еще далее идут не особенно тонкие намеки на то, что именно писатель Короленко своей литературной деятельностью поощряет и вызывает все эти ужасы, и, наконец, высказывается предположение, что «открытое письмо» вызвано не чем иным, как мучениями совести, которая по всем этим причинам терзает писателя Короленко.

Статья кончается следующими строками, характерными на столбцах заведомого официоза:

.....

*«Г. Короленко не прочь сесть на скамью подсудимых, если на нее не сядет Филонов. Лучше всего, если сядут оба рядом – писатель Короленко и статский советник Филонов – и свободно выскажутся один против другого, –*

*может быть, тогда яснее станет, насколько каждый из них праведник и насколько грешник. И окажутся писатель и статский советник одной цены»[167].*

.....

То, что сказано о «писателе Короленко», разумеется, никого удивить не может. Но когда небольшой местный чиновник решается в субсидируемой газетке поставить «старшего советника губернского правления» наряду с таким жалким субъектом, как писатель Короленко, когда он позволяет себе даже высказывать ужасное предположение, что старший советник губернского правления одной цены с автором «открытого письма» и достоин занять место на скамье подсудимых, то есть значительные основания думать, что положение старшего советника Филонова очень пошатнулось и что, значит, достижение той цели, которой я добивался своим письмом, становилось уже вероятным. Я думаю и теперь, что статский советник Филонов в те дни, когда г. Иваненко позволял себе третировать его так свысока, был, по крайней мере, на распутье между безнаказанностью и скамьей

подсудимых, пожалуй, даже ближе к последней.

К сожалению, это теперь остается в области предположений, которые многими (не без видимых оснований) считаются слишком наивными в наших русских условиях. Объективные факты, видимые всем на поверхности жизни, говорили другое. Для предания Филонова суду нужно было предварительное согласие высшей администрации. Но если бы начальство не одобряло его действий, то он не был бы послан во вторую экспедицию после того, как сорочинская была разоблачена и гласно, и официально.

Это во-первых.

Во-вторых, в это время в нашем крае находился генерал-адъютант Пантелеев, посланный для «водворения порядка» в губерниях Юго-Западного края. 12 января появилось мое письмо, а уже 14-го, по телеграмме этого генерал-адъютанта, газета, которая разоблачила ныне доказанные факты из деятельности чиновника, была приостановлена. Все видели в этом «административном воздействии» обычный и единственный ответ администрации

на оглашения печати и на ее призывы к правосудию.

.....

*Суд хранил таинственное молчание. Передавали, так сказать, под рукой, что прокурорский надзор производил какое-то негласное дознание, но не только его результаты, а и самый факт дознания сохранялся в строжайшем секрете, точно это не была обязательная и закономерная функция судебной власти, сопряженная с открытым опросом потерпевших и свидетелей, а какое-то тончайшее дипломатическое предприятие, которое приходится скрывать самым тщательным образом, точно разведки в неприятельском лагере[168].*

.....

Таким образом, на поверхности полтавской жизни оставалась старая картина: вопиющий произвол чиновника. Одностороннее вмешательство суда, направленное только на обывателей, уже потерпевших свыше меры. Административное закрытие газеты... Бессилие призывов к правосудию и нестерпимое зрелище безнаказанности вопиющих наси-



лий.

При этих условиях стремление независимой печати, взывавшей к правосудию и надевавшейся на него, могло, разумеется, казаться совершенной наивностью. И в глубине смятенной жизни, полной темноты и бесправия, уже назревало новое вмешательство, которому суждено было сразу устранить и гласную тяжбу, начатую независимой печатью, и таинственные движения робкого правосудия, если они действительно были.

## Глава VI

### Убийство Филонова и его обстановка

Ранним утром 17 января Филонов вернулся в Полтаву с трудной задачей – оправдать свои действия, слава которых теперь вышла далеко за пределы канцелярий и даже местной печати. По свидетельству ст. советника Ахшарумова (нынешнего заместителя Филонова), когда Филонов явился к губернатору, то последний потребовал, чтобы он ответил печатно на письмо Короленко[169].

Свидание это было, вероятно, с бытовой точки зрения очень интересно. Для начальства Филонов уже раньше «объяснил» свои

действия. Несмотря на официальные сообщения земского начальника, священников, почетного мирового судьи, объяснение это признано вполне удовлетворительным, и Филонов командирован вторично. От него требовали теперь объяснения печатного.

Положение затруднялось еще тем, что между Сорочинцами и этим свиданием легло «новое обстоятельство», в виде разгрома уже явно неповинной Кривой Руды.

В «Полтавском вестнике» было напечатано впоследствии, что Филонов заходил в этот день также в редакцию этой газеты. Старший советник губернского правления явился к редактору, маленькому и зависимому чиновнику, еще недавно позволившему себе в субсидируемой газетке дерзко сравнить его с писателем Короленко и высказать пожелание, чтобы они сели рядом на скамью подсудимых... Старший советник Ахшарумов свидетельствует, что Филонов «не обладал литературным талантом»; очень вероятно поэтому, что он нуждался теперь в просвещенных советах дерзкого редактора... Здесь он сказал, что вечер этого дня и следующее утро наме-

рен посвятить на составление (требуемого губернатором) ответа...

18 января в обычное время (десять часов утра) он отправился в губернское правление, и здесь, на людной улице, неизвестный молодой человек убил его выстрелом из револьвера и скрылся.

Сложное и запутанное положение, создавшееся из привычных насилий, из их поощрения, из широкой гласности, из начинавшихся колебаний в среде администрации, из слабых признаков пробуждения правосудия, из «наивных» призывов независимой печати, разрешилось трагически просто. «Наивная» тяжба снималась с арены. Перед нами вместо противника, который должен был защищаться и которому мы приготовились отвечать новыми, еще более вопиющими фактами, лежал труп внезапно убитого человека. Администрации представился удобный случай сделать из него в своих официозах мученика долга, а из писателя Короленко – «морального подстрекателя к убийству».

Что насилия, подобные насилиям в Сорочинцах и Кривой Руде, вызывают чувства

острого негодования, а оглашение их в печати распространяет эти чувства, это верно, как и то, что особенную остроту и силу этим чувствам придает обычная безнаказанность.

Однако была ли в данном случае прямая связь между моим письмом и убийством 18 января на Александровской улице города Полтавы?

В «Полтавском вестнике», получающем сведения о происшествиях из непосредственных полицейских источников, самое убийство описано следующим образом:

.....

*«Покойный только накануне (т. е. 17 января) возвратился из служебной командировки, чувствовал себя усталым, почти больным, и предполагал несколько дней не выходить из дому. Но вчера утром, в обычное время, отправился на службу. Шел обычной дорогой по Александровской улице. Как говорят очевидцы, за ним в нескольких шагах шла какая-то женщина, по виду торговка, а за ней молодой человек. Поровнявшись с открытыми воротами во двор Варшавских[170], молодой человек забежал вперед и выстрелил в*

*лицо Филонову... Затем он побежал во двор дома Варшавских и скрылся»[171].*

.....

А на другой день газета прибавила следующие, довольно существенные соображения:

.....

*«Преступник, видимо, изучил ранее дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу, – поджидал его вблизи ворот дома В-ских, где помещается чиновничье собрание, и, прогуливаясь там, рассматривал магазинные витрины»[172].*

.....

В книге «К убийству Ф. В. Филонова», изданной родными покойного, воспроизведены газетные известия и статьи, вызванные этой трагедией, – со слишком тенденциозным подбором. Интересно, что, воспроизведя первую заметку, издатели совершенно обошли молчанием вторую. И это понятно. Неизвестный убийца, «видимо, ранее изучил дорогу, по которой Филонов имел обыкновение ходить на службу», и выбрал место у проходного двора. Но Филонова не было в Полтаве в то время, когда появилось мое письмо, и вплоть до 17

января он был в командировке, а на службу явился в самое утро убийства. Итак, изучить обычную дорогу, взвесить все ее удобства и неудобства можно было только во время, предшествовавшее появлению открытого письма, в те дни, когда Филонов вернулся из командировки в Сорочинцы и еще не уехал в Кривую Руду.

А это значит, конечно, что убийство было взвешено и обдумано ранее, чем появилось мое письмо, и не могло явиться его последствием.

Эти соображения, справедливость и огромная вероятность которых была в глаза, издатель упомянутой книги и редакция «Полтавского вестника» сочли более удобным скрыть от читателя, предпринимая против писателя Короленко продолжительный клеветнический поход, поддержанный всеми официозами провинциальной и столичной России. Открыт он в «Полтавском вестнике» непосредственно после появления письма, но сначала неуверенно. «Писатель Короленко» признавался только равным ст. сов. Филонову, которому все же отводилось место на скамье под-

судимых.

«За что убит Филонов, – спрашивает „Полтавский вестник“ еще 19 января, – неужели за те „преступления“, которые указывались г. Короленко? Но ведь Короленко звал Филонова на суд».

Скоро, однако, все эти оговорки исчезают, Филонов бесповоротно превращается в «верного царского слугу» и «доблестного исполнителя долга», а писатель Короленко выставляется сознательным подстрекателем и моральным убийцей.

Все это закрепляется появлением «посмертного письма ст. сов. Филонова».

## Глава VII

### «Посмертное письмо ст. сов. Филонова писателю Короленко»

Письмо это появилось при торжественной обстановке, в самый день похорон Филонова, под звон колоколов, когда его тело переносили из собора на кладбище, в сопровождении войск, официального персонала, сослуживцев, знакомых и толпы народа.

В это самое время, то есть в разгар разно-стороннего возбуждения, вызванного быстро

сменявшимися событиями, ходил по рукам номер «Полтавского вестника», в котором покойный чиновник обращался к писателю с рядом ответных обвинений-упреков. Очевидно, и редакция «Полтавского вестника», и ее непосредственные вдохновители, обвинявшие писателя Короленко в том, что его письмо имело значение подстрекательства, не особенно считались с обстановкой, при которой сами они выпускали «посмертный ответ».

Что же представляло собой это ответное письмо из могилы? Была ли это правда, которую можно печатать при всяких обстоятельствах?

Через несколько дней после его появления в «Полтавском вестнике» в редакцию газеты [173] «Полтавщина» явился один из родственников Филонова и выразил желание, даже требование, чтобы газета во имя справедливости перепечатала ответ Филонова на тех же столбцах, с которых раздались обвинения. Редактор Д. О. Ярошевич ответил на это готовностью поместить «письмо», выразив только желание видеть оригинал, подписанный са-



мим Филоновым, так как в городе упорно говорили, что письмо подложное и что составлено оно не умершим Филоновым, а его живыми единомышленниками и защитниками. Г-н Ярошевич затем повторил этот вызов печатно.

Родственник г. Филонова обещал «искать оригинал» и удалился.

Оригинал доставлен не был.

Затем, когда возникло наше «дело» и я был вызван к судебному следователю, то я просил, между прочим, о приобщении этого оригинала, как единственного показания по настоящему делу самого участника. Я считал необходимым установить его подлинность.

По требованию судебного следователя редакция «Вестника» прислала рукопись, служившую для набора, и препроводительное письмо, подписанное г-жой Филоновой. Я просил подвергнуть эти документы официальному осмотру. Оказалось:

.....

*Во-первых, что письмо писано не рукой Филонова.*

*Во-вторых, что подпись в конце пись-*

*ма сделана не Филоновым.*

*В-третьих, что все имеющиеся на рукописи поправки тоже сделаны не филоновским почерком.*

.....

И, наконец, в-четвертых, сослуживец и заместитель Филонова, нынешний старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов, признал, что форма изложения тоже не филоновская, «так как покойный не отличался литературными дарованиями»[174].

Обстоятельства, при которых могло (или не могло) быть написано это письмо, тоже очень выразительны. В «Полтавском вестнике» по этому поводу есть две заметки. В первой сообщается, что Филонов был в командировке и не мог ответить на обвинения Короленко. Вернулся он 17-го и в разговоре со знакомыми сообщил, что вечером в тот же день займется составлением ответа. На другой день он был убит[175].

В другой (редакционной) статье говорится: «Накануне покойный, только возвратившись из поездки, на минуту забежал к пишущему эти строки и говорил, что вечер этого дня и

следующий он посвятит исключительно на ответ и защиту себя против обвинений, какие в его отсутствие были брошены ему в известном письме Короленко. Но ему самому себя защитить не судилось – вчера он убит»[176].

Итак, «Полтавский вестник» сам дает два свидетельских показания, из которых следует, что Филонов лишь собирался писать свой ответ, но написать его не успел.

В дополнение мы имеем еще показание вдовы покойного, которая утверждает, наоборот, что черновик письма был написан ее мужем еще в уезде и привезен готовым; затем письмо переписано начисто 17 января, т. е. уже в самый день приезда Филонова, и доставлено ее мужу одним из чиновников губернского правления. Однако самый ответ Филонова начинается словами: «Я только что вернулся из командировки и прочел Ваше письмо»...

Старший советник губернского правления Л. И. Ахшарумов, опрошенный следователем, заявил категорически, что «в числе чиновников губернского правления нет лиц, пишущих таким почерком», каким переписана ру-

копись... Сам он якобы в первый раз увидел «посмертный ответ» у следователя. При этом оказалось, однако, что препроводительное письмо в редакцию «Полтавского вестника» написано рукою самого г-на Ахшарумова. Обстоятельство это он объяснил тем, что «во время похорон Филонова» брат его вдовы подошел к нему и спросил совета, от чьего имени послать в редакцию «ответное письмо». Г-н Ахшарумов дал совет и согласился написать черновик письма в редакцию.

Давая это объяснение, г. Ахшарумов забыл только, что в день похорон «посмертное письмо» уже было напечатано... Значит, о письме г-н Ахшарумов, несомненно, знал раньше, и показание его явно расходится с истиной.

Наконец, что касается отсутствия самого оригинала, то г-жа Филонова дала по этому поводу следующее удивительное объяснение, которое прибавляет последний и самый замечательный штрих к этой любопытной истории: «18 января, – говорит она в своем письменном показании следователю, – муж мой отправился в губернское правление, имея в левом кармане сюртука записную книжку, в

которой были заметки по поводу сорочинских событий, а также вышеупомянутые клочки бумаги и черновик письма. В тот день он был убит, причем убийца захватил ту книжку, а также черновик письма».

Я далек от того, чтобы строго осуждать бедную женщину за все, что «доброжелатели» научили ее делать в эти дни ее растерянности и горя. Я понимаю также, что чувства ее «к писателю Короленко» были не таковы, чтобы удержать от неправдивых показаний или хотя бы от явного злоупотребления именем ее покойного мужа. Читатель согласится, однако, что появление «письма» при всех описанных выше обстоятельствах более чем странно, а подлинность его так же вероятна, как и то, что убийца, только что застреливший человека среди белого дня, на людной улице, заботится о каких-то черновиках никому неведомого «ответа», который вдобавок по показаниям «Полтавского вестника», покойный еще только собирался писать [177].

Итак, документ, которым полтавский офицер открывал кампанию против меня, я имею все основания объявить явным и заве-

домым подлогом... Все, что нам известно точно об его происхождении, сводится к тому, что в нем, не исключая и подписи, нет ни одного слова, написанного покойным, и что он прислан в редакцию вдовой при препроводительном письме, которое писано старшим советником губ. правления г-м Ахшарумовым.

Таким образом, в лице последнего к сему похвальному делу приложила руку «полтавская бюрократия».

Последний в своем показании говорит, что полтавский губернатор кн. Урусов, при свидании с Филоновым в день его приезда, потребовал, чтобы он ответил на письмо Короленко.

«Сам он этого сделать не успел» (слова «Полтавского вестника»). За него это сделали другие, не остановившиеся перед очевидным подлогом.

Это освобождает меня от обязанности воспроизводить здесь целиком этот обширный продукт коллективного творчества подделывателей. Тем не менее он представляет некоторый интерес уже не как ответ участника сорочинской драмы, а как ответ его среды, счи-

тающей массовые истязания доблестным исполнением долга.

Что же представляет этот ответ по существу?

Прежде всего в нем было бы совершенно напрасно искать опровержение приведенных мною ужасающих фактов. Авторы «посмертного письма» ограничиваются заявлением, что «девять десятых приписываемых Филонову подвигов ложно». И ложно, между прочим, что в Сорочинцах ко времени филоновской экспедиции уже не было бунта.

.....

*«Писатель Короленко! – говорит мнимый Филонов. – Когда я приехал в Сорочинцы, тело „несчастливого“ Барабаша валялось в грязном сарае. Неоднократные мольбы родственников о выдаче тела успеха не имели, ни один из „мирных“ обывателей Сорочинцев не хотел делать гроба, а священники, боясь „справедливого народного гнева“, отказывались служить панихиду. И только благодаря моему воздействию, подкрепленному казаками, удалось добиться, чтобы несчастной жертве служебного долга был оказан послед-*

*ний христианский долг. Из этого, между прочим, видно, насколько правдиво ваше указание, что „в то время в Сорочинцах не было уже никаких признаков бунта“».*

.....

Все это очевидная, детски беспомощная неправда. Из дела известно, что Филонов с отрядом прибыл в Сорочинцы 21 декабря и в ту же ночь были арестованы зачинщики. И не только арестованы, но и избиты так, что вполне благонамеренный старшина Копитько не мог узнать их, когда они были приведены в правление.

Никто при этом никакого сопротивления не оказал. А когда толпу согнали на площадь и приказали стать на колени, она покорно стояла четыре часа.

И это признаки бунта?

Жители не хотели делать гроба. Но ведь всем жителям и не приказывали это делать. Значит, и этот изумительный признак бунта мог относиться разве только к плотникам. В деле нет никаких указаний на то, кто и к кому обращался с заказом. Гроб все-таки сделан, и 22 декабря утром тело проводили из села по



Миргородской дороге.

«Тело валялось в грязном сарае», во власти толпы, которая отказала (якобы) выдать его, «несмотря на неоднократные мольбы родственников». Эта картина, заимствованная из донесения самого Филонова, которым, очевидно, пользовались составители письма, повторялась всеми официозами. По странному недоразумению, она частью приводится также и в «заключении» прокурора.

Между тем все это до очевидности лживо: сотник Щетихин со своими казаками отвезли раненого Барабаша и сдали его в больницу [178]. Никакая толпа после этого им не овладевала, и если бы тело умершего валялось в грязном сарае, то это было бы только нерадением больничного персонала.

Но и этого не было. Через несколько дней после появления подложного письма в «Полтавском вестнике» сорочинский врач, заведующий больницей, прислал опровержение, напечатанное 31 января в той же газете [179]. В опровержении этом говорится, что тело Барабаша не валялось ни в каком сарае, а было поставлено в коморе (горнице), которая служит

мертвецкой и куда тело было вынесено вместе с кроватью и постелью.

Что касается родственников, «умолявших толпу», то совершенно очевидно, что к толпе им обращаться не было ни малейшей надобности, так как тело не находилось в ее власти. В деле опять нет ни малейших указаний, к кому именно и кто именно обращался с мольбами. Есть показания совершенно обратные. Так, пристав Якубович говорит, что «по приезде в Миргород он сообщил о происшедшем несчастии жене покойного, которая так была убита горем, что не знала, что делать, и поручила ему распорядиться относительно доставления тела в Миргород». Это и было исполнено 22 декабря.

Наконец, «священники боялись служить панихиды». Если бы это было так, то опять возникает вопрос, основательна ли была эта боязнь и виновно ли в том тогдашнее настроение жителей или излишняя опасливость сорочинских пастырей.

В деле опять есть одно прямое показание, которое этому противоречит. Тот же пристав Якубович рассказывает, что в день его ареста

один из сорочинских священников, о. Владимир Греченко, смело вошел в середину возбужденной толпы с крестом в руке, «убеждая ее не приводить в исполнение преступного намерения и предупреждая об ответственности». (Тот же священник дал впоследствии правдивые показания о действиях Филонова.) Можно ли поверить, что этот человек, не боявшийся уговаривать толпу в дни наибольшего ее возбуждения, отказал бы в панихиде над телом, лежавшим в больнице, если бы его о том попросили? Нужно ли прибавлять, что в деле нет опять-таки указаний, кто просил об этом и кто отказывал.

Урядник Копитько говорит определенно, что «на следующий день (20 декабря) все было спокойно». И если все эти признаки, за которые хватаются авторы подложного письма, говорят о чем-нибудь, то разве о том, как легкомысленно известная среда устанавливает порой «признаки бунта» и как тяжело приходится расплачиваться за это преступное легкомыслие.

Чтобы дать понятие об общем характере «посмертного ответа», я приведу еще его на-

Чало:

.....

*«Г. писатель Короленко! Я только что вернулся из командировки и прочел ваше открытое письмо. Сначала я не хотел отвечать на него. К чему? Мы слишком разное смотрим на вещи. Вы ненавидите всякую законную власть, презираете правительство, я – агент этой правительственной власти. Можете ли вы поэтому честно и беспристрастно отнестись к этой власти? Конечно нет. Я недавно прочел (где?) заявление „убежденного журналиста“ (кого именно?) из ваших единомышленников (?). Он говорит: „Уважающий себя писатель не имеет права теперь говорить Правду“. По крайней мере откровенно. Но в таком случае какую цену может иметь ваше письмо?..»*

.....

Таково начало посмертного ответа. Оно дает полное представление о тоне, каким написано все «письмо», и о его полемических приемах. На обвинения, поставленные точно, ясно, с указанием имен и фактов, с призывом к суду, неведомые защитники отвечают, будто

Филонов недавно прочел, неизвестно где, заявление неведомого журналиста, по неведомым причинам признаваемого за единомышленника Короленко. Этот журналист будто бы не рекомендует вообще говорить правду. Значит, и Короленко говорит неправду в своем письме.

Таково это возражение чиновника писателю, вернее, таков ответ его среды на вызов независимой печати.

Фактическая часть этого ответа – явная неправда!

Публицистическая – наивнейшая инсинуация.

Нравственная – грязный подлог от имени мертвого.

## **Глава VIII**

### **Ответ клеветникам**

**П**родолжение соответствовало началу. Подложное письмо дало тон печати известного лагеря. За «Полтавским вестником» отозвался «Киевлянин». За ним «Русская правда» (издатель – бывший земский деятель г. Квитка!), «Черниговские губернские ведомости», какая-то орловская газетка, поместившая

«некролог писателя Короленко», написанный врачом Петровым, «Харьковские губернские ведомости», «Новое время». Целый ряд явно и тайно черносотенных изданий в десятках тысяч экземпляров на разные лады комментировали и извращали факты.

Наконец даже высокоофициозный орган председателя совета министров П. А. Столыпина счел достойным своей официозной роли, не дожидаясь постановления суда, украсить свои столбцы безоглядным утверждением, будто «травля Филонова, произведенная г. Короленко, имела прямой целью убийство данного лица»[180].

Эта дрянная выходка официоза, вероятно, не имеющая примеров во всей официозной печати всех европейских стран, явилась достойным завершением кампании, начатой подлогом. После этого оставалось только повторить ее в новорожденной российской палате. И действительно, низкая клевета вползла наконец и на парламентскую трибуну.

12 марта 1907 года в Государственной думе, во время обсуждения законопроекта о военно-полевых судах, депутат от Волынской гу-

бернии г. Шульгин выразил пожелание, чтобы казням подвергались не те несчастные сумасшедшие маниаки, которых посылают на убийство другие лица, а те, которые их послали, интеллектуальные убийцы, подстрекатели, умственные силы революции, которые пишут и говорят перед нами открыто. Если будут попадать такие люди, как известные у нас писатели-убийцы.

.....

*«Голос: Крушеван?»*

*Деп. Шульгин: Нет, не Крушеван, а гуманный и действительно талантливый писатель В. Короленко, убийца Филонова!*

*Голоса: Довольно! вон!*

*Председатель: Прошу не касаться личностей, а говорить о вопросе.*

*Шульгин: Слушаюсь».*

.....

Этот эпизод я заимствую буквально из стенографического отчета. В то время, когда г. Шульгин стоял на трибуне Государственной думы и перед собранием депутатов беззаботно кидал обвинения, всю тяжесть которых, очевидно, не способен понять умом или по-

чувствовать совестью, телеграммы уже сообщили, что дело писателя Короленко и редактора Ярошевича направлено к прекращению, так как факты, ими изложенные, подтвердились...

Когда-то Людовик XIV потребовал объяснения у одного из своих генералов, который проиграл битву, потому что не пустил в дело артиллерию.

– Государь, – ответил генерал, – у меня есть тысячи причин. Первая: отсутствие пороху...

– Довольно, – ответил король, – докажите наличность этой одной, можно не излагать остальных.

Я отвечаю то же достойному хору моих обвинителей: у меня было много причин написать мое письмо, но для всякого непредубежденного человека достаточно одной: покойный Филонов действительно совершил возмутительные насилия, и было бы преступлением со стороны печати молчать о них.

Правда, наше время – ужасное время, когда каждое слово падает, как искра, в умы, возбужденные всем, что совершается кругом, среди грохота и шума тяжело перестраиваю-



щейся жизни. Однако следует ли из этого, что печать должна замалчивать факты беззаконий, истязаний, насилия?

Гг. правые, называющие себя приверженцами закона, правды и порядка, осуждающие «моральное подстрекательство печати»! Оглянитесь на ваши собственные действия.

Вот вы на столбцах официозных органов продолжаете кампанию, начатую подлогом, и с высоты парламентской трибуны считаете возможным заявлять, что писатель Короленко – сознательный подстрекатель и убийца!

Думаете ли вы о том, что ведь и ваши слова падают, как искра, в возбужденные умы ваших приверженцев?

Вы скажете, конечно, что считаете себя вправе не принимать этого в соображение. Вы просто указываете на то, что, по-вашему, сделал писатель, и не вы виноваты, если это кого-нибудь возмущает.

Справедливо. Но тогда не имел ли и писатель Короленко такое же право сказать свое мнение о действиях чиновника, истязавшего без разбора тысячную толпу, стоявшую перед ним на коленях, и затем продолжавшего

невозбранно тот же образ действий в других местах?

Нет, не оглашение, а самые факты мучат, терзают, доводят до отчаяния, обесценивают жизнь, отравляют чуткие совести сознанием бесправия, побуждают к ужасному самопожертвованию и ужасным самосудам. И если бы еще печать замолчала, то жизнь была бы отдана всецело во власть стихийных страстей и их необузданной ярости. Тогда среди мрачного молчания раздавались бы только выстрелы с одной и с другой стороны, как это мы уже видим в Лодзи и в некоторых местах Кавказа.

Нет, выход не в молчании, а в правде. Я доказал, что говорил правду, не выдумывая и не искажая фактов и освещая их по своему разумению и совести.

А вы, прибегающие к подлогам и клевете в защиту насилия, можете ли вы доказать то, что говорите? И понимаете ли вы все значение вами сказанного?

Писатель, который, открыто взывая к гласности и суду, в действительности стремился бы только подстрекнуть другого на убийство,

совершил бы величайшую низость, какую только возможно совершить при помощи пера и печатного станка.

Но если так, то каков же должен быть нравственный уровень среды, для которой возможны обвинения в такой низости без всяких других оснований, кроме того, что писатель сказал суровую правду о насилиях, совершенных чиновником.

А эти обвинения раздавались со столбцов органа «конституционного» министерства и с парламентской трибуны!

### **Заключение**

**М**ного еще можно бы сказать по этому предмету, но на этот раз я кончаю.

Не для г. Шульгина и не для «министерской газеты», а для людей, способных искренно и честно вдуматься в современное положение, я хочу закончить эти очерки небольшим эпизодом.

На второй день после убийства Филонова ко мне прямо из земского собрания явился крестьянин, мне не знакомый, и с большим участием сообщил, что он случайно слышал в собрании разговор какого-то чиновника с

кучкой гласных. Чиновник сообщал, будто состоялось уже постановление об аресте писателя Короленко. И мой незнакомый посетитель пришел, чтобы предупредить меня об этом.

Я поблагодарил его и затем спросил:

– Послушайте, скажите мне правду. Неужели и вы и ваши думаете, что я действительно хотел убийства, когда писал свое открытое письмо?

Он уже прощался и, задержав мою руку в своей мозолистой руке и глядя мне прямо в глаза, ответил с тронувшим меня деликатным участием:

– Я знаю и много наших знает, что вы добивались суда. А прочие думают разно... Но...

Он еще глубже заглянул мне в глаза и прибавил:

– И те говорят спасибо.

Впоследствии не в одних Сорочинцах при разговорах с крестьянами об этих событиях мне приходилось встречать выражение угрюмой радости.

– Ничего, – говорил мне молодой крестьянин, у которого еще летом болели распухшие

от ревматизма ноги. – У меня ноги не ходят, а он не глядит на божий свет.

Таков результат двух факторов: стояния на коленях и чувства мести за безнаказанные насилия.

Но это не то дело, которое начато было в Полтаве независимой печатью. Мы вызывали эту толпу, еще недавно стоявшую на коленях, к деятельному, упорному, сознательному и смелому отстаиванию своего права прежде всего законными средствами. Она слишком скоро получила удовлетворение иное, более резкое и трагически мрачное.

.....

*Мы потерпели неудачу. И я, быть может, более искренно, чем многие сослуживцы покойного Филонова, был огорчен его смертью. Не из личного сочувствия – после всего изложенного я считал его человеком очень дурным и жестоким. И еще потому, что для меня с этой смертью был связан ряд волнений и опасностей, что за ней последовал целый год, в течение которого я был мишенью бесчисленных клевет, оскорблений и угроз. Не потому, нако-*

*нец, что эта кампания, начавшись подложным письмом в Полтаве, перешла на столбцы правительственного органа и на парламентскую трибуну.*

.....

А потому что выстрел, погубивший Филонова, разрушил также то дело, которое было начато независимой печатью и которое я считал и считаю важным и нужным... Так как, сколько бы ни предстояло еще потрясений и испытаний нашей родине на пути ее тяжкого обновления и какие бы пути ни вели к этой цели, все-таки окончательный выход из смуты лежит в той стороне, где светит законность и право, для всех равное: и для избитого на сорочинской площади человека в сермяге, и для чиновника в мундире, для рабочего одинаково, как и для министра. И эту дорогу нужно искать всюду, где еще возможно и когда возможно, как бы она ни загоразивалась старыми привычками и властными интересами, как бы ни перепутывалась с другими тропами, как бы ни терялась среди царящего мрака и беззаконий.

В деле Филонова независимая печать зва-

ла именно на этот путь, оглашая правду о сорочинской и других подобных трагедиях. Взывая к суду, она исполнила свою обязанность, но осталась одинокой. Ее не поддержала ни местная, ни высшая администрация. Суд безмолвствовал, пока Филонов производил свои истязания, и выступил только с попыткой привлечь меня за заведомую правду. Если бы другие закономерные факторы жизни исполняли свой долг в эти критические дни, после обещаний манифеста, то правда, которую так поздно пришлось подтвердить и суду, не была бы отравлена сознанием одиночества и бессилия таких призывов. Тогда не было бы и сорочинской трагедии. Не было бы, вероятно, и набата, и массового гипноза, и убийства Барабаша, и карательных экспедиций, когда, как в Кривой Руде, «в безлунные темные ночи» люди рубят людей без смысла, без вины и без цели.

Не было бы, наверное, и выстрела 18 января, не было бы надобности и русским писателям выступать с «открытыми письмами» к ст. советникам и с тяжелыми очерками, какими я в настоящее время терзаю читателей.

Кто же виноват, что этими мотивами переполнилась вся наша жизнь на заре начинающегося обновления?

1907

## Дело Бейлиса

Статьи, печатаемые под этой рубрикой, написаны в 1913 году в Киеве, во время процесса Бейлиса, обвиняющегося в ритуальном убийстве мальчика Андрея Ющинского. Процесс этот, привлечший к себе огромное, напряженное внимание всей России, был организован главарями киевских черносотенцев при содействии высших властей, в том числе самого министра юстиции Щегловитова. В 1911 году ввиду предстоящего процесса в Петербурге происходили совещания юристов и прогрессивных писателей, и В. Г. Короленко, который участвовал в этих совещаниях, составил текст коллективного протеста, озаглавленный «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)». Протест этот был опубликован за многими подписями писателей, ученых и общественных деятелей. В



декабре того же 1911 года появилась статья Короленко «К вопросу о ритуальных убийствах», посвященная истории происхождения разного рода ритуальных легенд и их опровержению[181]. По мере приближения процесса, исход которого очень волновал все передовое русское общество, к Короленко стали обращаться с разных сторон с просьбами лично выступить на суде в защиту Бейлиса. Это отвечало собственному желанию Короленко, но обострившаяся в это время болезнь сердца сделала для него невозможным подобное выступление. Лечившие его врачи старались удержать его даже от поездки в Киев.

### **На Лукьяновке (во время дела Бейлиса)**

#### **I**

**В**агон трамвая доставил нас к церкви св. Фодора на Дорогожицкой, откуда мы пошли по узким, своеобразным улицам. Киев вообще стоит в разных плоскостях, но здесь, на окраинах, эта топографическая особенность становится необыкновенно причудлива. Я теперь понимаю частые известия, попадающиеся в газетах, о приключениях киевских бандитов,

отстреливающихся так удачно в этих глинищах и оврагах от преследующей их полиции.

Мы приближаемся к Лукьяновке, к знаменитой отныне усадьбе Зайцева. Какой-то низкорослый сутулый человек медлительно подметает улицу перед домом. Фигура показалась мне характерной: «потомственный» мещанин старого города. Мы подходим к нему, отрываем его от полезного занятия, спрашиваем дорогу и, кстати, осведомляемся о том, какого он лично мнения об убийстве Ющинского. Он кладет метлу на левую руку, показывает, как нам выйти на Половецкую улицу, и затем, принимаясь опять за метлу, отвечает равнодушно:

– Ну-у... что тут... Никто тут на Бейлиса не думает... Были такие, что сделали и без жидов...

Я пытаюсь спросить о ритуальных убийствах вообще, но его этот вопрос, видимо, не интересует. Он бормочет что-то, и вокруг него опять начинает клубиться подметаемая пыль.

Этот мало сообщительный человек сразу взял ноту, которая впоследствии являлась

господствующей в отзывах других обывателей. Есть люди, которые непременно добиваются решить вопрос в корне: может это быть, чтобы евреи выкачивали кровь из христианских детей, или этого никогда не бывает? Для серого обывателя в данном случае вопрос стоит не так: он берет только данный факт и только в данных пределах. Погиб мальчик. Кто-то убил, безжалостно и жестоко. Говорят, это сделали евреи, потому что им нужна будто бы христианская кровь для мацы. Бог его знает, – нужна ли? Но в данном случае работали другие...

Я еще несколько раз останавливался, спрашивал о дороге и задавал вопросы. Чем ближе к самому месту страшной драмы, тем эта уверенность обывателя звучит определеннее.

Газеты отмечали, что во время судебного осмотра усадьбы Зайцева по адресу Бейлиса раздавались со стороны соседей голоса приветствия и участия. На суде иные тоже кланяются Бейлису.

## II

Мы на углу Верхней Юрковской и Половецкой. Второй от угла двухэтажный деревянный

домик. В нижнем этаже над дверью вывеска – «МОНОПОЛИЯ».

Здесь, в верхнем этаже, жили супруги Чеберяковы. Он мелкий почтовый чиновник, безвольный и безличный. Она – особа с очень ярко выраженной индивидуальностью. У них было трое детей: мальчик Женя и две дочери. Одевала она их, особенно девочек, довольно чисто, «держала, как барышень». Старалась завести знакомства с соседями, приглашала их к себе, обещая интересное общество профессоров и врачей. Теперь, если есть что-нибудь в этом деле установленное вполне прочно, то это тот факт, что мнимые профессора и врачи были профессиональные воры. В квартире г-жи Чеберяковой был известный полиции воровской притон, и сама она осуждена за кражу.

Внизу живет сиделица монополии, г. Малицкая. Она утверждает, что в марте, около дня убийства Ющинского, слышала у себя над головой сначала детские шаги, как будто вбежал ребенок. Потом шаги взрослых, потом детские заглушенные стоны и возню.

Что-то тащили, и одно время эта возня

имела такой характер, «как будто делали мерное танцевальное па». Потом что-то пронесли, все стихло. И в квартире, по показанию других свидетелей, некоторое время царил будто бы темный ужас. Боялась чего-то Чеберякова, безотчетно пугались гости, приглашенные к ней ночевать.

Во время судебного осмотра здесь делали опыт: вверху стучали и воспроизводили детские крики. Внизу слушали.

– Я ничего не слышу, – сказал кто-то из обвинителей Бейлиса (и, значит, защитников Чеберяковой). Но тотчас же раздались голоса:

– Слышно, слышно... Совершенно ясно.

Итак, по одной версии, убийство произошло в этом доме. Но эта версия не признана официально. К следствию ни хозяйка квартиры, ни «врачи и профессора», посещавшие Чеберякову, не привлекались...

Против дома стоит кучка любопытных посетителей, и какой-то местный житель объясняет им значение этой двухэтажной коробки в деле, интересующем всю Россию.



Мы идем за угол, по Половецкой... Напра-

во большая прореха в заборе и невдалеке от забора хибарка. Она имеет вид какой-то опущенности и убогости. Ход из нее на Нагорную – очевидно, для удобства – в эту прореху, заменяющую калитку. Вообще здесь щели, прорехи и лазы разного рода – дело обычное.

В хибарке живут супруги Шаховские. Их профессия – зажигать фонари. Это люди бедные и опустившиеся: Шаховскую редко видели трезвой. Муж ее тоже, выражаясь по-старинному, «непрестанно обращается в пьянстве». Кроме общей с женой профессии фонарщика, он имеет еще другую: ловит щеглов и продает их; как все люди этого типа, он склонен к созерцанию. В житейских разговорах, по-видимому, довольно бестолков. Часто отлучается из дома, и зажигание фонарей достается на долю жены. Когда Шаховская выходит вечером с лестницей на плечах, то ее нетвердая походка привлекает ироническое внимание мальчишек, которые порой ходят за ней и благодушно оказывают помощь.

По странной иронии судьбы, этой паре, далеко неустойчиво держащейся на собственных ногах, довелось служить одной из важ-

нейших опор обвинения: муж и жена первые сболтнули о Бейлисе...

Минуем усадьбу Шаховских и идем дальше.

Навстречу беспечной походкой школьников, гуляющих в праздник, идут двое мальчиков-подростков. Один в гимназической шинели. Оба в таком возрасте, что легко могли быть товарищами Ющинского. Мы заговариваем, и юноши охотно останавливаются и даже поворачивают с нами.

Улица делает угол и ныряет между двух откосов. Направо к откосу, отделяющему улицу от усадьбы Зайцева, лепится очень высокий, но, очевидно, и очень непрочный забор, придающий улице мрачный и характерный вид. Он устроен странно, как бы в два яруса, и в некоторых местах в нем виднеются такие же недавние, как и забор, заплаты.

– Хотите посмотреть «мялья»? – спрашивает наш чичероне и указывает на щели в заборе. Мы охотно подходим и заглядываем в эти щели: о «мялях» много говорили в суде.

В щель виден двор кирпичного завода, навесы, клады кирпича. Невдалеке виднеется

вертикальный столб, на столбе длинный горизонтальный шест. Тут разводили глину и мяли ее. Для этого к горизонтальному шесту запрягали лошадь, а внизу прикрепляли тяжелые колеса (кажется, от старых лафетов). Лошадь шла по наружному кругу, колеса под шестом бегали внутри и месили глину.

Когда не было работы, это была отличная карусель... Ребята разгоняли горизонтальный шест и вскакивали на него. Это бывало очень весело. Порой выходил кто-нибудь из завода и прогонял веселую стаю...

– Вы тоже катались? – спросил я у гимназиста.

– Сколько раз!

– Зачем же вас гоняли оттуда? Кому это вредило?

– Понятное дело, – говорит он тоном мальчика, начинающего чувствовать себя взрослым, – кирпичи портили.

– Гонял Бейлис?

– Ничего подобного. Когда же ему было самому гонять? На это есть сторожа!

.....  
*Этому вопросу – кто гонял? гонял ли*



Бейлис? – суд посвятил много времени и тонких обследований. Сами дети и большинство свидетелей утверждали, что Бейлис не гонял. Шаховские, наоборот, первые заявили, что гонял. Это послужило исходным пунктом обвинительного силлогизма: если Бейлис гонял, то мог и догнать... Если мог догнать, то мог и схватить. Если мог схватить, то мог и унести, а дальше, конечно, мог и выточить кровь. Ну, а мог – значит, и сделал.

.....

Первыми указали на эти возможности супруги Шаховские. Сначала они сказали, что по делу ничего не знают. Потом припомнили, что им говорила старуха Волкивна, будто она видела, как за двумя мальчиками гнался человек с черной бородой. Потом человек с черной бородой определился: это был Бейлис...

Волкивна – женщина тоже пьяная. Выходит, таким образом, что двое хронически пьяных людей ссылаются на третьего, тоже нетрезвого... Вдобавок Шаховские часто меняли показания, а Волкивна не подтвердила ссылки. Она подходила, разговаривала, но о

Бейлисе ничего не говорилось.

При разговоре присутствовало третье лицо – мальчишка, привлеченный, вероятно, обычным ироническим любопытством к особам, не вполне твердым на ногах. Его разыскали и спросили. Он действительно стоял около женщин и слушал. Но о Бейлисе Волкивна ничего не говорила. У следователя и на суде супруги Шаховские взяли странную ноту. На вопрос: было ли то-то, они отвечают: «Было». – «А может, и не было?» – «Не было».

Побившись с ними некоторое время, следователь г. Фененко, в руках которого это дело имело еще вид настоящей, а не «ритуальной» следственной процедуры, махнул рукой, не считая возможным арестовать Бейлиса на таком шатком основании.

Г. Машкевич, преемник г. Фененко, нашел, что «для ритуального дела» это сойдет. И когда вдобавок к Шаховским присоединилась еще семья Чеберяков, дело окончательно определилось в следующем виде.

Около мяла дети щебечут, как стая птиц. Бейлису как раз нужен младенец для мацы. Он выходит из конторы, оглядывается. Целая

стайка детей (лет по 10) катается на мяле... Долго ли схватить одного? Бейлис кидается, как коршун, дети разлетаются подобно воробьям, но он продолжает гнаться за двумя. Один из них, Женя Чеберяк, убегает, другой, Андрюша Ющинский, попадает ему в руки. Вот и отлично. Среди белого дня, при рабочих, которые возят глину (установлено документально!), Бейлис спокойно тащит мальчика к пустой печке, как хозяйка несет пойманного цыпленка: дело, очевидно, к спеху.

Возможно ли привлечение, арест и суд на основании обвинения, исходящего из таких предпосылок? Г-н Фененко от них отказывается. Г-н Машкевич их принимает. Бейлиса арестуют.

.....

*Мы живем в странные времена. Недавно, в связи с тем же делом Бейлиса, в Государственной думе депутат Марков живописал следующую яркую картину. Дети в яркий солнечный день играют в садике, не чуя беды... Но вот к ним (среди белого дня!) уже «подкрадывается еврейский резник с кривым ножом (!) и, наметив резвящегося на*

*солнышке ребенка, тащит к себе в подвал».*

.....  
Большинство депутатов хохотали. Тогда «оратор» стал прямо грозить погромом. И это, конечно, было единственное место речи, в котором звучало хотя бы некоторое правдоподобие.

Картина, изображенная г. Марковым, стала чем-то вроде эпиграфа к делу, торжественно разбирающемуся теперь на глазах у всей России: г. Машкевич опять вызвал Шаховских, опять получил от них (кажется, в один день) три противоречивых ответа. Показания Шаховских были подкреплены не менее достоверными показаниями, исходящими из дома Чеберяк. И это главное, что имеется о Бейлисе по этому делу! Остальное касается цадиков, хасидов, страшных резников с кривыми ножами, которые сторожат «играющих на мяле детей», и тому подобных мотивов в чисто марковском вкусе... Целые заседания проходят даже без упоминания имени Бейлиса...

#### IV

Тон был дан. Из двух мест, о которых гово-

рили в связи с делом Бейлиса, внимание правосудия повернулось решительно в сторону усадьбы Зайцева. Двухэтажный дом на Юрковской взят под защиту, и сомневаться в его благонадежности стало прямо опасно. В показаниях Шаховского один только раз на суде мелькнуло что-то новое. На вопрос, почему он не хочет сказать правды, он ответил угрюмо:

– Всякому жизнь мила... Меня уже били...

– Кто, кто вас бил? – восторженно воскликнули гражданские истцы. – Вас били евреи?..

– Нет, не евреи.

Господа Мищук и Красовский посильнее Шаховского. И, однако, стоило им только повернуть испытующий взгляд к двухэтажному дому, на который указывала молва Лукьяновки, и они потерпели полное крушение. Опасно было сомневаться в невинности «врачей и профессоров», посещавших Чеберякову... Когда я был в суде, я видел г-на Красовского уже в штатском платье и в очень щекотливом положении: господа «обвинители» настойчиво, упорно и не особенно тонко старались внушить присяжным, что он не просто бывший

полицейский, а мрачный злодей, отравивший при помощи пирожного детей Чеберяковой...

В ритуальном деле можно, очевидно, так «свободно» обращаться со свидетелями, ничем в сущности не опороченными.

Зато над домом, где жила семья Чеберяковых, на глазах у Лукьяновки как будто реет некое невидимое патриотическое знамя... в суде происходят приблизительно следующие интересные диалоги:

– Скажите, свидетель, вы, не правда ли, 12 марта были заняты?

– Да, был занят, – отвечает свидетель, приведенный под конвоем.

– Вы в то время взламывали магазин Адамовича?

– Да, взламывал...

– И у вас не оставалось времени для других дел?..

– Не оставалось... был занят...

Нельзя не считать чрезвычайно своеобразным положение, при котором обвинителям приходится защищать от судебного внимания тяжко заподозренных лиц при помощи

таких экстраординарных аргументов...

На Лукьяновке тоже чувствуется это заштемпелеванное отношение к посетителям и жильцам двухэтажного дома на Юрковской...

Пока мы смотрим в щели забора, к нам по Половецкой подходят один за другим новые любопытные. Сегодня воскресенье. Приезжают из города... Наша кучка становится все больше. Подходят, смотрят в щели и молчат. Что-то, очевидно, мешает общему простому и доверчивому разговору. Я нарочно не начинаю, чтобы услышать непосредственное мнение. Они молчат, потому что не знают друг друга, а предмет, очевидно, считается щекотливым.

Так шло до тех пор, пока не подошел к нашей компании человек в длинном пальто и котелке полумещанского, получиновничьего типа. Это был, очевидно, человек экспансивный, подвижной и неробкий. В нашу молчаливую компанию он врезался, как большой шмель в стайку мух, прошел к забору, посмотрел в щель и, повернувшись, сказал:

– Ну, только я прямо говорю: тут жида столько же работали, как и я.

Это сразу разрешило настроение, и дальше мы пошли вместе, громко разговаривая, делаясь впечатлениями и жестикулируя.

– Вы знали Ющинского? – спросил я у гимназиста и его спутника.

– А как же! Приятели были. И Женю Чеберяк, и Валю, и Люду... Вон там, направо, гофманская печь, куда Бейлис будто бы потащил Андрюшу!

– Да, среди белого дня... – замечает кто-то из старших... – Что ж он думал: другие дети не скажут?

– Конечно.

Вообще, мнение детей ярко и определено.

Это было заметно и на суде. Ни один из свидетелей-ребят не дал показаний против Бейлиса. Ни один не повторил, будто Бейлис гонял их с «мяла» и поймал Андрюшу. На суде был такой эпизод. Какой-то бутуз говорит против г-жи Чеберяк. Г-жа Чеберяк – женщина цыганского типа, со жгучими черными глазами. На очной ставке она потребовала, чтобы мальчик смотрел ей в глаза.

– Пусть он смотрит мне в глаза... Пусть



смотрит в глаза, – говорила она настойчиво и страстно. Но детские глаза свободно устремились в ее лицо, и мальчик сказал просто:

– Я вас не боюсь...

Мне рассказывали еще другой случай: вызвана девочка. Председатель спрашивает, знает ли она Бейлиса. Девочка несколько смущена и растеряна. Она ищет глазами и вдруг встречается со взглядом Бейлиса. Лица обоих освещаются улыбками добрых знакомых. Девочка кланяется «страшному» Бейлису, который гонял с «мяла» и ловил детей на мацу. Ни прокурор, ни гражданские истцы не задерживают эту явно для них безнадежную свидетельницу.

Да, дети решительно за Бейлиса...

Есть, впрочем, смутные показания – и то запоздалые и загробные – о Бейлисе и о том, что он гнал за Ющинским. Это сказал Женя Чеберяк, и это показание суду доставил г. Голубев, известный деятель «Двуглавого орла». То же говорила на суде Люда Чеберяк под взглядами матери. Она сама не видала. Ей говорила покойная сестра Валя...

Перед смертью сына г-жа Чеберяк накло-

нялась над ним, целовала его и умоляла:

– Скажи, что твоя мама тут ни при чем.

Но мальчик отвернулся к стене и сказал только:

– Ах, мама, оставь...

Я не знаю теперь в России женщины несчастнее г-жи Чеберяк. И она проявляет изумительное самообладание... Во всяком случае, это факт, из дела неустранимый: дети против нее... Дети за Бейлиса.

## VI

Мы огибаем заборы зайцевской усадьбы, проходим мимо усадьбы Марра и поднимаемся на пустырь, поросший лесом.

Это усадьба Бернера и «Загоровщина», куда так влекло Андрюшу вместо училища... Трудно представить себе место, более привлекательное для детей. Гора широким склоном спускается к Кирилловской улице. Внизу, за ней, точно на плане, лежит чей-то кирпичный завод; видны навесы, высокие трубы и «мяла». За заводом широкая синяя даль, подернутая легкой дымкой, луга, излучины Почайны и далеко, на самом горизонте, прерывистая лента Днепра. Луговой и днепровский

ветер налетает сюда широкими, ласковыми взмахами.

Этот уголок видел и Андрюшу Ющинского, и Женю, и девочек Чеберяк, которых уже нет на свете. Андрюша убит, Женя и Валя умерли от дизентерии...

– Сколько раз мы тут играли! – говорит гимназист под влиянием нахлынувших воспоминаний.

– Андрюша был хороший товарищ? – спрашиваю я.

– Очень хороший. Бывало, играем с ним в солдатики или во что другое – всегда все возвратит, никогда ничего не утащит.

Меня несколько удивила мерка нравственности в этой молодой компании, и я спросил невольно:

– А Женя Чеберяк?

– Женя таскал... И потом станет спорить: «мое».

– А очень способный был!.. Пушки умел отливать! Сделает в песке форму, растопит олово и выльет пушку... Ей-богу! Все умел сделать...

– Но был вспыльчивый. Чуть что – сейчас

драться.

– Бывало, пристанет: давай поборемся. Я говорю: уходи к черту... – Нет, давай! Ну, я его раз так стиснул, что он только запищал.

Юноша расправляет плечи, как будто с удовольствием вспоминая о расправе с задорным товарищем и забывая, что этого товарища уже нет на свете.

– Ну, а дочери Чеберяковой? – спрашиваю я.

– Девочки ничего... Хорошо себя держали...

– Вы с ними тоже играли?

– А как же, очень часто...

Другой улыбается улыбкой взрослого над недавним детством и говорит:

– Даже ухаживали немного... Девочки были хорошие.

Здесь, на Загоровщине, разыгрался и эпизод с прутиками... Некоторые свидетели показывают, что Андрюша и Женя вырезали по прутику. Прутик Андрюши оказался лучше, и Женя заявил на него претензию. Андрюша не отдал. Женя погрозил.

– Я скажу твоей матери, что ты не учишься, а ходишь сюда.

И у Андрюши сорвались роковые слова:

– А я скажу, что у вас в квартире притон воров...

Сказал и, очевидно, забыл, и опять прибежал вместо школы на Лукьяновку... Но злопамятный Женя не забыл и передал матери, конечно, не думая о страшных последствиях этого для товарища. Может быть, во всем ужасном объеме не думала и Чеберякова... Но в это время в «работе» компании часто стали случаться неудачи: Чеберякову раз, другой, третий арестовали, делали обыски, нашли краденые вещи, таскали по участкам... А законы этой среды в таких случаях ужасны...

И вот Малицкая утверждает, что она слышала наверху возню и топот, и сдавленный детский крик...

Гипотезы в этом роде невольно возникают на лукьяновской почве между заводом Зайцева и двухэтажным домом на Юрковской улице...

– Для исследования вы изволили взять шесть образчиков глины, – спрашивает на суде один из защитников у эксперта г. Туфанова. – И все шесть с завода Бейлиса?

– Да.

– И тожества ни в одном не оказалось... А со двора Чеберяковых глину брали?

– Нет, не брали...

– А! Не брали, – подчеркивает защита. Этот мотив невозможно устранить из этого поистине странного дела... Все оно пресыщено такими вопросами и сомнениями...

Среди разговоров мы минуем большой глинистый курган, поросший травой... В нем виднеется пещера.

– Нет, это еще не та...

Та оказывается в нескольких шагах дальше, там, где начинается склон к Кирилловской улице и приднепровским лугам. Холмик разрыт... Видна обнаженная глина. Два дерева выросли на вершине холма, соединенные корнями. Под этими корнями зияет темный ход, довольно круто, коридором уходящий вглубь. В конце этот коридор пересечен узким и коротким ходом накрест, как делают обыкновенно кладоискатели... В одном из концов этого креста и нашли прислоненным в темном углу тело несчастного Андрюши Ющинского... Первая опознала его Чеберяко-

Ва...

– В пещере темно, а она опознала по шитой рубашке, – иронически замечает один из юношей...

## VII

Назад мы возвращались более кратким путем, наискось с горки, на Нагорную улицу. Влево уходила Половецкая улица с ее высоким забором и глинистым откосом. Кое-где, утопая в этом мрачном и пустынном проезде, виднеются фонари, которые зажигали Шаховские. Страшно, должно быть, здесь в темные весенние ночи даже при свете этих фонариков. И воображение невольно рисует такую мрачную ночь, и ветер, свистящий на Загоровщине в голых деревьях, и темные фигуры людей, несущих таинственную ношу...

Кто же, кто сделал это ужасное дело?

На горку, точно на богомолье, идут одни за другими кучки людей. Поднимаются двумя рядами девочки школьницы, идут горожане, чиновники, торговцы, мещане... Вот мы встречаемся с одной кучкой, громко и возбужденно обсуждающей что-то. Они спрашивают у нас дорогу к пещере.

– Ну вот, господа, – говорю я без дальних приступов, – вы киевляне. Скажите что вы думаете об этом деле?

– То-то, что вот... милостивый государь, – говорит один возбужденно. – Не знаем, что думать. Еще недавно казалось нам одно... теперь выходит совершенно наоборот...

Компания, очевидно, до известной степени черносотенная, но и для добросовестной черносотенной массы истина становится все более очевидной. На одной стороне чувствуется живая, бытовая правда. Светит солнце, играют дети, режут прутики, ссорятся, жалуются друг на друга, по-детски грозят... Двухэтажное здание на Верхней Юрковской улице кидает тоже совершенно реальную тень на мирную картину. Его посещают люди вполне определенного склада и профессии, близость с которыми для детей всегда опасна. Здесь изобретаются планы воровства, ночных набегов и разгромов...

Обвинение предпочло этой реальной картине фантастический бульварный роман, без всякой прочной связи с бытовой обстановкой и реальной жизнью.



– Как вы думаете, – спросил я у своего спутника, интеллигентного киевского жителя, – кому следовало бы судить несчастного Бейлиса?

– Я поручил бы судить его лукьяновцам, – ответил он.

Через полчаса вагон нес нас по улицам современного Киева, с красивыми домами, вывесками, газетами и электричеством. А в душе стояло ощущение XVI столетия.

1913

## **Господа присяжные заседатели** **Часть первая**

**К**аждый раз, когда начинается заседание суда, повторяется неуклонно одна и та же выразительная сцена:

– Суд идет!

Публика подымается, входят судьи с цепями и занимают места за длинным столом.

Публика опять усаживается. Но тотчас же судебный пристав провозглашает вновь:

– Прошу встать!

Зал опять на ногах. Сидят только коронные судьи. Из двери налево от председателя

появляется худощавый человек в черном сюртуке и светлом жилете. Он проходит быстро, даже с некоторой торопливостью, будто опасаясь, что кто-нибудь может опередить его и этим умалить его достоинство. Дойдя до скамьи присяжных заседателей, он делает по-луоборот и останавливается в одной и той же позе: левый локоть приподнят на парту, стан изогнут с некоторой грацией, нога чуть заложена за ногу. В такой позе есть статуя какого-то великого человека. В правой руке у худощавого господина неизменный карандаш, который в этом ансамбле напоминает жезл полководца или подзорную трубу адмирала.

На полминуты худощавый господин замирает. Если бы скульптор или хоть фотограф в это мгновение собирались его увековечить, он был бы, очевидно, к этому уже готов.

Так, в величавой неподвижности, он остается, пока мимо него, как солдаты, дефилируют остальные присяжные.

– Это старшина присяжных Мельников, мелкий писец контрольной палаты.

Когда предпоследнее место занимает человек городского вида в широком сюртуке, стар-

шина быстрым движением почти вспрыгивает на последнее место. Выходит, как будто он не просто садится, а замыкает собою какой-то загон и остается на карауле. Заседание начинается. Внимание переходит на коронных судей, на прокурора, на гражданских истцов, на защитников... Присяжные на одной стороне, молчаливый Бейлис – на другой, как бы выпадают из поля зрения.

Взглядываю по временам на эти скамьи, где сидят 12 человек, держащих в своих руках судьбу процесса. Что они делают, какие мысли выступают на их лицах, в каких жестах и движениях проскальзывают их чувства?

«Киевлянин» в одной из своих статей отмечал некоторое отсутствие достоинства, с которым старшина держится по отношению к председателю. Так как черта эта дополняется несколько комичными приемами, как бы командира над присяжными, то в общем складывается представление о мелком чиновнике, привыкшем смотреть в глаза начальству. А так как воля начальства в этом процессе, если не высказана, то выказана с подобающей ясностью, то на старшину присяж-

ных одни смотрят с опасением, другие с надеждой отмечают, что он хватается за карандаш в тех случаях, когда можно записать что-нибудь благоприятное обвинению.

Все это, конечно, шатко и неопределенно. Нужно, однако, сказать, что и Мельников делает очень много, чтобы как будто афишировать свое отношение к делу. Подчеркнутая внимательность по адресу прокурора и гражданских истцов, величавое невнимание к свидетелям и заявлениям защиты... дают право к отзыву «Киевлянина» прибавить: старшина присяжных держится без достоинства не только по отношению к председателю.

Что касается остального состава присяжных заседателей, то общее впечатление от него именно серое. Пять деревенских кафтанов, несколько шевелюр, подстриженных на лбу, на одно лицо, точно писец с картины Репина «Запорожцы». Несколько сюртуков, порой довольно мешковатых. Лица то серьезные и внимательные, то равнодушные... двое нередко «отсутствуют»... Особенно один сладко дремлет по получасу, сложив руки на животе и склонив голову...

Состав по сословиям – семь крестьян, три мещанина, два мелких чиновника. Два интеллигентных человека попали в запасные. Старшина – писец контрольной палаты.

Состав для университетского центра, несомненно, исключительный. По этому поводу в городе много разговоров, и «Киевлянин» уже обещал в сдержанном намеке какие-то разоблачения... Все замечают, что обычный состав присяжных изобиловал в гораздо большей степени именами интеллигентных людей.

Когда при мне в зале суда заговорили об этом деликатном предмете, один господин, по-видимому, довольно компетентный, ручаясь, что здесь нельзя видеть никакого злоупотребления, объяснил дело просто. В прежние годы действительно состав был гораздо интеллигентнее, потому что в гораздо большей степени к исполнению этой повинности привлекался город и меньше уезд. В нынешнем году нашли нужным несколько восстановить равновесие между городом и уездами. Таким образом, общий список оказался более серым. Вот и все.

.....

*Когда же это сделано? С января нынешнего года, то есть система изменена именно в год процесса Бейлиса. Говоривший слегка покраснел. Ему, по-видимому, это соображение на приходило в голову, и он понял, к каким неудобным заключениям может подавать повод.*

.....

Этого, однако, мало. В перерыве дела Бейлиса по коридорам и по лестницам то и дело проводили арестантов в другое отделение. Оказалось, что параллельно идут заседания еще в двух уголовных отделениях, пятом и шестом (Бейлиса судят в десятом). Меня заинтересовал состав присяжных в этих отделениях, и я был приятно (или неприятно?) удивлен. Оказалось, что для суда по мелкому уголовному делу шестое, например, отделение киевского суда имеет в своем распоряжении двух или даже трех профессоров, десять человек интеллигентных присяжных и только двух крестьян. Выходит, таким образом, что то изменение, которое произошло в списках, по удивительной случайности коснулось самым резким образом той сессии и того отде-

ления, где должны были судить Бейлиса.

Как же это вышло? Известно, между прочим, что суд производил жеребьевку присяжных для данной сессии публично. Значит, случайность, постигшая состав присяжных, судящих Бейлиса, сложилась в какой-нибудь из предыдущих стадий. У меня есть списки по трем уголовным отделениям, и они очень красноречивы. Не имея возможности в настоящей статье приводить подробные цифры, ограничиваюсь следующим грубым сравнением. На 33 присяжных пятого отделения крестьян и мещан приходится 10, чиновников – 14; шестого отделения – крестьян и мещан – 14, чиновников – 10; десятого, где судят Бейлиса, крестьян и мещан – 20, чиновников – 4. Детальное рассмотрение этих цифр, если принять в соображение еще дворян, лиц интеллигентных профессий, профессоров, высших чиновников и низших, приводит к выводам еще более определенным.

Откладывая подробный анализ на будущее время, заканчиваю пока следующим.

Интеллектуальный уровень присяжных, которым предстояло судить сложное дело,

связанное с мировым спором о ритуале, является пониженным против среднего уровня для университетского города, и если в университетском центре не нашлось другого кандидата в старшины, кроме мелкого писца, не умеющего с достоинством представлять институт присяжных, то это является исключительным и случайным. Совершенно понятно, что воображение местного общества встревожено и идет гораздо дальше пределов, намечаемых указанными фактами.

Как бы то ни было, близкий уже момент, когда эти присяжные удалятся в свою совещательную комнату, выйдет глубоко драматичен и вызовет чувства чрезвычайно сложные, далеко не исчерпываемые обычным отношением к суду...

1913

## **Господа присяжные заседатели** **Часть вторая**

**В** прошлой статье я говорил о поразительном и резком отступлении от среднего интеллектуального и образовательного уровня состава присяжных, судящих Бейлиса. Об



этом много говорят, пожимают плечами, недоумевают. Воображение отказывается объяснять это простой случайностью, и в кругах, интересующихся юридической стороной дела Бейлиса, задаются вопросом, в какой именно стадии составления списков могло случиться это резкое отклонение от нормы.

Объяснений несколько. Я пока не стану вдаваться в подробное их изложение и анализ. Все они выделяют суд, производивший последний акт, жеребьевку очередных присяжных на данную сессию. Она происходила публично, на ней присутствовали лица заинтересованные, суд щеголял особенной корректностью всей процедуры. С другой стороны, как мы видели, общие списки, составляемые на весь год, изменению не подверглись. В них естественное преобладание города Киева над уездом осталось неприкосновенным.

Отсюда следует, что данный вопрос локализуется в стадии составления и присылки суду готовых очередных списков на ту сессию, в которую попало дело Бейлиса. Говорят, что если бы просмотреть списки присяжных на всю ту серию сессии, которая совпала с

разбирательством ритуального дела, то оказалось бы, что все они так же резко отличаются от среднего состава и норма вновь восстанавливается по окончании этой серии. Это, конечно, легко проверить.

В задачу настоящей статьи не входит подробный анализ этого вопроса, и я, быть может, вернусь к нему в другое время, теперь я имею в виду лишь констатировать факт, отметить толки, им порождаемые, и указать на необходимость осветить всю процедуру составления очередного списка так же всесторонне и ясно, как была освещена процедура жеребьевки; также необходимо освещение того материала, над которым она производилась.

Как бы то ни было, данный состав присяжных заседателей сегодня получит поставленные судом вопросы и удалится для своего совещания. Слово этих скромных, серых деревенских людей телеграф разнесет по всему миру.

Вопрос стоит так: признают ли они при наличии указанной «случайности» существование ритуала, или даже при таких условиях

они его отвергнут?

Мне невольно вспоминается другой состав присяжных, тоже по ритуальному делу и тоже очень серых, гораздо более серых, чем те перешние киевские присяжные. Они судили мултанцев. Два полуинтеллигентных человека и 10 мужиков. Правда, там были коренные мужики с предрассудками деревни, но и с крепкой, нетронутой деревенской совестью. Здесь пригородье и деревня киевская, в которой нередки отделения союзов русского народа, разъедающая агитация и националистская демагогия. И там два первых состава присяжных вынесли обвинительные приговоры, имея дело с вопиюще искаженным следственным и судебным материалом, но они не колебались, когда завеса была приподнята.

.....

*Дело Бейлиса тоже искажено ложным направлением следствия, но и оно стало ясно после суда и речей защиты. В своей реплике сегодня прокурор уже не аргументировал. Вся его речь была страстным демагогическим воззванием к чувствам племенной ненависти и*

*вражды.*

.....  
Этим подчеркнуты ожидания, какие обвинение возлагает на этот состав присяжных.

Оправдаются ли они, трудно быть пророком при таких сложных обстоятельствах и не имея уверенности, до каких пределов могли доходить «случайности». Я лично не теряю надежды, что луч народного здравого смысла и народной совести пробьется даже сквозь эти туманы, так густо затянувшие в данную минуту горизонт русского правосудия.

Правда, испытание, которому оно подвергнуто на глазах у всего мира, тяжелое, и если присяжные выйдут из него с честью, это будет значить, что нет уже на Руси таких условий, при которых можно вырвать у народной совести ритуальное обвинение.

1913

### **Присяжные ответили...**

Среди величайшего напряжения заканчивается дело Бейлиса. Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах наряды конной и пе-

шей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.

Становится известно, что председательское резюме резко и определенно обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить свое резюме, но Замысловский возражает, и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение в суде еще более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улиц меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно у собора сразу теряет свое мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных еще под-

черкивает значение оправдания.

1913

# ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

## ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

## ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).



У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:

+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:

[eksmo.ru/b2b](http://eksmo.ru/b2b)



# Примечания



Стенография, отчет о заседании Госуд. думы  
18 мая 1906 г.

[^^^]

«Наша жизнь», 17 мая 1906 г., № 447.

[^^^]

Многоточие в присланной нам рукописи.

[^^^]

Из газеты «Киевские вести», 8 марта 1909 г.,  
№ 66.

[^^^]

Автор имеет, очевидно, в виду громкую и памятную историю в девяностых годах, когда молодая девушка, курсистка, заключенная в крепости, облила себя керосином и зажгла на себе платье. В городе много говорили о причинах этой смерти, и во всяком правовом государстве невозможно было бы оставить мрачную загадку без всестороннего освещения. Самодержавное правительство того времени предпочло заглушить ее, сделав таким образом тайну какого-то служебного преступления своим общегосударственным делом. Волнения молодежи по этому поводу обошли все высшие заведения России. Фамилия покойной девушки была, если не ошибаюсь, Ветрова.

[^^^]

## 6

Письмо это (с некоторыми сокращениями) я заимствую из судебного отчета, напечатанного в местной газете «Киевские вести» (11 сент. 1900 г., № 242).

[^^^]

Напечатано в «Сарат. листке» (№ 262). Заимствую его из «Речи», № 2991; год, к сожалению, на моей вырезке не отмечен, кажется, 1908 г.

[^^^]

«Киевские вести», № 64, 6 марта 1909 г.

[^^^]



«Наша газета», № 53, 5 марта 1909 г.

[^^^]

«Речь». – Заимствовано «Нашей газетой» 28 марта 1909 г., «Киевск. вестями» 2 апр. 1909 и др.

[^^^]

«Петербургская газета», заимствовано «Речью» (7 дек. 1909 г. № 336) и почти всеми остальными русскими газетами.

[^^^]

Полностью (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

«Р. Вед.», № 55, 9 марта 1910 г.

[^^^]

«Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.

[^^^]

«Речь», «Киевские вести», янв. 1909 г.

[^^^]

«Новая Русь», 14 дек. 1908 г., № 121.

[^^^]



Цитирую по «Вятской речи», 8 марта 1910,  
№ 52.

[^^^]

В заседании Госуд. думы 19 июля 1906 года министр юстиции г. Щегловитов говорил: «В уложении 1903 года, которое с 17 июня 1904 г. составляет закон... обращает на себя внимание установленная замена для всех несовершеннолетних смертной казни другими наказаниями» (см. стенография, отчеты). А 19 июня 1909 года русские газеты отмечали пятьдесят пятую годовщину указа императора Николая I об отмене смертной казни в России.

[^^^]

«Киевские вести», 27 июня 1909 г., № 169.

[^^^]

Арка́дий Гео́ргиевич Го́рнфельд (1867–1941) – русский и советский литературовед, литературный критик, переводчик, публицист, журналист.

[^^^]

Многие, вероятно, помнят историю неожиданного восстания в Андижане. Тогда были казнены, если не ошибаюсь, восемнадцать человек.

[^^^]

«Речь», 10 ноября 1909, № 309.

[^^^]

В конце 90-х годов при загадочных обстоятельствах в Полтаве был убит секретарь полтавской духовной консистории Комаров. В этом убийстве обвинили двух братьев Скитских. Суд дважды выносил обвинительный приговор, но он оба раза был кассирован сенатом. В 1900 году, после третьего разбирательства, братья Скитские были оправданы.

[^^^]

Нахождение в другом месте (*лат.*).

[^^^]



**25**

«Киевские вести», 24 ноября 1909 года.

[^^^]

См. «Киевские вести», 24 ноября 1909 г.

[^^^]

«Новое время», 22 июня 1910 г., № 12.

[^^^]

Князь Сергей Дмитриевич Урусов (1862–1937) – общественный и политический деятель Российской империи конца XIX–XX века. Член I Государственной думы, где выступал с разоблачением погромной деятельности департамента полиции после 17 октября 1905 года.

[^^^]

Цит. по «Одесской почте», 30 июня 1910 г.,  
№ 542.

[^^^]

«Новое время», 7 июля 1910, № 12326.

[^^^]

«Земщина». Цитирую из «Речи», № 176 (от 30 июня).

[^^^]

Ошибка автора. Булыгин был помощником  
полицеймейстера. – *Прим. ред.*

[^^^]



Этот эпизод послужил впоследствии кассационным поводом и был оглашен в газетах. Это и дает мне возможность восстановить его здесь.

[^^^]

Имеется в виду дело о «Новороссийской республике», просуществовавшей в 1905 году две недели. Даже военный суд дважды отверг обвинение по статье, карающей смертной казнью, и установил, что администрацией во время следствия были допущены вопиющие правонарушения. В 1910 году дело слушалось в третий раз в новом составе суда, и в результате исключительных мер воздействия, примененных в отношении судей, обвиняемым были вынесены смертные приговоры.

[^^^]

Согласно ветхозаветной Книге пророка Даниила, слова, начертанные таинственной рукой на стене во время пира вавилонского царя Валтасара незадолго до падения Вавилона от рук Кира. Объяснение этого знамения вызвало затруднения у вавилонских мудрецов, однако их смог пояснить пророк Даниил: «Вот и значение слов: мене – исчислил Бог царство твое и положил конец ему; Текел – ты взвешен на весах и найден очень легким; Перес – разделено царство твое и дано Мидянам и Персам».

[^^^]

«Бирж. вед.», цитирую из «Волыни», 24 окт.  
1906 г., № 252.

[^^^]

Барон Александр Николаевич Меллер-Закомельский (1 ноября 1844, Санкт-Петербург – 15 апреля 1928, Ницца) – русский военный и государственный деятель, член Государственного совета, генерал от инфантерии (06.12.1906).

[^^^]

«Бирж. вед.», цит. из «Киевск. голоса», 29 ноября 1906 г., № 70.

[^^^]

«Гол. Москвы», цит. из «Киевских вестей», 3  
дек. 1907 г., № 170.

[^^^]

«Рус. вед.», 26 авг. 1908 г., № 231.

[^^^]



«Соврем. обозр.», 21 янв. 1907 г.

[^^^]

См., напр., «Русские вед.», 27 авг. 1908 г., № 198.

[^^^]

Человеку свойственно ошибаться (*лат.*).

[^^^]

Приказ вр. ген. – губ. Ясенского напечатан в «Тереке». Цитирую по газете «Слово» от 7 ноября 1908 г. Приказ кавказского наместника оглашен в телеграммах официального СПб. телегр. агентства.

[^^^]

«Рус. вед.», 16 февр. 1910 г.

[^^^]

«Речь», 1 июля 1907 г., № 153; «Русские вед.»,  
26 окт. 1907 г., № 245.

[^^^]

«Нов. Русь», 6 дек. 1908 г.; «Киевские вести», 25  
марта 1909 г.

[^^^]

«Русское слово», 3 марта 1911 г., № 51.

[^^^]



Сведения взяты много из газет: «Волынь», 3 июня 1909 г., № 149 и «Нижегор. листка», 24 мая 1909 г., № 138.

[^^^]

См. также газеты того времени, между прочим: «Речь», 2 дек. 1910 г., № 331.

[^^^]

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) – русский врач, дипломат; мыслитель религиозно-консервативного направления; философ, писатель, публицист, литературный критик, социолог. В конце жизни принял монашеский постриг с именем Климент.

[^^^]

Цитирую по «Киевским вестям», 15 февр.  
1910 г., № 46.

[^^^]

«Киевские вести», 3 авг. 1909, № 231.

[^^^]

«Р. слово». Цит. из «Полт. голоса», 7 мая 1910.

[^^^]

Цит. из «Волыни», 20 дек. 1908 г., № 20.

[^^^]

«Огни» («Киевская копейка»), 14 сент. 1910 г., № 194; «Рус. ведом.», 19 января 1911 г., № 14. Честь защиты принадлежит г-ну Шишко.

[^^^]



«Слово», 28 апр. 1909 г., № 779.

[^^^]

Разновидность большого тенниса, в который играют на лужайке или траве. Есть также реал-теннис, согласно правилам которого игра ведется в закрытом помещении. – *Прим. ред.*

[^^^]

«Р. вед.», 24 апр. 1910 г., № 93.

[^^^]

«Русские вед.», 26 ноября 1909 г., № 271.

[^^^]

«Русск. сл.», цит. из «Нижегор. листка», 10 ноября 1907 г.

[^^^]

«Киевские вести», 20 мая 1908 г., № 135.

[^^^]

«Киевские вести», № 251, 21 сентября 1908 г.

[^^^]

В 1909 г. жители гор. Ирбита поднесли адрес члену Госуд. думы А. Ф. Бобянскому за избавление их города от «висевшего над ним призрака смертной казни», которая грозила 11 крестьянам. («Слово», 30 мая 1909 г., № 811.)

[^^^]



«Киевские вести», 5 июня 1910, № 151.

[^^^]

«Киевские вести», 14 февр. 1910 г., № 45.

[^^^]

«Слово», 2 февр. 1909 г., № 697.

[^^^]

«Киевские вести», 17 авг. 1908 г.

[^^^]

«Биржевые ведомости», 13 дек. 1909 г.

[^^^]

«Рус. вед.», 4 янв., 1908 г., № 3.

[^^^]

«Речь», 5 ноября 1909 г., № 340.

[^^^]

«Киевские вести», 9 августа 1910 г., № 213.

[^^^]



«Русские вед.», 5 мая 1907 г., № 111.

[^^^]

«Слово», 22 мая 1909 г., № 803.

[^^^]

«Русские вед.», 10 сентября 1909 г., № 207.

[^^^]

«Речь», 27 ноября 1909 г., № 326.

[^^^]

В «Крымском вестнике» было напечатано сообщение о том, что «бердянский полицеймейстер Андреев переводится в Феодосию. Если вспомнить недавнее сообщение газет о последовавшем предании суду полиц. Андреева за изнасилование девушки в полицейском участке, то известие нельзя не признать довольно странным» (Цит. из «Черном. побер.» 18 янв. 1905 г.). Не тот ли самый «известный» Андреев, который был исправником в Перекопе?

[^^^]

«Нижег. листок», 17 янв. 1909 г., № 16.

[^^^]

«Речь». Цитирую из «Киевских вестей», 23 ноября 1907 г... № 160.

[^^^]

Цит. из «Киевских вестей», 3 декабря 1907 г.,  
№ 170.

[^^^]



Пропускаю резкое слово.

[^^^]

«Р. СЛОВО», 12 ИЮНЯ 1910 Г., № 133.

[^^^]

«Совр. слово», сент. 1910 г., № 965.

[^^^]

«Южный край», 12 июня 1910 г., № 10012.

[^^^]

«Псковская жизнь» 3 дек. № 521.

[^^^]

«Правда», 14 декабря 1911 г., № 82.

[^^^]

«Русский Туркестан», №№ 88 и 89, авг. 1899 года, обвинительн. акт по делу Джорджикия.

[^^^]

«Костр. Листок», № 109.

[^^^]



Заимствуем из «России», 29 сентября, № 154.

[^^^]

Подписали: председатель, академик Х. Попов,  
тов. предс. проф. И. Павлов, секрет. прив. – до-  
цент Ф. Чистович.

[^^^]

«Русские Вед.», 11 ноября, № 314.

[^^^]

Заметку «Нов. Вр.» цитируем по «Нижег. Листку», № 313.

[^^^]

«Новое Вр.», 14 ноября, № 10312.

[^^^]

«Спб. Вед.» 16 окт., № 284.

[^^^]

«Русь», 19 дек. 1904 г., № 348.

[^^^]

Заимствуем из «Южного Обозрения» от 15 дек.

[^^^]



«Русь». Заимствуем из «Ниж. Листка» от 21 дек. 1904 г.

[^^^]

«Русь», № 345.

[^^^]

См. «Новое Время», 8 дек. 1904, № 10336.

[^^^]

Слушаю другую сторону (*лат.*)

[^^^]

«Русск. Инвал.», цит. из «Нов. Вр.», 29 авг.  
1896 г.

[^^^]

«Сев. Курьер», 21 сент. 1900 г.

[^^^]

«Южн. Обозр.», 24 июня 1901 г. В первом из описанных случаев несколько офицеров Белгородского полка были разжалованы в рядовые, вероятно ввиду небывалых размеров скандала, о котором писали заграничные газеты. Последующие истории уже не знают столь суровых приговоров. В случаях Копыткина и корнета В. главному военному суду пришлось несколько увеличить меру наказания, назначенную военно-окружными судами с поразительной снисходительностью. Так, корнет В. был первоначально приговорен к 3 неделям гауптвахты, а корнет фон Вик, уже при благосклонном участии самого главного военного суда, отделался 3 месяцами гауптвахты, вероятно потому, что потерпевший – только портной!

[^^^]

«Русское Слово», цит. из «Волыни», 5 июня,  
№ 100.

[^^^]



Истязание Забусова произошло, как известно, 14 марта того же года.

[^^^]

Цитирую из «Киевских Откликов», 4 мая  
1905 г.

[^^^]

Цит. из «Нижегор. Листка», 9 апреля 1905 г.,  
№ 94.

[^^^]

«Сибирский Вестн.» Цит. из «Нижегор. Листка», № 115.

[^^^]

«Новости». Цит. по «Киевским Откл.», 9 мая,  
№ 127.

[^^^]

«Сибирский Вестн.». Цит. из «Нижсгор. Листка», № 115.

[^^^]

«Русское Слово» (цит. из «Южного Об.» 29 апр.), «Черном. Побережье», 29 апр., № 667, «Нижегор. Лист.», № 115.

[^^^]

«Южн. Обозрение», 15 мая, № 2833.

[^^^]



«Од. Новости». Цит. из «Нижег. Листка»,  
№ 118, от 6 мая.

[^^^]

«Вестник Юга». Цит. из «Нижегор. Листка»,  
№ 124, 12 мая.

[^^^]

«Нижег. Листок», 23 мая 1905, № 135.

[^^^]

«Отеч.», 28 мая 1905, № 87.

[^^^]

Статья писалась в начале июня 1905 г. и назначалась для «Русск. Богатства».

[^^^]

В 1896 году на зап. – сибирской ж. д. корнет Карпов выстрелом из револьвера в спину убил наповал инженера Курмана, который шел к начальнику железнодорожной станции заявить о скандальном поведении Карпова в вагоне (Карпов оскорблял пассажиров). Общество было страшно возмущено этим наглым убийством, при котором не было ни одного смягчающего обстоятельства. Приговор военного суда, уже и сам по себе мягкий (ссылка в Иркутскую губ. на несколько лет с исключением со службы), заменен заключением в крепости, после чего Карпов «благополучно» вернулся к продолжению столь достойно начатой служебной карьеры...

[^^^]

«Нов. Время». Цит. из «Южн. Обозр.», 19 января 1905 г., № 2724.

[^^^]

«Р. Вед.», цит. из «Черном. Побер.», 22 июня  
1905 г.

[^^^]



В «Русском Богатстве» (март 1912) была помещена статья г-на О. Кр. о книге военного педагога В. Н. Кульчицкого. «Русский Инвалид» взял под свою защиту взгляды г-на Кульчицкого и счел возможным коснуться также «прискорбных столкновений» между военными и штатскими, которые в последние годы повторяются все чаще и наконец (уже в 1914 г.) стали обращать тревожное внимание даже в военных сферах. «Русский инвалид» обвинял во всем этом печать. Настоящая статья служит ответом официозу военного ведомства и подводит итоги явлению, служившему темой предыдущих статей по этому предмету. *(Позднейшее примечание В. К.)*

[^^^]

«Военный Мир», 1912, № 3.

[^^^]

См. № 72 и 73.

[^^^]

То же подчеркивается и в статьях г-на Мстиславского.

[^^^]

Киевская Мысль». «Р. Слово», «Речь» (8 мая),  
«Полт. Речь» и др.

[^^^]

«Речь», № 128., 12 мая 1912 г.

[^^^]

«Речь», № 125, 4 мая 1912 г.

[^^^]

«Речь», 26 янв. 1912 г.

[^^^]



«Совр. Слово» (4 марта). «Речь» (6 марта  
1912 г.), № 64.

[^^^]

«Речь», 5 февраля 1912 г.

[^^^]

Тимофей Гаврилов оправдан в Малмыже, но все обстоятельства его якобы участия в деле приводились все-таки в елабужском процессе. – *Прим. авт.*

[^^^]

Арестованный Дюняшев был подвешен на жерди и в таком положении у него требовали сознания. О подвешивании же говорили и вотяки-мултанцы. Отчет о деле слободских полицейских был напечатан в газетах. Мы заимствуем из «Нижегор. Листка», № 272.

[^^^]

Обществ. хроника. Ноябрь 1894 г. и июнь  
1895 г.

[^^^]

«Русск. Вед.», 7 ноября, № 308.

[^^^]

Смирнов – Вотяки. Стр. 241 дела.

[^^^]

Не совсем точно: газета «Полтавщина» и журнал «Русское Богатство» в то время были приостановлены и выходили под другими названиями: «Полтавское дело» и «Современные записки».

[^^^]



«Полтавщина», №№ 310 и 314.

[^^^]

«Полтавщина», 20 декабря 1905 г., № 307. (Корреспонденция из Зенькова.)

[^^^]

«Полтавщина», № 308. (Корресп. из Лохвицы.)

[^^^]

«Полтавский вестник», 5 февраля 1906 г.,  
№ 972.

[^^^]

Лист моего дела 50 и последующие. На полковника Бородина этот случай произвел такое потрясающее впечатление, что он заболел нервным расстройством. Передают, что ему все чудится убитая баба.

[^^^]

Изувеченных и раненых оказалось, по словам корреспондента, более 40 человек (22 была оказана медицинская помощь).

[^^^]

В апреле 1906 г., № 23, уже после смерти Филонова.

[^^^]

Показания по моему делу старш. сов. губ.  
правления Ахшарумова. Лист 247 и след.

[^^^]



«Полтавщина», 1906, № 8.

[^^^]

Лист моего дела 209.

[^^^]

Лист моего дела 178. Показание учителя духовного училища Кремьянского.

[^^^]

«Полтавщина», 12 января 1906 г., № 8. Все примечания, которыми я здесь снабжаю текст своего письма, взяты из следственного дела о писателе В. Г. Короленке и редакторе газ. «Полтавщина» Д. О. Ярошевиче, привлеченных к следствию по п. 6, гл. 5, отд. III временных правил о печати. Ссылки не полны. Я отдавал предпочтение показаниям казаков, полицейских, священников и должностных лиц.

[^^^]

Показания: свящ. Греченко (лист дела 215): «Казак перегнулся через забор и выстрелил». Показ. дворянина Малинки (лист 245 и след.): «Отрешко был ранен подъехавшим казаком из-за забора в то время, как он был во дворе». Показания старшины Копитько (лист 214), старосты Повзика (лист 216), урядника Котляревского (л. 216–217) и др. Интересно указание дворянина Малинки, что серия выстрелов, от которой между прочим погиб Отрешко, раздалась долго спустя после залпов у волостного правления. Урядник Котляревский слышал, что это стреляли казаки, возвращавшиеся из больницы, куда они отвезли Барабаша.

[^^^]

Об Евстафии Гарковенко есть показания, что он ранен не во дворе, а на площади. Ковтун найден в 20 саженьях от своих ворот (показания урядника Котляревского, лист 216; старосты Повзика, л. 216; Кияшко, л. 217 и след.; старшины Копитько, л. 214 и др.), Келепова не ранена, а убита у женской школы, а у Маковецкой прострелены щеки недалеко от ее ворот (урядник Котляревский, кр. Кияшко, староста Повзик, свящ. Греченко и др.).

[^^^]

Показания кр. Кияшко (217). На его глазах стреляли в женщин, убежавших по улице. Женщины шли не от волости, а иные стояли у своих ворот. Анна Сорока (218) видела, как казаки стреляли в лежавшую на снегу девушку. В нее (Сороку) тоже стреляли, когда она перебегала улицу (далеко от волости). Гриценко (217) и урядник Котляревский (216) слышали, что это делал отряд, возвращавшийся из больницы, куда отвезли Барабаша. Факт погони и убийств на улицах признан и определением суда по моему делу.

[^^^]

Неточно: тело Барабаша увезено 22 декабря утром. Отряд Филонова прибыл еще накануне, 21-го, и уже в ночь были произведены аресты. Это показывает еще яснее, что в Сорочинцах *к этому времени не было никаких признаков бунта*, если уже накануне экзекуции можно было не только арестовывать, но и истязать арестованных. Показание старшины Копитько (л. 214 и след.): «21 в 4 ч. утра потребован Филоновым в волость и видел там арестованных Готлиба и Герасима Муху. Они были избиты до того, что их трудно было узнать».

[^^^]



«На следующий день все было спокойно» (показание урядника).

[^^^]

«Филонов говорил, что, наверное, по местечку придется открыть огонь» (показание подъяесаула Ончакова, л. 116 и след.). «Филонов объявил, что если бы отряд вновь был встречен набатом, то местечко могло бы быть сожжено» (показание подъяесаула Чернявского, л. д. 118).

[^^^]

Показания о грабежах в Сорочинцах и Устивице урядника Котляревского: «многие, в особенности евреи, заявляли мне об ограблении» (л. д. 216–217). Поч. миров. судья Лукьянович (со слов урядника Бокитько, л. д. 124). Урядник Бокитько: «казаки забирались в частные дома. Мне заявляли, что они просто грабили» (л. 211 и след.); Кремянский (воспитатель дух. уч., л. д. 178): «стражник Балакший подтвердил, что забирались в дома, и сказал: мы сами их отгоняли». Свящ. Станиславский показал, что были грабежи, но приписывал их не казакам (л. 208). Старшина Луценко (Устивица) по приказанию исправника собирал заявления потерпевших, но затем исправник приказал заявления уничтожить, а свою (исправника) бумагу вернуть ему обратно (л. 209). Есть еще показание старшины Повзика (л. 216), Анны Сороки (грабеж в присутствии пристава), Юровского (219), Герасима Мухи, Авр. Готлиба. Существование упорных слухов о насилиях над женщинами подтверждают Кремянский, Гриценко (л. 217), Сура Готлиб (220), Ки-

яшко (л. 217) и др.

[^^^]

О том, что толпа была поставлена в снег на колени, единогласно говорят все, начиная с полковника Бородина и кончая казаками и урядниками. Разно определяют только время: хорунжий Дюжин и подъесаул Ончаков (112 и 114) определяют время в 3 часа, старшина Копитько (214), староста Повзик (216) и урядник Котляревский от 4 до 4  $\frac{1}{2}$  ч. В Устивице 2–2  $\frac{1}{2}$  часа.

[^^^]

Относительно собственноручной расправы Филонова и дальнейших побоев нагайками свидетели показывают единодушно. Привожу наиболее характерные показания: хорунжий Дюжин: «некоторых из наиболее главных зачинщиков Филонов сам вытаскивал, давая тумачи» (л. 112); подъесаул Ончаков (114): «Филонов своими руками выхватывал подлежащее экзекуции лицо и приказывал идти в волость, в арестантскую, и его по дороге принимала экзекуц. команда и била нагайками». Свящ. Греченко (215) видел, как «Филонов какого-то человека толкал ногами, когда тот не в состоянии был встать». Священник два раза уходил со схода, чтобы не видеть этого.

[^^^]

Эпизод со студ. Романовским единогласно подтверждают все свидетели казаки, утверждая только, что по голове вообще не били.

[^^^]

Этот факт тоже установлен многочисленными свидет. показаниями. Особенно характерны подъесаул Ончаков (116–118): «Короленко написал неправду, будто били толпу. Действительно, был такой эпизод: местные евреи были поставлены отдельно на колени. Когда Филонов подошел к ним и они „загалдели“, начали вставать с колен, то Филонов приказал несколько человек из них проучить нагайками». То же показали подъесаул Чернявский (119), сотник Иванов (119) прибавляет: «давали 10–15 ударов, не более», – «эxecуция была легкая» (!!). Староста Повзик (216): «всей толпы поголовно казаки не били, а избили выделенную толпу евреев». Кр. Кияшко (217): «Всей толпы не били, евреев же колотили всех поголовно».

[^^^]



Показ. свящ. А. А. Троцыны: жители еще в октябре ходатайствовали о закрытии винной лавки. Когда приезжал чин. Коновалов, они повторили просьбу, и он обещал ходатайствовать (л. 175).

[^^^]

Показания старшины Луценко (л. 209–212): Филонов начал бить людей у черного входа в волость. Достал откуда-то простую палку и начал бить находившихся в коридоре людей. Его (старшину) начал бить сразу, сорвал знак, разбил губы и велел еще бить казакам. Писарь Волошин, избитый Филоновым, «теперь (июнь 1906) еще в больнице в Полтаве». – Ур. Бокитько (211–213): при нем Фил. побил старосту Кирьяна, судью Панкова и писаря Волошина (последнего бил счетами и канцел. книгами). Фил. посылал его разыскивать учительницу и, по словам казачьего сотника, «хотел ее для примера сильно выпороть». – Учит. Крапивина (209): Филонов кричал в волости: «подайте мне эту бабу, я ее проучу». – Терещенко (177): Дениса Бокала 9 казаков били 3 раза: «я думал, его убьют». – Свящ. Троцына (188): Фил. избил старшину и писаря. Сход был поставлен на колени (2 часа). Свидетель стал заступаться, доказывая, что старшина и писарь невиновны, а на сходе по большей части находятся люди, непричастные к закры-

тию винной лавки. Тогда Филонов велел людям встать с колен и потом вновь поставил на колени и заставил извиняться перед старшиной за то, что он, Филонов, наказал его невинно, за людей. Сторож Галайдич рассказывал свидетелю, что у него в хате казаки 23 декабря избили его чахоточного сына-солдата, вернувшегося раненым с войны, за то, что будто бы он не хочет идти на сход. Бережной (учит. мин. шк., 176): У избитого Филоновым Панкова видел кровь на лице.

[^^^]

Кремянский (воспит. дух. уч., л. 178): местная жительница, молодая, красивая женщина, еле отделалась от любезностей казаков, которые гонялись за нею, и так перепугалась, что нервно заболела.

[^^^]

Лист дела 110.

[^^^]

Прибавим: долго спустя после столкновения у волостного правления.

[^^^]

Позволю себе исправить «фактическую неточность», допущенную судом. В деле есть показания урядника, сельских должностных лиц и священника, говорящих не только о случаях, но и о прямых заявлениях потерпевших, а это не одно и то же. Урядник Бокитько, старшина Луценко и поч. миров. судья Лукьянович говорят о начатом уже дознании и о составленных списках потерпевших, уничтоженных исправником. Можно ли при таких условиях говорить, что слухи не подтвердились, а если не подтвердились, то почему?

[^^^]

Цитата из моего открытого письма.

[^^^]



«Полтавский вестник», 15 января 1906 г.

[^^^]

Интересно, что на мою просьбу – приобщить к делу переписку об этом дознании – мне было отвечено, что такой переписки... не было!

[^^^]

Показание г. Ахшарумова, лист дела 247.

[^^^]

Этот двор проходной.

[^^^]

«Полтавский вестник», 19 января 1906 г.

[^^^]

«Полтавский вестник», 20 января 1906 г.,  
№ 959. В книге эта заметка не воспроизведе-  
на.

[^^^]

Одна из этих поправок особенно характерна. Письмо начинается словами: «Я третьего дня вернулся в Полтаву и прочел Ваше письмо...» Затем «третьего дня» зачеркнуто и чьей-то рукой написано: «Я только что вернулся». Филонов вернулся 17-го, убит 18-го. «Третьего дня» он мог бы написать только после смерти.

[^^^]

Показание Л. И. Ахшарумова (л. д. 247).

[^^^]



См. книгу «К убийству Филонова», стр. 17.

[^^^]

«Полтавский вестник», 19 января 1906 г. Воспроизведено в книге «К убийству Филонова», стр. 17–18.

[^^^]

Все показания о моменте убийства говорят, что молодой человек выстрелил и тотчас бросился бежать.

[^^^]

Лист дела 108.

[^^^]

«Полтавский вестник». 31 января 1906 г.,  
№ 968.

[^^^]

«Россия». Цитирую из «Русск. вед.», 16 сент. 1906 г., № 228.

[^^^]

«Русское богатство», 1911, кн. 12.

[^^^]